

**НОВЫЙ
Журнал**

154

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок третий год издания

*РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА*

NEW REVIEW. MARCH 1984

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — 65-летие А. И. Солженицына	5
● <i>Анстей</i> — Стихи	8
<i>С. Яворский</i> — Ограбленные боги	9
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	26
● <i>Ильинский</i> — Стихи	27
<i>Ю. Кашкаров</i> — Муром	29
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	56
<i>М. Дубинин</i> — "Жестокий век" Пушкина	58
<i>Н. Ульянов</i> — Рим (венок сонетов)	73
<i>Ю. Иваск</i> — Похвала российской поэзии	77

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым (публикация <i>А. Зверса</i>)	97
<i>А Штейгер</i> — Детство	109
<i>М. Гольдштейн</i> — Вундеркинды 30-х годов	139
<i>В. Стерлигов</i> — Из воспоминаний о художниках	163

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>М. Гардер</i> — Тоталитарная анархия	171
<i>Р. Дэвис</i> — Предтечи августа	185
<i>Д. Левицкий</i> — Б. Н. Чичерин	229
<i>Н. Моравский</i> — Осень 1905 г. сквозь призму двух газет	248
<i>Н. Первушин</i> — Новое о древней Руси	263

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

- Е. Кускова-Прокопович* — К убийству проф. А. Л. Бема272
Г. Кочевицкий — Судьба пианиста В. Топилина274

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

- С. Г. Пушкарев 279
Прот. К. Фотиев — Протоиерей А. Шмеман 284

БИБЛИОГРАФИЯ:

- Прот. К. Фотиев* — С. Л. Голлербах. Заметки художника. *Т. Емельянова* — М. Геллер. А. Платонов в поисках счастья. *Ю. Троль* — Пьесы и киносценарии Александра Солженицына. *С. Крыжицкий* — Jozef Maskiewicz. "Droga donikąd". *Б. Прянишников* В. М. Русаков. Рассказы о потомках А. С. Пушкина. *Е. Ремилева* Санжа Б. Балыков. Девичья честь 289

65-ЛЕТИЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Я с удовольствием принял предложение радиостанции* сказать несколько слов о 65-летию Александра Исаевича Солженицына. Мне кажется, что Солженицын является сейчас самым большим современным русским писателем, и его произведения не только входят в русскую литературу, но, мне думается, заслуживают, и заслужили, внимания всего мира. Все произведения Солженицына переведены на главные европейские, а также не-европейские языки.

Прежде всего я хочу сказать о том, какое громадное значение имела книга Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", которая издана в трех томах. "Архипелаг ГУЛАГ", по-моему, вечная книга, поскольку можно говорить о вечности книг вообще. Эта книга просветила многих либеральных дурачков, которых на Западе хоть отбавляй, и не только либералов, но просветила также и некоторых коммунистов. Назову, например, Пьера Дэкса. Это был известный коммунист, который выступал очень резко за Советский Союз, но, прочтя "Архипелаг ГУЛАГ", Пьер Дэкс вышел из коммунистической партии и занимает сейчас чрезвычайно сильную антисоветскую позицию во Франции.

Еще один пример. Ив Монтан — известный певец — в свое время коммунистизированный, прочтя "Архипелаг ГУЛАГ", теперь выступает чрезвычайно сильно против тоталитарного марксистского государства и всё время ссылается на "ГУЛАГ".

Но "ГУЛАГ" — это дело уже прошлое; теперь мы знаем,

*Это слово Р. Б. Гуля было передано в СССР радиостанцией "Свобода".

что Александр Исаевич готовит 8-томный труд, который по своей силе можно сравнить только — я говорю это вполне ответственно — с "Войной и миром" Льва Толстого, судя по первому тому. Первый том "Август четырнадцатого", который вышел теперь во втором издании, значительно дополненным и переработанным Солженицыным, является совершенно замечательной книгой. И характерно то, что Солженицын в ней выступает не только как художник, но и как историк-исследователь, со многими положениями которого нельзя не согласиться.

Как художник, я напомним одну только сцену из этой книги — самоубийство генерала Самсонова в Восточной Пруссии, такую сцену мог написать только очень большой художник и такая сцена была бы под силу только, по-моему, Льву Толстому, по своей яркой изобразительности и по своей духовной напряженности. Я думаю, что этим произведением Солженицын поставит себя в ряд самых больших современных писателей.

Тот факт, что Советы выслали Солженицына, послужил ему, конечно, на пользу, потому что здесь он имел возможность воспользоваться необыкновенно важным материалом — как книжным, так и рукописным, и кроме того, я знаю, что он интервьюировал многих лиц, участников гражданской войны, участников первой мировой войны, и весь этот материал, конечно, сумел переработать по-своему, подать литературно и исторически верно.

Конечно, за границей Солженицына не только хвалили, но и бранили. И бранили его главным образом некие такие прокоммунистические шавки "с европейским лицом", которые тоже есть в эмиграции. Изображали Солженицына и антисемитом, и русским националистом-великодержавником, и чего только о нем не писали... Изображалось какое-то чудовище русского национализма и фашизма даже. Это, конечно, все совершенное вранье, и Александр Исаевич блистательно всем этим господам ответил, хотя, по-существу, и не стоило отвечать, потому что все знают, что Александр Исаевич христианин, православный христианин, что он не только не какой-нибудь националист-великодержавник, а русский патриот, который признает патриотизмы всех народов, составляющих Советский Союз, и который дружит и с украинцами, и с прибалтийцами, и с евреями, и ника-

ких этих "чудовищ" из него сделать никому не удалось.

Не так давно Александр Исаевич получил международную Темплтоновскую премию за вклад в развитие религиозного сознания. Это большое дело. Это мировая премия, и то, что ее получил Солженицын, вполне, по-моему, заслужено.

В конце этой речи Александр Исаевич говорит: "Наши пять континентов в смерче, но в таких испытаниях и проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир, то будет наша собственная вина". И христианин Солженицын вовсе не является каким-нибудь непротивленцем. Он зовет и к духовной борьбе, и к борьбе политической.

Я полностью, от души приветствую 65-летие Александра Исаевича и уверен, что Бог даст ему многие годы, чтобы закончить его замечательный 8-томный труд.

Разрешите мне пожелать по этому радио Александру Исаевичу Солженицыну многая лета.

Роман Гуль

ГОРНАЯ РАДУГА

Дождь пролился и радуга видна.
Да ведь какая! Плотная, тугая,
Стоит, как глинобитная стена,
Семью цветами небо облегая.

Так близко — кажется, подать рукой
Стоит в законченной весомой силе
Крутым мостом. По радуге такой
Титаны к Дочерям Земли ходили.

КОЛОРАДСКАЯ ПОГОДА

Блестит роса тяжелая
На травах и хвошах.
Тяжелое, веселое,
В раскидистых лучах,
С жарою неминуемо —
Шагает утро с гор.
А к полудню — с ползучею
Обрывистою тучею
У молнии над кручею
Начнется разговор.

Пойдет тогда нескладица,
Затеет град стучать!
И эта неурядица
К рассвету поуядется,
Причешется, пригладится
Чтоб завтра вновь начать.

Ольга Анстей

ОГРАБЛЕННЫЕ БОГИ*

...На побелевшем лице Гребядкина даже зрачки, впившиеся в Ворона, кажутся пепельными, белыми.

В одном с ним доме, за одним с ним столом — сын большевистского палача!

Как от ледящего холода, немеет затылок. Стынут виски. Так же вот точно, как когда-то, когда — казалось — вели на расстрел. Тридцать лет назад.

Сегодня эти тридцать лет — позади. Но сегодня тоже где-то близко — смерть. Только вот роли, кажется, переменились. Сегодня страшно не оттого, что *тебя* хотят убить. А оттого, что *ты сам* хочешь убить.

Гребядкин поднимается из-за стола. Встает, прямой, как будто даже выше ростом. Бледный, со странным изгибом в углу рта. Ворон только этот искривленный рот один и видит. Из угла рта глядит прямо в душу чекиста презрение.

— Вам плохо, что ли? Дурно вам?

Вороновы глаза замечают огромные руки с толстыми, расплюснутыми пальцами, с кривыми синими жилами. Руки хватаются за край стола.

— Что вы делаете?

Поздно. Сильные руки одним резким движением опрокидывают стол.

— Да вы с ума сошли!

Неужели Ворон терпит чекистское поражение? "Будь всегда готов к мгновенной контратаке!" — учат молодого чекиста-опе-

*Глава из романа "Звонит колокол" печатается с некоторыми сокращениями. — *Ред.*

ративника. "А еще лучше — нападай первым! Твое дело всегда правое, умей вытаскивать револьвер и стрелять хоть на секунду раньше твоего противника. Ты — чекист, и закон у тебя один: победа коммунизма!".

Ворон больно ударяется головой о низкое потолочное бревно и отлетает назад, в кресло. Перевернутый стол лежит поперек комнаты.

— Садитесь на место! — кричит Ворон из своего кресла.

Гребядкин видит блеснувшую вороненую сталь револьвера. И не убирает прыгающее на губах презрение.

— Смотри, Ворон, между нами всего лишь три шага. Когда-то между нами было тридцать лет. Вы их съели. А теперь осталось три шага — до твоего вороньего горла.

— Садитесь, вам говорят, не вводите в грех!

Поблескивает вороненая сталь. Об одной, слабой стороне своей, Ворону, однако, тоже не следует забывать. Дело чекиста, конечно, всегда правое, но пришел он сюда *самовольно*, без начальственной команды. Применение оружия тут для него очень нежелательно. Гребядкин чекистов знает.

— Тебе, Ворон, оружие применять нельзя — и мне не советовали. В вашей стране меня заклинали: "Уничтожайте чекистов так, чтобы в самом способе их умершвления было *презрение к ним*". Ведь умирать можно по-разному, Ворон. Красиво — тоже. Ваша эра, чекисты, кончится тогда, когда вы начнете умирать самой некрасивой, самой незстетичной смертью — смертью задушенных. Берегись, Ворон!

— Да не смешите, старик! Мы не в цирке. И в клоунах вы пока не значитесь. Не играйте словами, а то и доиграться можно...

А сам неотрывно смотрит на этого странного презрительного червячка в углу старых губ. Будто видит перед собою два лица. Глаза старика — ледяные, бездушные, будто неживые, или как у зверя. А рот — надменный презрительный, человеческий.

— Все мои песни спеты, Ворон. Я сегодня взорвал последние мосты. Нет у меня другой дороги в жизни, как только к твоему, Ворон, горлу. Не повезло вчера в лесу — повезет сегодня здесь. С расстрелов, с палачей все началось. Пусть на сыне большевистского палача все и кончится. А твой револьвер все

равно тебя не спасет. Пулям не убить моей к вам ненависти, чекисты.

Странный старик. Сумасшедший. Но не вооружен. Бояться-то его нечего. А лик у него, действительно, страшноватый. И человек и зверь сразу.

— Чокнутый вы, Гребядкин. — Ворон держит руку с револьвером уже на коленях. — И какая-то забавная сила в вас сидит. Должно быть, вы ее всю жизнь свою прятали. А сейчас, так сказать, выпускаете на волю, как птицу из клетки. Чудно! Весь белый, как полотно, а не боится... Орешек вы — расколоть бы, да в потроха и заглянуть...

— Сам, сам сегодня расколуюсь, Ворон! Вы меня тихонького всё видели. Боязливенького. А за мною следом голод тридцать лет ходит, все шепчет: "Накорми, накорми меня! Я — голод твой!". Час пришел, Ворон! Пора! Не жить мне и не умереть, пока я не утолю этот голод. По балансу справедливости. Ворон, этот голод. Ходит за мною он день и ночь. Никуда от него не уйти.

— "Хоть одного, хоть одного бы из них задушить!" — все шептал, умирая около меня от лагерной чахотки один мадьяр из Будапешта. Он сам когда-то был коммунистом. С его же губ однажды сползло мне в ухо: "Никто в мире не умеет ненавидеть так, как коммунисты — и никого в мире не ненавидят так, как коммунистов".

— Мадьяр? Мадьяры есть разные. Есть — зверье. Все помнят. Даже русского царя, который их в прошлом столетии обидел, помнят.

— И я все помню, Ворон. Ничего не забыл, ничего не прошу. Вам никто и ничего не прощает.

Ворон в душе усмехается. Больно уж старик многословен. Собака, что много лает — не кусает.

— Злой вы старик! И глаза, вон, волчьи, голодные. Да силенок-то у вас от старости уже нет. Скажите-ка лучше, кто там за вами стоит. Смягчим тогда вашу участь.

— И кто за мной стоит, скажу. И почему силенок не хватает, скажу. Я от тебя перед твоей смертью ничего не скрою. Я сегодня твой судья, твой прокурор — и твой палач. Я от тебя — и от себя самого тоже! — не должен ничего скрывать. А силенок

у меня, кажется, действительно не хватает. Не для тебя, нет! Для самого себя не достаает. Потому что прежде, чем убить человека в действительности, его надо сначала убить в голове своей!

Ишь ты, почти по Марксу!

— С молоком матери, с первыми проблесками сознания, можно сказать, с первыми услышанными вздохами мироздания входит в нас это, почти святое, вечно живущее рядом с человечеством — *"не убий!"*.

— Не убий? Что же, правильно! Только от вашего-то "не убий!" какой-то особый запах.

— Молит, молит нас через тысячелетия давно распятый: *"не убий!"*. Даже своды законов отказываются от убийства. Отменяют смертную казнь. Вся жизнь, всю жизнь — шопот сердца моего: *"не убий!"*...

— Да у меня, — усмехается чекист, — если хотите знать, у меня от вашего "задушу" смех с самого начала в глотке щекочет. Куда вам, господа капиталисты, нас душить! Стары вы все, немощны, боязливы. К распятиям там разным присматриваетесь, к вздохам прислушиваетесь. И как все, изжившие себя, со страху не знаете, куда себя девать. А чтоб нас душить!? Да вы, скорее, от страха сами на крест полезете, чтобы себя приколотить. Лишь бы не встречаться с нами один на один!

Чекист даже сунул револьвер обратно в карман.

— Не спеши убирать револьвер, Ворон! Он тебе еще пригодится. О "не убий" я тебе говорил для того, чтобы и тебе и самому себе сказать другое. Что — другое? А, да, что как бы ни было сильно мое "не убий", мое "не прошу" еще сильнее. И не у меня одного. Ваша античеловечность, Ворон, перевешивает все заветы распятых. Распятые были люди, а вы — *антилюди*. Так что — берегись!

— Берегусь, берегусь! — Ворон смеется. — Ба, да у вас, я вижу, обозначился клон вперед! И ваши руки начинают подниматься. А они у вас, ваши руки, действительно, огромные — как лапы у тигра. Где вы только такие достали?

— У вас, Ворон, я их обтачивал, тренировал. Для какого-нибудь коммунистического горла. Тридцать лет готовил... Вставай, чекист! Суд пришел!

— Идите-ка вы лучше к черту!

— Ты, Ворон, обвиняешься в заговоре против человечества. И против человечности. Никто не сочтет, скольких вы умертвили. Вы убивали так много, что человечество привыкло к вашим убийствам. И за цифрами умертвленных вами людей уже не видит самих людей. По поводу смерти одного убитого люди плачут. А убитые вами миллионы стали всего лишь цепочкой типографских знаков. Но мы-то, Ворон, видели, как люди умирали... Вон там, на кровати, что позади тебя, умирала от ужаса перед вами моя мать. Рыдала ночами от страха. Вы окружили наш дом непрерывной слезкой. Заставили всех соседей доносить. Мать не знала, куда деваться от страха — за сына, за себя. Нашла, несчастная, лишь один выход — в смерти...

Чекист слушает. Даже, кажется, внимательно. О всех жестокостях своего режима — Гребядкин знает — чекистам трудно узнавать в их собственных учреждениях. А знать им нужно. То, что бывало раньше, они могут повторить и сегодня.

— Меньше всего мы знаем, как умирали расстреливаемые. Они молчат. Но вы не только расстреливали. На моих глазах умирал русский эстонец с перебитым на Лубянке позвоночником. На моих же глазах умирал и мой земляк, которому в Ворошиловске вливали воду через нос. А кто сосчитает умиравших от голода, от холода? Нет пределов вашей жестокости. Вы мучили, издевались даже над теми, кто почему-то оставался жив после расстрела. Мой земляк Алеша остался жив после классической чекистской пули в затылок. Пойманный в лесу при попытке бегства от лагерной бесчеловечности, он был расстрелян на месте. В затылок. А когда через две недели оказалось, что он жив и ползает, окровавленный, в лесу, — его нашли и хотели было опять расстрелять.

Ворон снова вынимает револьвер.

— Теперь бы этого не сделали. Тогда же время было напряженное. Только что отгромыхала война. В лагерях были миллионы. Так называемых перемещенных лиц одних было...

— О да! Ваша гигантская мясорубка тогда работала безостановочно, день и ночь. Миллионы людей непрерывным потоком перемалывались в смерть. Некоторые смертники попали в одни камеры со мной. У них я многому научился. Люди, прикоснувшиеся к цивилизации, хотя бы и благодаря

войне, — они уже были иными. Некоторые плевали в лица чекистов, зачитывавших им смертные приговоры. Да и никаких судов для них не было. Приходили в камеру, зачитывали бумажку — и все. Вместо судебных разбирательств — канцелярия, выписывавшая приговоры. Так же вот убивают скот на бойне — с точной регистрацией каждой зарезанной скотины. Что молчишь, Ворон? Звериность сталинского человекоистребления тебя не смущает?

— Ни звериности, ни человекоистребления не было. Были ошибки. И то — они касались лишь партийных. Все же непартийные и арестовывались и казнились *правильно!*

Змейка Гребядкинского презрения вдавливается в побелевшие губы. Можно ли найти что-либо более жуткое, более невыносимое, чем это "*правильно*", приложенное к бесчеловечности? Оно, это "*правильно*" в последнее время слетает с партийных уст все чаще и чаще.

— Послушайте, товарищи Вороны! Не думаете ли вы иногда, что и к вам может когда-нибудь прийти *ваш Нюрнберг?* К тебе лично, Ворон, он уже пришел. Твое дело уже разбирается.

— Нюрнберги, господин Гребядкин, если уже на то пошло, случаются лишь с побежденными. А мы еще не проиграли ни одной войны, и не собираемся проигрывать! Наша партия сегодня сильна, крепка — как никогда!

Что там, на губах Гребядкина? Улыбка? Говорят, что китайцы, когда им очень больно, не обязательно плачут: иногда они смеются.

— Да, сегодня вы сильны, как никогда. Вы, задуманная Лениным шайка профессиональных заговорщиков с железной дисциплиной, со звериной беспощадностью. Могушественнейшей вашей организации, наверное, нет и не было в истории человечества. Вы мне иногда кажетесь новыми монголами.

— Вот как! Сейчас вы скажете, что у Ленина была татарская кровь.

— Нет, я скажу, что, подобно монголам, вы, коммунисты, тоже непроницаемо и резко отгорожены от подвластного вам населения. И вы так же, как и те, пренебрежительно поглядываете на жиденьких людей вокруг вас, граждан второго сорта.

Кнотом вы не шелкаете, но партбилеты в ваших карманах люди учуивают за версту и не забывают самих себя предупредить: осторожно! хозяин близко! Вы — страшны...

— Вот и хорошо! Страх — бесспорно полезное чувство. С ним вы проживете и дольше и спокойнее.

— Каждый живет столько, сколько у него есть воли жить. В лагерях многие умирали в первые дни. Другие, сжимая в комок душу, переносили все — и выживали. Но волевые пружины требуют цели — мишени. Я тридцать лет жил для того, чтобы задушить хоть одного из вас. Если недостаточно этих тридцати — буду жить еще тридцать! Вы, коммунисты, тоже живете для того, чтобы душить людей. Хотя, быть может, и не всегда ясно понимаете это. Вы уже превратили свой народ в полузадушенных кроликов. Сегодня вы алчно поглядываете на другие народы. На весь мир! Психологически, я вас знаю, вы уже вполне созрели для своего главного преступления. Дело не в марксизме — половина членов партии малограмотна, ни в каком марксизме ничего не понимает. Но их руки уже жадно тянутся к горлу человечества. И чем больше я смотрю на их поползновения, тем сильнее мои руки жаждут вашего горла. Задушу! Я тебя сейчас задушу, чекист...

— До чего же вы лютый, оголтелый враг! Не один вы, конечно. Кто-то, что-то за вами стоит. Поглядите-ка на всякий случай повнимательнее на револьвер. И еще раз вспомните, что у вас тоже есть затылок.

— Помню. Но и у тебя, Ворон, есть горло, которое вполне стоит моих рук. Ведь только подумать: спустя двадцать лет кровожаднейший, бесчеловечнейший в мире диктатор — все еще ваш кумир! Что же еще ждать от вас? Ведь это — дерзкий вызов всему человечеству! И — мне! И пусть мне не говорят, что я не имею права задушить чекиста! Судьи в Нюрнберге тоже не имели права вешать нацистов. Но они их повесили. А коли так, разрешите, господа, начать второй Нюрнберг. Уже сегодня. Пока не поздно.

У Гребядкина на лбу — крупные капли пота, хотя в помещении уже вторые сутки не топлена печь. Ворон смотрит на Гребядкинский лоб. Он сам бледен.

— Что, Гребядкин, боитесь ваших же слов?

Гребядкин вытирает рукой лоб.

— Что от тебя, Ворон, скрывать. Да, боюсь. Чего — толком не знаю. Но чего-то боюсь. Убивать, наверное, все-таки очень трудно.

Ворон собирает в усмешке рот.

— Попробуйте заглянуть в револьверное дуло. Увидите там черную дыру. Взгляд в нее, говорят, отрезвляет. Всем вам, кто не с нами, а с теми — вы-то, ясно, с ними — всем вам неплохо иногда заглядывать в дула наших пистолетов. Для отрезвления. Чтобы не попасть туда, куда многие попадали при Сталине. Затылки-то у вас у всех тоже есть. А в Сибири еще много земли. И нам надо достраивать коммунизм. Так что... Хотя вы и полунормальный какой-то, а наверное понимаете, о чем я говорю.

— Понимаю, как же не понять. Только если ты, Ворон, строишь планы Сибири будущей, мы можем попросить тебя ответить за Сибирь прошлую. Тысячи людей с Запада уже нашли свою смерть в Сибири во время и после Второй мировой войны. Голод и лагерные издевательства со мной делили люди, угнанные с берегов Дуная, Эльбы, Одера. Были австрийцы, выкраденные из американской зоны в Вене. Людей выкрадывали даже из Парижа. Венгров же по лагерям было просто не счесть. Нашу лагерную участь делили и бывшие испанские дети, вывезенные в 1936 году из Испании. К концу сороковых годов они подрастали и отправлялись в концлагеря. Испанского языка эти испанцы не знали, но коммунизм ненавидели дружно... Знает сибирская земля вкус костей людей, выросших на Западе. И за это вы, Вороны, тоже еще не ответили...

Ворон слушает, не прерывая, все, рассказываемое Гребядкиным; ему, очевидно, интересно.

— Ну, а после Третьей мировой войны, — вставляет Ворон, — Сибирь будет, надо полагать, ждть пришельцев с Рейна, Ламанша, да и с обоих берегов Атлантики. Как господин Гребядкин думает?

— Да, так оно и будет, если только не научатся душить вас раньше. Как я вот сегодня.

— Ишь-ты, кулачища у вас все сжимаются! Только руки коротки. Зато глазами прямо готовы меня съесть! Кроме ненависти к нам ничего уже, наверное, у вас больше и не осталось!

А коли и так — все равно я богат! Для бывших рабов что может быть страшнее открытой ненависти к их бывшим истязателям! А вы, Вороны, ненависти боитесь, я знаю. И оттого вы мне еще вкуснее. Никакого золота мне не надо — дайте только пить ее, лютую мою неприязнь к вам. Ненависть. Ведь она же страшнее любви! Злой я, да. Преступник я, да. Но я тридцать лет жаждал этого кубка наслаждения. И — дождался. Ты — моя последняя трапеза, Ворон! Ты в замешательстве?

— Мне не совсем понятно, кто вы такой. Ясно, враг. Но враг особенный, не наш враг. Враги народа, я знаю, они в глаза не смотрят. Нападают из-за угла. У них — вывалившиеся души. Они болтаются в воздухе, у них нет почвы под ногами. А вы... Что-то там за вами стоит. Оружие, что ли, где-то спрятано? Отец мне рассказывал, как безоружные остервенело бросались с кулаками и зубами на наших вооруженных сотрудников. Но они речей не произносили. Им было нечего сказать. Они — выли. А вы... Может быть, и в самом деле у вас есть спрятанное оружие?

— Оружие? Конечно же есть! Мои тридцать лет — они ли не остры как бритва? "Не бейте очень уж много по щекам кроткого, — говорил мне один, — он, в конце концов, поднимет с земли камень". Но это не все мое оружие. Чем больше вы топтали нас, тем больше мы прислушивались к тому, что слышится *оттуда*. Куда из России вечно уходит солнце. Высунь свое рыло, чекист, за свой железный занавес, посмотри. Посмотри на свободных, сильных, гордых людей. А потом оглянись назад, на свое стадо.

У Ворона белеет лицо. Его красные видные десны обнажаются еще больше. Он презрительно морщится. Кажется, что он готов броситься и, подобно злому псу, начать кусаться.

— Коммунизм ваш и в теории опирается на все самое худшее в человеке. И в самих себе и в народе вы тоже раскопали все худшее. По стране ходят люди, глядящие исподлобья. Не говорят, а рычат друг на друга. Безжалостно, по-звериному отнимают друг у друга хлеб, одежду, жилье. Лишь перед вами, главными хищниками, они тихи, улыбкивы и легко опускаются на все четыре. Сегодня они стали даже злобнее, чем вам, большевикам, требуется. Вы уже даже через газеты их просите не заваливать вас анонимными доносами друг на друга. Вы уже и сами захле-

бываетесь в этих выбросах людьми злобы друг против друга.

— Извращаете вы все! Анонимки — это же свидетельство роста у людей коммунистической сознательности!

— Не страна, а океан нищеты и черной злобы. Наверное, это и есть коммунизм. Во всяком случае это то, во что вы превратили страну. Поглядишь, и не надо никакого оружия; против звериной античеловечности нельзя выходить с просьбами любить ближнего.

— Не смейте ко мне приближаться! — кричит Ворон, глядя на опять наклоняющегося вперед Гребядкина. Поднимает револьвер.

— А ведь ты, Ворон, не посмеешь выстрелить. Ты тоже боишься. И меня и, наверное, себя. Ведь у всех вас, знаю, где-то там копошится червячок сомнения: цели-то, мол, конечно, правильные, да вот дорога-то к цели... У тебя, Ворон, глаза сейчас выпученные, как у лабораторной жабы. Ты озадачен. Вы же давно не привыкли встречать настоящий отпор. С двадцатого года вас же никто не душит. Вы так привыкли видеть вокруг себя лишь панический страх. Наверное, потому что против вас, зверей, выходили с крестом и Евангелием. Да с Декларацией прав человека. А против вас нужны *руки*. Как мои. На вашей же ненависти вскормленные. И вашу же ненависть всегда готовые поднести к вашему же горлу. Неплохой я, кажется, Ворон, ученик. Берегу свою ненависть к вам, даже ею горжусь.

— Фамилия вот у вас, Гребядкин, русская. И язык русский. Но не русский вы. И откуда вы такой... ярый выползли — не пойму. Наши отцы и деды хорошо, чисто вымели здешнюю землю, и народ почистили. Контрреволюции и запаха теперь нет. Даже семьи, из которых она могла выползти, выкорчевали. Даже у эмигрантов, говорят, сопротивление нам, большевикам, давно заглохло. А вы набиты антикоммунизмом... таким яростным, будто свежим.

— Как весенняя земля соками, да?

— Этого я не знаю. А вот что у вас от враждебности к нам даже дыхание спирает — это я вижу. И вот на губах откуда-то горделивая усмешка. Старик, шуплый, а будто сверху вниз смотрит. Откуда такой взялся? Не русский вы совсем. Таких русских в мире больше нет. Не может быть.

Не может быть... Весны, что идет в мир, коммунистам, конечно, не ощутить.

— Сегодня ты, Ворон, перестанешь существовать. И не думай, что во мне может шевельнуться жалость. Допекли вы меня уже в первый год, а пришлось ждать еще двадцать девять.

— Ага, я знаю, кто вы! Вы — мешок, распираемый от набившей его жажды мести! Вы ослеплены, отравлены местью. Не хотите видеть счастливой жизни нашего народа!

— О-о! — как от боли, взвизывает Гребядкин. — Сколько нужно душевной извращенности, чтобы произносить такую заведомую, сатанинскую ложь! И ею вы, как зловонным смрадом, поливаете всю страну с утра до вечера. А люди, несчастные люди давно привыкли к этому смраду, не понимают, что ядовитая ложь не только замазывает страшные дыры в их жизни. Она еще и навсегда выедаёт в их душах человеческое...

— У вас-то, кажется, ничего не выела. Собираетесь мстить государству.

— Насчет мести уж скажу тебе, Ворон. Скажу, что и у тех, кого вы смертельно отравили своим ядом лжи, и у них руки зудят по расплате. Кошмар своего звериного бытия люди чувствуют. Мучатся. Точат ножами ножи, сами не ведая, зачем... Только не понимают уже, кто повинен в их горе. Думают — это просто жизнь такая, значит, сами они виноваты. И грызут друг друга. Уже одни только эти шестьдесят лет ожесточеннейшей, полупещерной борьбы за существование, за *выживание* — уже это одно выколотило из их голов все, кроме интересов элементарного животного. Но вот если бы — о, если бы! — нашелся кто-нибудь, кто сумел бы показать пальцем, как Вий у Гоголя! На части бы разорвали! Земля бы перевернулась вверх дном. Такого злого народа, быть может, мир еще не видел... Надежно, как соты в ульях, запечатаны у людей глаза.

— Ну, у вас-то глаза не запечатаны...

— Не успели вы тут, Вороны! А теперь я ваше число уменьшу на одного коммуниста. Один задавленный сегодня коммунист — это же съэкономленные жизни французов, немцев, американцев в грядущей войне.

— Не смейте подходить ближе! Не вводите в грех! Что вам сказано!!

Опять зловеще черным металлом блеснул пистолет. Но рука, держащая пистолет, дрожит. От страха? Наверное, да. Только не всегда за самую жизнь свою. Ничего, кажется, так не бояться коммунисты, как кулаков, подносимых прямо к их партбилетным носам. Особенно, когда в бесстрашии кулака есть что-то для них непонятное. Как вот у этого Гребядкина, так до сих пор до конца никем не раскушенного.

До чекистского горла уже совсем близко.

— Стреляй, Ворон! Коли боишься моих рук. Рабочих, корявых, трудовых. А я тебя не боюсь! Ну, стреляй!

Не боится Гребядкин?

Тридцать лет он ждал этого мгновения. Наверное, если в него сейчас выстрелить, то и на мертвом лице останется застывшее презрение. Уйдет с ним в могилу.

Отвращение к античеловеческому режиму, конечно, не монополия одного Гребядкина. Огоньки непримиримости, несломленности до конца все еще просвечивают кое-где сквозь всю изуверченность, обрубленность человеческих душ. И все же это неправда, что Гребядкин ничего не боится.

— Не могу, не могу, Ворон. Все равно — не могу. Перед лицом этих вот последних минут — своих, наших, — скажу: не могу погасить я свой страх. Стоит во мне колом. Держит, как под уздцы. Не пистолета твоего я боюсь, не тебя. А все того же "не убий". Мне предлагают любить врагов своих, Ворон. Вот этого я и боюсь.

— А-а, — догадывается Ворон, — религии, значит, боитесь! Понятно. Люби, там, ближнего своего. Не убей. Шеку, там, подставь. Это ведь все религия.

— Нет, Ворон. Теперь это называется цивилизацией. Ты этого слова не знаешь, а я еще не совсем его забыл. Говорят, христианство передало свою правду цивилизованному миру. Цивилизованное общество понесет ее дальше, в будущее человечества.

— Общество? Общество — это мы!

— Вы? У вас, Ворон, одна правда: если ближний твой враг убей его.

А у вас?

— А в цивилизации, которую я потерял и тридцать лет ищу,

в ней теперь не учат даже и "зуб за зуб". Теперь говорят: если взяли у тебя зуб, отдай обидчику всю челюсть!

От имени какого же, интересно, Бога сегодня говорится такое?

Это сегодня уже не Бог говорит. Это говорят люди. Те, что сильные и смелые. Я, увы, не сильный и не смелый. Могу лишь убивать и мстить. Я заразился бациллой вашей ненависти. Но все равно, я знаю: человек священен. Человека нельзя убивать...

— Не смейте двигаться! Не смейте! Вы, дьявол! Что я вам сказал?

— Потому что он *человек*. Священны сами законы, его охраняющие. Ради него пришедшие в мир. И те, что шелестят параграфами уголовных кодексов. И те, что...

— Еще шаг и я стреляю!

— И те, что молча глядят сквозь божественные гармонии мраморных Венер, полотен Леонардо, партитур Бетховена. Человек священен, Ворон. Священен. Но все равно, я задушу тебя.

— Да у вас бред!

— Вы — человекозвери, вы раскололи рассудок и у других и у самих себя. Не знаешь уже, кто вы. И не звери, и не люди.

Тревожно хмурающийся Ворон крепче сжимает револьвер.

— Я, бывший раб, Ворон, привык смотреть на себя со стороны. Следить за самим собою. За своим лицом. Да, может быть, и я — зверь. Мои руки, они ведь и меня самого гипнотизируют. Тянут к твоему горлу.

— Не смейте ко мне наклоняться!

— Ты в моей власти, Ворон. Мои тридцать лет — это сила. Ни тебе, ни мне, быть может, ее не преодолеть.

— Вы — сумасшедший! У вас, вон, глаза опять наливаются кровью. Уберите прочь руки, застрелю!

Н-е-е-т, Ворон, не застрелишь!

— Я выстрелю! Уходите прочь!

— Не выстрелишь! Ты не выстрелишь! Это не гипноз. Это — *тридцать лет*. Я откладывал в свои закрома *каждый день* из этих тридцати лет. Ты спрашивал об оружии. Вот оно, оружие. Вы оскорбляли меня...

Гребядкина вдруг бьет револьвером по голове. По лицу

бежит струйка крови. Но с кривых губ Гребядкина так и не уходит презрение. Или, быть может, что-то вроде никогда не исчезающей усмешки. Вольность, которую себе позволяют некоторые провинциальные интеллигентики, особенно когда им, способным вдохновенно исполнять Моцарта и Баха, приходится часами стоять в очередях за картошкой.

— Вы оскорбляли меня, оскорбляете людей — ежеминутно, ежесекундно. Вы — самые страшные грабители на земле, вы отнимаете самое дорогое у людей — их свободу.

Снова удар. Кровь. Больно от вороненой стали. Это хорошо, что больно. И хорошо, что кровь, своя собственная теплая кровь бежит по лицу. Гребядкин все крепче сжимает горло Ворона.

— Не пытайся вырваться, Ворон! Как же все не хотят умирать! Даже расстрелянные, говорят, иногда вставали и шли. Целый расстрелянный народ ходит сегодня по земле. По стране мертвецов... А вот теперь я уже подбираюсь к твоему горлу. Да это не руки мои, нет! Руки бы не смогли! Это тридцать моих лет сжались вокруг твоего горла!

Боль сейчас желанна Гребядкину еще и потому, что ею глшатся сомнения. Или, быть может, прогоняется человеческое. И вдруг в воспаленном, сумасшедшем мозгу Гребядкина проносится мгновение, одетое в знакомое, любимое, нетленное:

В навсегда онемевшем мире
Лишь два голоса, твой и мой.
Истлевают звуки в эфире,
И заря притворилась тьмой.

Его бьют по лицу, в грудь. Секунды, а в них — годы, даже десятилетия борьбы за собственное, человеческое. Промчались и нет их. А горло и кольцо вокруг него остаются.

— Не вырвешься, не вырвешься, Ворон! Как ни бейся, не уйдешь от меня! От тридцати моих лет. Ни тебе, ни мне от них не уйти. И ты выслушаешь все, что пожелаем сказать тебе перед твоей смертью я и мои тридцать лет... Да, я зверь, Ворон! И в том, что я стал зверем, в этом ваша сила. В дегенерации человека, на которую вы такие мастера, в этом ваше будущее! Бей, Ворон, крепче бей!

— Ах тудить вашу...

— Когда я попал к вам, когда я увидел эти миллионы полузадушенных, я отнесся к ним с презрением. К ним, позволяющим делать с собою что угодно, превращать себя в животное, в скотину. А потом я сам прошел все застенки коммунистической бесчеловечности. И сам увидел, как голод, нищета, бесправие, страх разъедают неотвратимо, как ржавчина, человеческие души. Как люди опускаются. И как опускался я сам, превращаясь в зверя. Грубого, жестокого, мстительного. Иначе ведь нельзя жить. Если сам не будешь зверем — тебя заклюют, задушат другие звери! В каждом человеке, Ворон, живут два человека!

— У-у-у...

— Живя в коммунизме, я понял: их везде по-два, на всей планете. Только на Пикадилли, на Елисейских полях зверь в человеке загнан глубоко внутрь, приглушен. В марковом же коммунизме он, напротив, спущен с цепи. Коммунизму он не мешает, даже напротив, помогает этот самый коммунизм строить! Марксизм прав, Ворон, потому что звериное, скотское действительно, всегда есть в человеке!

Чекист стал биться меньше. Молча смотрел почерневшими глазами.

— Но кроме зверя, Ворон, в человеке живет и строитель Парфенонов. Кто этот второй, мы не знаем. Его окружает непроницаемая тайна. Кто же первый — мы знаем отлично. Его притащили в науку и выставили на всеобщее обозрение Дарвин и Маркс. И по Дарвину и по Марксу я должен задушить тебя, Ворон, уничтожить. Мы — разные классы и — разные звери. Выживание таких, как я, зависит от гибели таких, как ты.

Ворон опять извивается в Гребядкинских руках, рычит, делает отчаянный рывок и снова исхитряется ударить револьвером Гребядкина в лицо.

— Не вырвешься. Потому что кто-то злой, жестокий не устает шептать мне на ухо: Убей, пока еще не поздно! Пока еще существуют люди с Пикадилли, с Елисейских полей, с Пятой Аvenues. Пока всех их еще не превратили в голодных волков, уныло воющих день и ночь у дверей хлебных магазинов... Магазинные хвосты, — как же, без них нельзя. Звериность и

голод неразделимы. Голод — вечный спутник зверей, звери всегда голодны. Коммунизм и голод тоже неразделимы. Коммунизм выползает из голода. И всегда приносит с собой голод туда, куда он приходит.

С губ Ворона срываются неразличимые вопли. Отчетливо в них только — "мать", "Бог". Сердце отстукивает секунды.

— Задушу-у! — шепчет кривой рот. — Задушу-у!

Еще один нажим пальцев. Последний?

И вдруг железное кольцо вокруг чекистской шеи разжимается. От Гребядкинских ног на полу — цепочка кровавых следов. Как и у многих в стране, у Гребядкина все раны всегда долго кровоточат. Говорят, что в стране не хватает витаминов. Освобожденный Ворон давится в буйном кашле, но не сводит глаз с Гребядкина. Все еще кашляя, он поднимается из кресла.

Гребядкин еще не вполне пришел в себя. Скоро он с собою справится, конечно. А пока — стоит понурый. Похожий на побитую собаку. Нет, нелегко убивать человека в этом мире. И как это большевикам удается убивать миллионы?

Гребядкин тихо говорит: — На суде скажи: даже когда отнял руки, все равно, мол, говорил, что хотел задушить. Хотел, да. И сейчас говорю — хотел. Запомни это для суда...

Ворон не отвечает. Быть может, даже не слушает. Гребядкин утирает рукавом все еще сочащуюся кровь на лице, на голове. Спрашивает Ворона:

— Ну так что? С тобой, что ли, мне идти? Прикажешь одеваться?

Ворон уже стоит у дверей.

— Может быть, — слышится его хриплый голос, — вызвать "скорую"?

— "Скорую"? Пошел вон, Ворон! Боишься, что я схохну от ран, припишут самовольную расправу? А в то, что старик мог тебя, молодого, натренированного оперативника душить — не поверят. Зашел-то ты в избу самовольно, без команды. Нарушил дисциплину. Сдохну — хлопот не оберешься, погибнет карьера. Да только я не схохну. Пока, во всяком случае.

Ворон уже надел шубу. Гребядкину удается разглядеть кровоподтеки на его шее.

— Одно меня печалит, — что удушение не состоялось. Но

ничего, будем считать, что оно откладывается. Сбережем твою шею, Ворон, для *Второго Нюрнберга*.

— Вы... гадина. Не пожалею себя, напишу на вас полный рапорт.

— Пиши, конечно... Меня вот все одно беспокоит: "не убий" сегодняшней цивилизации спасло тебя, Ворон. Но как, как сделать, чтобы это "не убий" спасло и ее тоже?

— Что же дальше? спрашивает себя Гребядкин, оставшись один и глядя на догорающий за окном день. — Дальше? Наверное, арест, тюрьма... Главное не в этом, а в том, что на груди цивилизации пригреваются сегодня новые, еще невиданные человекозвери. Эти звери растут, наливаются силой. И они — в защитной оболочке добренького "не убий"...

Надо растопить печь. Когда они за ним придут — неизвестно. А ему холодно. Очень холодно.

Он приносит дрова. Колет лучину. Ищет бумагу на растопку. Эти поиски всегда трудны — в стране бумажный голод.

Вдруг видит: с полу на него смотрит белый конверт. Бумага для растопки должна быть мятой — иначе она лишь тлеет, не горит. Гребядкин распечатывает конверт. И тут ему приходит на ум: ведь он в последний раз вскрывает *такой* конверт! Больше уже не придется. А ведь когда-то он вскрывал белый конверт из милиции в *первый раз*. И было это двадцать лет тому назад. И в этой же самой избе было. Около этого же стола. Только сейчас стол опрокинут. Вся жизнь у него, Гребядкина, опрокинута... Около него стояла тогда мать, волновалась. С тех пор прошло двадцать лет. Два десятилетия отказов в выезде из страны! Они, эти отказы, быть может, и сделали Гребядкина таким, каким он стал сегодня — злым, ненавидящим, нетерпимым. Иначе он бы, наверное, затерялся где-нибудь среди добренького, голубоглазенького человечества.

Гребядкин разрывает конверт. Мелькают строки письма. Они всегда состояли из одних и тех же точно слов, расположенных в одном и том же порядке:

"Гребядкину Андрею Петровичу. Улица Самолетная, 22.

В ответ на Ваше ходатайство о выезде за границу, сообщаем, что..."

Даже разбитость пишущей машинки та же, что была в самом первом письме! Пишущие машинки в стране коммунизма — под строгим контролем. Ведь коммунизм боится печатного слова, даже полицейские машинки всегда под замком.

Что будет дальше в письме, Гребядкин уже знает. Дальше будут две строчки: "Ваше ходатайство рассмотрено. Выезд Вам за границу *не разрешен*".

Гребядкин с омерзением бросает бумагу с конвертом в печь. Несмелый огонь еле-еле подползает к растопке. От жара бумажка разворачивается. Даже текст можно прочитать. Адреса уже нет. Две первые строчки сгорают. В печи светло, видно каждую букву. Гребядкин вдруг с интересом наклоняется к печи. "Ваше ходатайство рассмотрено. Выезд Вам...". — Гребядкин склоняется еще ниже. Еще секунда, и огонь проглотит последние, самые последние слова на бумажке. Но Гребядкин успевает прочесть: "Выезд Вам за границу — *разрешается*".

С. Яворский

ТАК И БЫТЬ

Не в тусклые седмицы парастаса
Износится надорванная нить
И я начну беспрекословно гнить
Под жалобный канон шестого гласа.

Нет, я не ждал псаломщицкого баса,
Чтоб и седых волос не сохранить,
Чтоб на кисель беззубости сменить
Веселый вкус обжаренного мяса.

Давным-давно, неполных двадцати,
Не в мускулы я предпочел пойти,
А в рыжий жир благих приобретений.

Поздней успел и глухарем прослыть
И, наконец, из бодрости казенной,
Для полноты ослепну, так и быть.

Валерий Перелешин

ПО ДОРОГАМ

В который раз начав, преодолев досаду,
Примерим карандаш к барочному фасаду,
В тон архитектору, во след его затей
Как бы лукавую наметим светотень,
И нимфу сельскую, и свежий плеск фонтана
И розовую вязь цветущего каштана.

Я ездил на возах, я хаживал пешком,
В амбарах ночевал, на лавках сельских школ,
Болтал с садовником, солдатом, землемером,
Пейзажи измерял александрийской мерой,
Любая девушка мне по сердцу была,
Умел зарисовать любой изгиб ствола,
Простую грацию пасушейся коровы,
И сумерки церквей и дым любого крова,
Вечернего ручья как бы хрустальный звук
И мельничных колёс однообразный стук.
И за день утомясь, я засыпал, **бывало**,
В сверчковом стрёкоте под крышей сеновала.
А утром — чёрный хлеб и кружка молока.
Пути знакомы мне, дорога мне легка
Где жил Густав Адольф, где пива выпил Тилли
Я всюду побывал, все луны мне светили,
Все замки сосчитал и видел все края,
В любой гостинице есть у меня друзья,
Где Фридрих хаживал и где стоял Австриец;
Мои скитания мне зренье обострили.

Ты всё хотела знать — и вот тебе ответ,
Кем был когда-то я, ну скажем — в двадцать лет,
Бродячим школяром, художником прохожим,
Пиитой — мастером, на Геллерта похожим.
Все ходы-выходы мне были нипочём,
Где — хитрым писарем, где — сельским скрипачом,
Бывал и в Чехии, и в Венгрии случалось,
Три года в Вене жил — и выдворен за шалость.
Видать, что молодость — крутая череда —
Куда я ни **приду**, красавицам — беда,
Зато — я статен был, я был умён и ловок,

Удачливый ловец их глупеньких головок,
Участник всех пиров, плясун и весельчак
Бывало, ел и пил и так, и на́тошак.
Но, видно, не судьба — опочивать на розах,
И ныне я — никто — учитель с пачкой розог,
Гроза учеников, скептический педант,
Ни дат, ни имени векам не передам.
Камена выведет на камни могильном:
"Он метил в гении, а стал пятном чернильным".

1983

ПЛЯСКИ СМЕРТИ

Средневековый фарс живёт на площадях:
Гимнасты прыгают и жизни не шадят,
В готической тени старинного портала
Рапиры светятся и шелк взмывает алый;
И видя под собой расплывчатые лица,
Узорней мотылька клубится танцовщица.
Живи, пока живёшь! Клубись, пока клубится!
Не дай мгновению остановиться!
Привычны к знаменьям окрестные дома:
Война, нашествие, холера и чума,
Вечерний колокол, потом — затишье гроба,
Веселье призрачно, а смерть — чистейшей пробы,
Дуэль на площади — турнир добра и зла,
Обычный карнавал, привычные дела.
И колокол звучит, и летний вечер длится,
И острой грацией исходит танцовщица,
В последних отблесках бледнеющего дня
Там зеркальце блестит, красавицу дразня
И длится женственность, и длится лето,
И манят зрителей старинного балета
Румянцы яркие, как куколки Буше:
Вот, смерть уже близка, подумай о душе!
И так проходит жизнь и длится без конца
Под вспышки молнии прилежного косца.

Олег Ильинский 1982

МУРОМ

А. Н.

Гамлет Арташесович Григорян, молодой провизор, дежурил в старинной муромской аптеке и скучал. Перед ним лежал томик Хемингуэя, но Гамлету не читалось. За спиной, в высоких шкафах стояли пузатые фарфоровые банки с надписанными готическим шрифтом латинскими названиями. Над шкафами, под потолком, висел пыльный крокодил с обгоревшим хвостом, национализированный вместе с аптекой после революции. В большие сквозняки из крокодильего хвоста сыпалась черная древняя пыль.

За зеркальным окном аптеки в сиреневых сумерках стыл пейзаж, за несколько лет смертельно надоевший Гамлету Арташесовичу. Старая рыночная площадь. Пряничные церкви Троицкого монастыря за облупленной стеной. Сквер с грязносерой гипсовой, в дождевых потеках вазой, с прибитым к земле переросшим мавританским газоном, полным окурков и пустых пачек от сигарет. За райкомом партии — что-то вроде шатра над церковью Козьмы и Демьяна. Стеклянная коробка универсама. Часовня, одно время служившая туалетом, а теперь, из-за переполнения бывшего склепа, забитая досками — над часовой, однако, забыли сбить крест.

Гамлет сладко зевнул, выдвинул ящик стола, достал сигарету Пэл Мэл (он их редко курил, берег) и перечитал открытку от художника Коли из Москвы. "Мы с Марусей, — писал Коля, — в северной деревне, на косогоре, в кольце болот. Русская печка. Курлыкают журавли. Пятистенок с крытым двором. Подзоры. Завитушки. Конечно, крапива по углам двора. Икон на этот раз не собирали. Здесь уже прошлись писатели, реставраторы и те страдалцы, что теперь осели в Париже или Нью-Йорке. Утром и вече-

ром из-за болот наползает туман, — я много работаю в манере позднего Клода Монэ. Может быть, приедешь в Москву? Будем рады”. Маруся приписала: “Гамлет, скажите Коле, чтобы меньше пил”.

Гамлет всегда удивлялся Колиному пристрастию к деревне, хотя он жил в большом городе, в Москве, всего года два. Из московского института его исключили за “разговоры”, стихи на Площади Маяковского и за пару-другую отчетливой рукой подписанных протестов. Мать Гамлета, родом сибирячка, умерла в его студенческие годы. Комнату во Владимире, где он вырос, отобрали после смерти матери — Гамлет не протестовал, все равно ему не хотелось там жить. Армянские родственники были далеко, в Иджеване, и он их никогда не видел. Гамлет снял угол в Судогде у старухи-чистюли, работал табельщиком на автобазе. В Судогде ему не хватало солнца, он помнил там одни дожди, ранние сумерки, озноб, тошноту, изжогу. А выпавшие на его долю редкие летние среднерусские длинные вечера всегда доводили Гамлета до истерики. По утрам он вставал в Судогде с головной болью и желанием немедленно уехать на Антильские острова.

Наконец, он выучился заочно на фельдшера и нашел работу в Муроме.

Он родился и всю свою сознательную жизнь провел здесь, в средней полосе России. Но эта страна так и осталась для Гамлета айсбергом, огромным и плохо различимым из-за окружающего его векового тумана, плотного, душного, одуряющего. Все вокруг металось в этом тумане, не понимая ни себя, ни этого кружашего головы тумана, ни того ледяного узилища, в котором они жили, живут и, возможно, будут жить аридовы веки. Может быть, у этого айсберга было какое-то невидимое основание, мешавшее ему перевернуться и сгинуть в океанской пучине космоса, но Гамлет не знал — какое, и что его держит. Гамлету было жаль это артистическое, вероломное, доброе и злое славянское племя, среди которого он родился и вырос. Хотелось этим людям помочь, но он не знал — как и чем.

В Муроме первое время Гамлет ходил по вечерам с полюбившей его дворняжкой Манькой на псевдодревнерусский вокзал и там пил в ресторане под пыльными пальмами с лысеющими офицерами из соседней ракетной части, убеждая их осмыслить и

перемениться. Офицеры горячо обещали, а когда окончательно напивались, становились злыми, требовали, чтобы он шел торговать лавровым листом и хурмой и не лез не в свое дело. Покричав, они лезли целоваться, иногда плакали, а потом Гамлет возвращался темными улицами на свою Красногвардейскую с перебитыми фонарями; за ним бежала уставшая от привокзальных кобелей Манька, обоим было противно и одиноко. Напившись, Гамлет мечтал: "Сколотить бы крепкую террористическую группу, вроде той, в которой участвовал отец до революции, и шибать направо и налево". Но тут же сам себя урезонивал: "Ведь предадут, наутро и предадут. Ближайшего участкового не успеешь шлепнуть — раньше донесут". И от этой мысли он мгновенно трезвел.

На вокзале Гамлет познакомился с официанткой Надеждой, застенчивой, некрасивой матерью-одиночкой. Она и Хемингуэй кое-как скрашивали его жизнь, но оставалось много свободного времени и желание себя применить. Хотелось опять начать писать — теперь уже прозу, но не было ни воображения, ни усидчивости. И не было таких ярких, острых впечатлений, какие были хотя бы у старика Хэма.

"Может и в самом деле съездить в Москву, проветриться к тамошним подтирашкам. Вот и Коля зовет. Крюков, наверное, уже вернулся из Праги. Собирался заглянуть сюда в августе, так и не появился. Жаль. Я бы с ним водку пил. Ругался. Он бы сказал, как прекрасна была древняя Русь. А я бы ему на это ответил..."

Гамлет опять раскрыл "Зеленые холмы Африки". Теперь охотники сидели в засаде у солончака, поджидая куду. До начала сезона дождей оставалось всего несколько дней, и герой нервничал. Надо было так много сделать, а времени было в обрез. А тут еще к нему приставал с вопросами нудный австриец. "Скажите, кто самый большой американский писатель? — Мой муж, — сказала моя жена. — Нет, на самом деле. Семейная гордость тут не при чем. Я хочу знать — кто именно? Конечно, это не Эптон Синклер. И, разумеется, не Синклер Луис. Я хочу знать, кто ваш Томас Манн? Кто ваш Поль Валери? (понятия не имею о Валери, и плохо знаю Томаса Манна, — вздохнул Гамлет). — У нас нет самых больших писателей, — сказал я. — С нашими большими писателями в определенном возрасте что-то происходит. Пожалуй, я могу объяс-

нить, но это будет долго и нудно...”

Дверь аптеки хлопнула. Потянуло сквозняком. Крокодил под потолком покачнулся и из его хвоста на страницу Хемингуэя просыпались крупинки черной пыли.

Вошедшей женщине было чуть-чуть за тридцать. Красивые брови и серые, с зеленцой глаза. Курноса. На русых волосах кокетливо сидела мужская пыжиковая шапка со следом от якоря посередине. Высокий воротник под каракуль, как у многих здешних.

— Вам чего? — угрюмо спросил Гамлет.

Женщина сразу не ответила. Внимательно осмотрела аптеку, задержала взгляд на шкафах с фарфоровыми банками. Подняла голову к потолку, увидела крокодила и заметно ожесточилась:

— Вот ты где, змеиный приятель!

— Извините, гражданочка, змеиной мази у нас в настоящее время нет. Надо выписывать со склада.

— Я уже все ваши мази перепробовала, и свои тоже, — вздохнула клиентка. — Не берут!

А что вас, собственно, беспокоит? Ишиас? Простите, чешотка?

Неприязненный летающий змей! — твердо и со злобой сказала женщина. — Мужа мучит каждую ночь. В меня, вражина, влюблен. Каждую ночь прилетает и нас мучит... Извините, не назвалась — Фрося.

Гамлет привстал из-за стойки. Клиентка не выглядела безумной. Впрочем, есть тихие, полно. Он сам, например. Дать ей, что ли, нейролептиков. Потом пусть ругают, что отпустил без рецепта. Ведь человек в беде.

— Не змей он обыкновенный, а хуже того, оборотень, — говорила Фрося. — Районный начальник милиции. Влюбился в меня, так теперь хочет мужа сжить со света. У самого жена, прославленная партизанка, ничего, неплохая женщина. Мой Петруша так себе, мужичок слабосильный, но добрый, я бы даже сказала чересчур. А уж когда выпьет, делается совсем смиренный, только плачет. Жалею его. Он теперь от змея очень плох. В струпьях. В коросте. То и дело на больничном листе.

”Я, должно быть, брежу, — сказал себе Гамлет. — В наши дни — и вдруг какой-то змей! Может ей, все же, нейролептиков...”

— У меня к вам большая просьба, — робея, сказала Фрося.

—Одолжите мне, пожалуйста, вашу железку.

— Что, простите? — Гамлет растерянно шарил в столе, ища пачку сигарет.

— Да вот Агриков меч. Он у вас лежит под кроватью, завернут в газету "Сельская жизнь". Очень надеюсь, что поможет...

Гамлет вспомнил, как летом, бродя по Карачарову, он зашел в пустую, заросшую старой жимолостью и бузиной церковь. В церкви стоял пацан по своей нужде. Пацан неспешно мочился в дыру развороченного склепа. Над дырой мраморная, в саже, дева скорбно прикорнула у урны: "Вдова капитана Бабаева — Матрона". Когда пацан кончил, он сказал Гамлету важно: "Хочешь, что-то покажу?". Полез в дыру, долго шарил и слышно пыхтел вниз. Наконец, вылез со ржавой шпагой. "Агриков меч!" — торжественно изрек мальчишка. Гамлет сменял шпагу на пачку американской жевательной резинки. Подумал, что для чего-нибудь пригодится — хотя бы подарить Крюкову, тот любит все древнерусское.

— Что же это такое будет? Соучастие в убийстве?

— А кому знать? — просто ответила Фрося. — По-тихому прилетает, по-тихому и дух испустит, или что у него там вместо духа. Всем только облегчение. Да, наверное, и ему самому.

— Как зовут начальника, виноват, змея? — начиная увлекаться, спросил Гамлет.

— Ступин он, Владимир Иванович, подполковник милиции. Ночью прилетит, над Петей мордой потрясет — с морды брызги. Которая капля на Петю упадет — там у него наутро струпя. А бельё от этих брызг не отмоешь никаким порошком.

Гамлет подполковника Ступина знал. У Ступина он брал разрешение на пропуск. Ступин сидел в своем кабинете колючий, небритый, подозревающий, с внушительной колодкой боевых орденов на груди.

— Неубедительно, — сказал он, просмотрев Гамлетовы бумаги. — Между прочим, мне из Москвы переслали ваше дело. Рыльце-то у вас, дорогой товарищ, в пушку! — Он пронзительно посмотрел на Гамлета, потом с отвращением разглядел площадь под окном и, наконец, обратился за вдохновением к портрету Ленина. Молчание было неприятным и длилось долго.

— Так и быть, разрешаю! — сказал, наконец, Ступин. —

Ладно, живите в нашем славном трудовыми подвигами историческом городе. Из уважения к заслугам вашего отца. Но если что, — тут он погрозил пальцем, — в двадцать четыре часа вон! Отправляю туда, где не только армяне, но и солнышко не делает никаких оборотов!

Потом Ступин не раз заходил к Гамлету в аптеку. Всегда брал анальгин от головной боли и свечи от геморроя, всегда ласково взглядывал на крокодила под потолком, и всегда отмечал свистящим полушопотом: "Неблагополучно у вас с портретом Владимира Ильича! Чтобы в следующий раз был!".

А почему вы знаете, что у меня есть эта шпага... Агриков меч?

Змей признался, Ступин. Прилетает он ночью, змей змеем. Петю окропит. Сонного. Потом обернется видным мужчиной, с боевыми орденами на груди. Вылитый Ступин, только куда свежее. И лезет ко мне с ласками. Играть хочет. Я сама, конечно, не проста, знаю кое-чего, поэтому пока и держусь, кое-как обороняюсь. А уж я все испробовала. Ничто его, вражину, не берет. Все хвалится и хвалится — "Доберусь, — говорит, — до тебя!". Я его раз, шуткой, спросила: "А на тебя-то есть управа? Бессмертный ты, что ли?". Тут он вдруг разоткровенничался, и сказал: "Смерть моя от Агрикова меча, а меч этот у армянина, что сидит в аптеке на площади". Вот я и пришла.

— Интересно, много их, таких змеев... в Муроме? — любопытствовал Гамлет.

— Кто ж его знает. Ваш крокодил, будьте покойны, он тоже с особой начинкой. Зря мы, кажется, при нем разговариваем. Может, здесь и другие есть, только затаились, скрываются, не выманишь — значит, поважнее. Ну и в Москве, конечно, полно, и в других городах.

— Как вы думаете, этого Агрикова меча на всех хватит? — спросил, воодушевляясь, Гамлет.

— Вряд ли. Вот если чистая душа за всех сгорит... Тогда, может, и главный змей изубытчится, то есть повредится. Ну и те, которые поменьше. Да где ее взять, чистую душу? Все мы грешные... Так вы мне меч одолжите? Ненадолго?

Гамлет обещал принести ей шпагу завтра. Фрося ушла, обнадеженная. Из крокодила опять просыпалась черная пыль.

Гамлет в первый раз посмотрел на него с интересом и подозрением. Закурил сигарету и выглянул в окно. Фрося шла через пустынную площадь, а за нею скакал большой живой заяц.

Гамлет не поверил своим глазам: "Боже, где я живу? В какой стране? В каком веке? Ведь только вчера здесь были красный кумач, кожанки, "лозунговая ворожба", индустриализация, двадцатипятидесятники, Лиля Брик, раскулачивание, "Любовь к трем апельсинам", обереуты, Шостакович, чья-то "Гидроцентральный", фильм "Трактористы", теория Марра, стахановцы, космополиты, космонавты, кукуруза, "Падение Берлина", врачи-вредители, ракеты — и — оборотень, неприязненный змей, Агриков меч, заяц, крокодил, Фрося!"

Вот уже скоро, всего через пятнадцать минут, он пойдет домой, на свою тихую Красногвардейскую улицу над оврагом — окунуться в ползучую эмпирею жизни. Хозяйка, бабка Ульяна, будет стоять в иконном углу — "Да исправится молитва моя, яко кандило пред Тобою... жертва вечерняя". Ему надо проходить через ее комнату, они всегда стесняются друг друга. "Прости, что крещусь, — неизменно извиняется Ульяна, — знаю, что теперь не положено". И убирает руки за спину. "Ничего, мамаша, не беспокойтесь", — в несчетный раз повторит Гамлет. Он бочком пройдет к себе и ляжет на высокую деревенскую кровать, над которой повесил портрет Хемингуэя в фуфайке, мудрого как старик и море. Гамлет сомкнет веки — на минуту отдохнуть от жизни, — и услышит из соседней комнаты продолжение: "...Бог же безначальный, создав человека, почтил его, царем поставил надо всем земным существом, любя в человеческом роде праведных, а грешных милуя — всех желая спасти и в разум истинный привести..."

"Хорошо бы меня в разум привести, — смутно пожелает себе, уходя в дремотную истому, Гамлет. — С *этим* надо как-то справиться. С безвременьем. С такой жизнью. С самим собой". И заснет часа на два.

Проснувшись, Гамлет уйдет на всю ночь к Надежде. Она только что с работы, из ресторана, с тяжелой сумкой. Надежда изжарит Гамлету пару-тройку микояновских котлет. Котлеты, конечно, подгорят. Он съест эти котлеты, выпьет водки, потреплет за подбородок чужую сонную девочку — "Ну, как дела, Анюта?"

и пойдет спать на другую высокую, с медными тусклыми шишками кровать, под деревенское, в цветных лоскутах одеяло, под портретом еще одного мудрого и весело шурящегося Хемингуэя в фуфайке. Раздеваясь, он будет стесняться дырок на пятках, плохого белья Надежды, и в который раз обещать себе: "С этим надо будет как-то справиться. С безвременьем. С собой".

По дороге домой Гамлет шел и удивлялся, как это он до сих пор не замечал древности этого города, его потаенной жизни, с которой только что соприкоснулся. Но и от Владимира, где он жил дольше, Гамлет помнил не древние соборы над Клязьмой, а только ту коммунальную квартиру, где они с матерью обитали.

Помнил коротко стриженую Рахиль Давыдовну на кухне, прямую, с презрительно опущенными углами губ, бедную, как церковная мышь старую комсомолку на высылке, так и не научившуюся разжигать керосинку. У нее всегда коптил фитиль, и Пелагея, бывшая горничная соборного протопопа, ветеран коммуналки, ковыляла на кухню и, плюясь в заставленный пустыми сундуками пыльный угол, учила Рахиль Давыдовну правильно заправлять фитиль: "Тыфу, коммунисты! На Расею замахнулись, переобразователи, а фитиля правильно не могут вставить!".

Там была старая генеральша Чулкова, кутавшаяся в полу-съеденную молью черную испанскую шаль. Она через день варила на кухне бульон из костей, страшно боясь кому-то помешать, попасться на дороге. Гамлету казалось, что ей постоянно хотелось упрямиться и не быть.

Там были две молодящиеся, крашенные под блондинок сестрицы в потрепанных розовых халатиках, с неизменными папиросками в зубах. Обычно они варили кашу и мечтали вслух о молодости, Иване Мозжухине и Рудольфо Валентино.

Иногда на кухню заходил местный участковый Семен Семенович, краснолицый, всегда пьяный, громкий, толстевший прямо на глазах. "Ну, как вы тут, контры? — зычно вопрошал он. — Не пошаливаете? Вы мне того, смотрите! А то ежели что, так тюрьма, вот она, рядом!" И тыкал грубым большим крестьянским пальцем в сторону холма, на котором стоял бывший Рождественский монастырь, а ныне знаменитая Владимирская тюрьма. Уходя,

Семен Семенович милостиво разрешил: "Отдыхайте!". И даже не верилось, что где-то рядом, недалеко, недавно, за океаном жили герои Стейнбека и Керуака, Селинджера; хемингуэвский Ник, выросший у ручья в Мичигане в иной простоте и суровости "нашего времени", или хемингуэвский писатель, умиравший у снегов Килиманджаро, или мистер Макомбер с его недолгим счастьем.

Придя домой, Гамлет попробовал соснуть. Но вспомнил, встал, вытащил из-под дивана завернутую в газету заржавевшую шпагу. Попал глазами на заголовок — "Механизаторы, выше держите знамя социалистического соревнования!". С любопытством протер шпагу газетой, положил на стул — "Завтра отдам, так и быть, этой Фросе. Все равно я ни черта не понимаю. А ей, наверное, нужно". Опять пробовал заснуть, и опять не спалось. Слышал, как Ульяна вполголоса молилась; "О, храбрый воине Константине, победивший прелесть идолослужения и просветивший град Муром; блаженные Константин, Михаил и Феодор, сохраните град сей невредим, его же возлюбили, и свободите от работы демонской". Ульяна передохнула и продолжала: "Радуйся, княже Петре, яко дана тебе благодать от Бога убити летающего свирепого змея. Радуйся, Феврония, яко в женском естестве премудрость святых мужей имела еси!".

Гамлет и раньше слышал, как Ульяна повторяла эти имена, но они в его голове не задерживались, пролетали. А сейчас он встал, заглянул в ее комнату. Она ставила на плиту чайник.

— Бабка Ульяна, все забываю тебя спросить, кто такие были Петр и Феврония?

— А кто их знает. Муромские жители. Все больше святые. Может, их казнию, а может, и так, сами. В соборе раньше стояли. Теперь их в музей сложили. Сама не была, люди говорят. Ты это что, Гаврюша, в дверях? Проходи, чайку выпьем. Я нынче помадкой разжилась. Думала, ты спишь, как всегда.

— А эти, Михаил, Константин, Федор? — не отставал Гамлет.

— Прежние муромские жители, должно быть, а вот до тонкостей не скажу, потому что не знаю. Казнию ли их, или сами, тоже не скажу. Муром, друг Гаврюша, прежде был на святыни богатый. Теперь, конечно, вышло запрещение на святых, на добрых лю-

дей, я уж так, по привычке, ты меня извини.

— Я не с каким-нибудь осуждением, избави Бог, — поспешил Гамлет. — Просто я невежественный, тут живу, а ничего не знаю.

— Какой же ты невежественный, Гаврюша? Все читаешь да читаешь. А ты не все читай. Маленько почитал, потянулся. Куришь тоже много. Курить, это от скуки. От беса-тоскливца.

— Какой он, бес?

— Бес, он у человека нервы переводит. Ежели человек тоскует или там скучает, так он ему еще более тоски придает.

Гамлет откусил помадку и задумался с граненым стаканом чая в руке, не замечая горячего стекла.

— Скажи мне, бабка Ульяна, как воспитать в себе не подозрение и ненависть, но глубокое доверие к сущности вещей? — спросил он, впрочем, не ожидая ответа. — Раньше, бывало, сотни книг прочтешь, чтобы узнать, как и зачем устроен мир. А теперь говорят "фирма" или "марксизм-ленинизм", и всем сразу все ясно, что это нечто иное...

— Ты стакан-то поставь, волдырь вскочит, — забеспокоилась Ульяна. — Над собой, Гаврюша, не мудруй. Живи, как все, плохих людей бегай, с хорошими будь по возможности ласков. Что же, к Надежде сегодня не пойдешь? Иль охладел?

— Станный сегодня со мной был случай, бабка Ульяна, — начал Гамлет, но передумал. Ульяна внимательно на него посмотрела. Гамлету даже почудилось, что она что-то знает.

— Я все думаю, бабка Ульяна, как вам помочь, — задумчиво сказал Гамлет.

— Да в чем мне помочь-то? Я во всем устроена. Господь мне хороших людей показывает, а плохих сама сторонюсь — опять же по возможности.

— Да не об одной тебе речь. А вот как всем помочь? Отечеству, что ли? Дремлет оно в грязных снегах — то ли в ожидании Годо, то ли отходя от вчерашней бормотухи, — пойди, пойми. Услышишь шорох, чу, глядишь, выползет из-под сугроба какой-нибудь вурдалак, или змей, с куском дефицитной колбасы в пасти, повоет от радости на луну, и опять в сугроб, и снова все тихо. Любите сало — источник знания!

— Да уж нам все помогали, — отозвалась Ульяна, тревожно поглядывая в незанавешенное окно. — Ну, и мы сами себе так

помогли, что хоть куда. Теперь и другим помогать стали. Я вот долго не сплю, лежу, поставлю тихонечко радио, слышу: и коричневым, и зеленым, и всяким... Китай ныне шибко пошел, не слышал, Гаврюша? — Ульяна зевнула: — Надо будет, Бог сам поможет и нас надоумит. А другое прочее все суета. Помощь от добрых дел, и от правоверия, и от нелицемерной любви...

— Сифилис аспирином не вылечишь, — заметил Гамлет.

— Что? — спросила Ульяна, не поняв. И добавила, припоминая: — И чтобы за други своя голову положить.

— Ты, бабка Ульяна, сама это придумала?

— Куда уж мне. В книгах написано. Я не читала, неграмотна, а в церкви слышала.

— Так вот и живем, — мрачно думал Гамлет. — Больше в страхе. Я ее боюсь, а она меня”.

— Ты бы в Москву, что ли, Гаврюша, съездил, проветрился,

— сказала Ульяна. — Давно не был. Друг-то так и не приехал? Небось, скучаешь по товарищам?

— Тоска там немытая, лепрозорий, — вяло откликнулся Гамлет. — А может, и правда, съезжу. Потрогать кой-кого за вымя... — Он встал, потянулся, поблагодарил за чай и громко процитировал: — Последнее свободы — знать добро и его хотеть, — сказал товарищ Гегель.

— Иди с богом, меня в сон сморило, — попросила Ульяна.

И опять, лежа у себя, Гамлет слышал, как она бормотала молитвы, вспоминала Петра, Февронию, Константина, Михаила и Феодора, вздыхала, кажется, тихо плакала, а потом, наконец, успокоилась, должно быть, уснула.

Он долго лежал с открытыми глазами, уговаривая себя встать, одеться и идти к Надежде. Но не хотелось ни холодных улиц, ни лестниц через овраги, ни микояновских котлет, ни чужого детского подборodka, ни некрасивого женского белья. Над ним висел мудрый Хемингуэй, и Гамлет впервые заметил в углах его веселых глаз загнанные в самую глубь растерянность и смятение. А под Хемингуэем, собранные в одной ореховой рамке, с орнаментом из ядовитого цвета роз, висели любительские карточки мужчин — небритого старика, моряка, младенца, солдата.

— Все забываю спросить, — а была ли у Ульяны семья”, — подумал Гамлет и заснул, не выключив свет.

Во сне он увидел себя в Москве, на Красной Площади, на Лобном месте, в белой длинной льняной рубахе. Кремлевские церкви и соборы, и те, что он помнил, и те, которых никогда не видел, были распахнуты и горели свечами. Звонили колокола. А по всему пространству площади к нему на коленях ползли люди, тоже в белых рубахах, протягивали руки, кричали: "Спаси нас от змея!". Над площадью, над городом что-то огромное, неповоротливое будто ворочалось, брызгало огнем, рычало. А потом он увидел, как со стороны Исторического Музея, от Иверской часовни, которой он не застал, но знал, что она там когда-то стояла, к нему стали приближаться три фигуры. Они оттого были различимы, что все остальные, а их были тысячи, ползли. А когда они приблизились, он узнал Евфросинию и Ульяну. Посередине шел пожилой человек во фраке и цилиндре. За ними скакал большой заяц. Человек во фраке приподнял цилиндр и представился — "Профессор Георг Вильгельм Фридрих Гегель". Евфросиния подошла к Гамлету и положила ему на плечо руку. "В тебе огонь все сожжет и оттопит, ничего, кроме чистого, не останется", — сказала она. "Ничего, кроме добра", — добавил профессор. "Ты уж сделай милость, пострадай, — попросила Ульяна. — Жертва вечерняя". А кругом ползли, прибывали люди, тянули к Гамлету руки, выли — "Спаси нас от змея!".

II

Владимир Иванович Ступин, в прошлом герой-партизан белорусских лесов, а ныне районный начальник милиции в Муроме, сидел воскресным утром в пятом этаже, в кухне своего блочного дома и с ненавистью смотрел во двор. Во дворе резвились дети под присмотром степенных бабок в тяжелых шубах и с высокими воротниками под каракуль. Было холодно, того и гляди мог пойти снег. За спиной у Ступина, в гостиной обставленной румынским гарнитуром, его жена Ванда крутила трофейного Лешенко

Ты мне поверь, как я тебя люблю,
И за тебя себя я погублю.

Вчера, в субботу, у них были гости: свояченица с мужем, мест-

ным прокурором. Ели кролика из распределителя и пили экспортную столичную. Ступин напился, запустил костями от кролика в свояка, оскорбил Ванду, в который раз остервенясь на ее польскую галантность и желание пофасонить — "Курица ты старая, а не жар-птица!". Потом, не желая больше терпеть их общества и грызушей его тоскливой неудовлетворенности, вышел на лестницу, чтобы власть накричаться русским криком — там был и упрек миру за нелепость, и укор близким за непонимание, и беспредметная злоба без выхода, и, конечно, горячая жалость к себе, к своему страху.

А безопасно себя чувствовал Ступин только в минуты настоящей опасности. И особенно хорошо — в дни войны. Внезапно налететь на занятую немцами деревню. Сидеть в засаде, а потом расстреливать в упор колонны немецких грузовиков. Если силы неравны, отступать, отстреливаясь. Карать полицаев и баб-коллорационисток. Стаскивать с полуразложившихся или еще теплых трупов добротные сапоги. Прислушиваясь к лесным шорохам, пить самогон в землянке. Идти в атаку, в кого-то стрелять, особенно хорошо, когда видишь — в кого. Даже подозревать — в разведке — напарника и чуткую тишину — даже это было хорошо и почти безопасно.

А здесь, в мирной жизни, к Ступину все чаще подступал страх. Он боялся телефонных звонков сверху, новых циркуляров и инструкций, толпы на улице, бунта, детей, кривой улыбки начальства, выговора по партийной линии, и, с недавних пор, — жену Ванду, свою старую боевую подругу.

Страна явно разоружалась, теряла бдительность — и Ступин терял бдительность и разоружался вместе с нею. От этого болело сердце.

Он боялся и ненавидел все эти новые поколения. И вконец распутившиеся старые — тоже. Наглых длинноволосых парней в нейлоновых куртках (смотрят в глаза прямо, с вызовом — есть основания подозревать бунт). Гладких, коротко стриженных женщин в нейлоновых кофточках (а прежде женщина была хрупкая, с выпирающими беззащитными ключицами, в единственном крепдешинном платье). А дети — крикливые, требовательные, избалованные. И старухи, совсем непохожие на довоенных смиренных старух, тоже требовательные, языкатые, знающие какие-

то там свои права (и тут: как не подумать о бунте). Все они явно что-то замышляли, чему-то, дорогому для Ступина, дерзко сопротивлялись и не хотели, но не было никакой возможности и предлога их выследить, уличить, привлечь.

Все вокруг было не то, что Ступин и другие ветераны надеялись увидеть после войны. Но спроси Ступина, *что* он тогда хотел, он бы не мог ответить. Знал только твердо, что это — не то. А как же они, ветераны, надеялись, как ждали конца войны! Плакали и пели, расставаясь со своими крепдешиновыми женщинами после краткой побывки —

До встречи, до встречи
До полной победы,
До вечера после войны.

Вот, минуло тридцать лет, и в прошлом мае Ступин и другие ветераны опять собрались, пили, пели песни военных лет, и опять плакали — от бессилия, от близкой старости, от ужаса перед напугавшей их жизнью, из которой они так и не вышли победителями.

И сегодня, опохмелившись рассолом из-под муромских огурчиков, Ступин сидел на кухне, с омерзением считал неспешно вылезавших из газовой плиты тараканов, с ненавистью и тоской смотрел во двор на распутившийся народ, на резвившихся подрастающих уголовников, и мечтал только об одном — полить бы сейчас их всех очередь из автомата!

Вчера, после крика и скандала, к нему на румынский диван в гостиную приходила Ванда в японском шелковом кимоно, ластилась, но он отговорился усталостью и тем, что был пьян. Ступин закрыл за Вандой дверь, лег на диван, закрыл глаза и приготовился к полету.

Вот уже скоро год, как *это* с ним случилось. Сначала он не верил, думал — дурные сны. Но когда понял, что никакие это не сны, а явь, обрадовался, и теперь жалел только об одном — не с кем поделиться.

А случилось со Ступиным то, что в одну прекрасную ночь он стал летающим змеем, драконом. Он был такой не один. Их там было много, разных размеров, матерости и силы. Они вылетали из своих обиталищ безлунными, беззвездными ночами, формально

живые и формально мертвые, собирались в стаи, делились впечатлениями, планами, разлетались по своим ночным делам. Хотя Ступин не со всеми еще успел познакомиться, но кое-кого он уже знал. Знал он, например, крокодила из муромской аптеки. Тот был так себе, мелкий змей, но полезный информатор — рассказывал, кто чем в Муроме болен, и вообще — чья душа чем болит и как лечится. С другим из своих ночных спутников, старым, матерым большим змеем, обычно державшимся задумчиво в стороне, Ступин однажды немного поговорил и после этого разговора смотрел на него благоговейно, а о себе думал с гордостью причастности.

Большого змея звали, как и Ступина, Владимиром, он был формально мертвым и одиноко лежал в своем стеклянном пристанище, на виду. Он даже как-то горько пожаловался: "Одинок я, голубчик, бессовестно одинок! Хотя, вроде бы, мне все и поклоняются. Архипарадокс!".

После знакомства с большим змеем, наутро, Ступин, проснувшись на своем румынском диване, долго разглядывал портрет прищурившегося вождя над сервантом, пытаюсь соединить непохожие образы. Вскоре однако, как-то их для себя соединил, привык, и теперь доверялся портрету над сервантом точно так же, как своему ночному спутнику. Впрочем, большой змей удостоивал Ступина своим обществом довольно редко. Ступину хотелось рассказать об этих встречах пионерам, ветеранам, но — как?

Вот и вчера он пытался слегка намекнуть свояку на свое особое положение и знакомства, но из этого ничего не вышло. Ванда смотрела на него уж очень выразительно, и Ступин подумал: "Вот сейчас, стерва, предаст!". Поэтому Ступин перевел разговор на неблагоприятное моральное положение общества, приведя несколько примеров, известных ему по ночным донесениям змея-крокодила.

Армянин из аптеки владеет холодным оружием, мечтает создать террористическую группу, замысливает бежать на Антильские острова и читает антисоветчину. Его хозяйка, Ульяна, бывшая кулачка, ходит в дом к одной тайной монахини и там вместе с другими старухами читает Евангелие и другие богослужебные книги, что есть неразрешенная религиозная группировка. Жена шофера

секретаря райкома Евфросинья Смирнова готовит и продает лекарства без ведома и разрешения Минздрава и его Главного аптечного управления. Парни из клуба имени Сакко и Ванцетти танцуют твист, ведут нехорошие разговоры и на-днях собираются измазать дегтем двери квартиры зав. райбазой, она же любовница того же секретаря райкома. И так далее.

— Неубедительно, — сказал свояк. — Нет состава преступления. Сигналов от трудящихся не поступало. Где твои доказательства?

— Я тебе даю сигналы, — сказал, начиная злиться, Ступин.

— Ты, дорогой Владимир Иванович, в другое время живешь, не забывай! Без веских доказательств теперь нельзя. И вообще, Владимир Иванович, будь поосторожнее со своей партизанщиной. Тебе до пенсии недалеко, зачем портить личное дело? Выйдешь на законный отдых персональным пенсионером, тогда и давай сигналы, как рядовой трудящийся.

— Какие такие тебе нужны веские доказательства? — окончательно разозлился Ступин. Особенно его рассердило любимое "неубедительно", произнесенное не им. — Вообще, если хочешь знать, в стране сложилось крайне угрожающее положение. Мне это известно оттуда... — Он показал в потолок и хотел было и еще больше сказать, но запнулся под взглядом Ванды. — Предаст, стерва, предаст, все придумает и переверет, потому что ничего точно не знает, — холодея, подумал Ступин.

У Ванды уже были определенные подозрения. Несколько раз ночами она не находила мужа на румынском диване. Пробовала подкарауливать у дверей, даже пару раз сама там засыпала в эфэргешном пеньюаре на большом сундуке. Наутро, однако, Ступин снова оказывался дома, на этом самом диване, только что после сладкого сна. Пробовала устраивать скандалы, но при первых вступительных тактах Ступин уходил из дому, даже не хлопал громко дверью, только отшучивался. Раз она принесла и ткнула ему в лицо совок с лежавшими там жесткими чешуйками (при ночных превращениях он, видимо, слегка лез). Спросила с отвращением: "Що то есть? Але новая женская мода — ходить в змеиной коже?". Он ее крепко, по-русски, послал.

Иногда Ступину хотелось задобрить жену, сделать ей что-нибудь приятное: наутро в квартире появлялись импортные бутылки,

или дефицитная колбаса, или вот это японское кимоно, которое Ванде оказалось к лицу. Самому Ступину летать далеко было лень и боязно, так он обычно просил об одолжении шустрого змея-крокодила. Но после недолгих восторгов Ванда опять приступала к мужу с расспросами, иногда вкрадчиво, а иногда — настырно: "Цо пан ночью дзелал?". Она все еще, по привычке, подозревала женщину. И только изредка, самой себе боясь поверить, что-нибудь похуже. Тогда Ванда пугалась и крестилась: "Матка Бозка Ченстоховська!".

Но Ступин, действительно, был влюблен. Он встретил ее в клубе имени Сакко и Ванцетти на вечере в честь Дня милиции.

— Пожалел бы кто-нибудь, что ли, пригласил танцевать! — сказала она, озорно оглядываясь вокруг и поправляя на крепкой груди нейлоновую кофточку.

Ступин стоял близко, и сердце его упало. Русые волосы, серые глаза с легкой зеленью. Зрела. Курноса.

Он пригласил ее танцевать, поззнакомился.

— Вы здесь одна? — спрашивал он, беспрестанно наступая ей на туфли. Ордена и медали царапали ее нейлоновую кофточку.

— Муж вон там, у колонны. Петруша.

Муж в мятом долгополом пиджаке со старомодными острыми лацканами стоял у колонны и был сильно пьян.

Петруша был шофером секретаря райкома. Ступин знал его беззлобным, жалким и потому презирал. "Ты, Петька, даже под банкой не можешь себя выразить, какой ты есть на самом деле!" — говорил ему Ступин с гадливостью и подозрением.

— И такой плотве, такой мямле эдакая баба досталась! — огорчился Ступин. Он жарко задышал ей в щеку гнилым ртом: — Мы с Вами созданы не для этой мелюзги!

— Да неужто? — задорно спросила Фрося. — Где же вы такой Иван-Царевич отыскались?

— Знаете, как в песне поется, — "трудовые будни станут праздники для нас", — бубнил у нее над ухом Ступин. — Только прикажите!

Принес из буфета румынское шампанское.

— Это что! Вот в Германии я пил! Французское, трофейное...

Ступин вдруг заметил у нее на шее цепочку и крест. Стало

неприятно, будто в сердце кол попал.

Вы, случайно, не религиозная активистка?

— Еще чего?! — притворно, как ему показалось, удивилась Фрося. — Я по другому ведомству. Это так, с детства, чтоб крестную не обидеть.

Ступин опять потянул Фросю танцевать. Она отпиралась, не шла.

— Вы лишнего, что ли, выпили? Вам по должности нельзя.

Он и, правда, выпил много, смешал.

— Ну, подожди, — обиделся за себя Ступин. — Уж я тебя раздеаю под орех! Пойдешь за мной без креста, нагишом". А вслух сказал, переходя на "ты":

— Ты еще всех моих должностей не знаешь! — И, круто повернувшись на каблуках и уходя в другой конец зала, бросил по привычке — Отдыхайте!... Пока...

Все воскресенье Ступин проскучал, протомился, перебирая в уме служебные дела. Две девчонки попали под самосвал. У одной мозги сразу в сторону, другая — в реанимации. Братья девчонок били шофера хорошими сапогами (сапог жалко) по голове. И шофер и братья — в отделении. — Шофер еле жив, братьев следует освободить. Две бабы проворовались на тысячу рублей, выпили водки на червонец и, заматаывая следы, сожгли товара на сто тысяч, а заодно и пьяного сторожа на складе. — Пора передавать дело в суд. В автобусе пьяный мужик нечаянно косой зарезался. — Никто не виноват. У тракториста из пригородного совхоза жена сбежала. Тракторист с горя напился, утопил и себя и трактор. — Напомнить секретарю райкома, чтобы дал директору совхоза строгий выговор с занесением — нельзя бесхозяйственно разбазаривать машинно-тракторный парк! Мракобесы опять поднимают голову. У него на столе лежит просьба об открытии церкви в Карачарове. — Сказать инструктору, чтобы усилил идейно-воспитательную работу в массах. Городские девки ходят в штанах, крютят задами, будто завлекают. Как пресечь?

Вечером Ступин опять не допустил Ванду. Впрочем, она особенно не настаивала. Он быстро заснул. Вначале видел обыкновенные сны. Снился себе он сам трехгодовалым сиднем в голодной деревне. Снились ему воюющие худые волки на талом насте, на

опушке — он от них убегает с поломанной лыжей, то и дело оседая в рыхлый снег. Снился небывалый ужас, который испытал в пятнадцать лет, когда впервые увидел паровоз и услышал его свист. Снился себе Ступин молодым комсомольцем — и уже скоро начаться войне. Но тут он проснулся, вытянулся в змея, у него выросли крылья, он расправился и полетел.

И первым, кого он встретил, был змей-крокодил. Остальные клубились черной тучей далеко вверху. Большой старый змей реял задумчиво особняком.

— Он сегодня сильно не в духе, тревожится. Поступили сигналы, — сообщил змей-крокодил. И полюбопытствовал: — У тебя-то на ночь какие планы?

— Я так думаю, пора, наконец, это дело решать, — поделился с ним Ступин. — С Евфросинией. Все крутит вокруг да около. А мы все либеральничаем.

— Вот, не советую, — сказал крокодил. — Лучше пока туда не летай. Убьют тебя. И сам будешь виноват, потому что много болтаешь. Старик сегодня не в настроении разговаривать, но просил тебя, батенька, от его имени предостеречь. Смотри, накличешь на всех нас беду!

— Неубедительно! — нетерпеливо сказал Ступин и полетел, замирая от решимости и предвкушения, в знакомый дом.

— Евфросиния приходила, — встретила Гамлета хозяйка. — Горюет. Меч твой, говорит, заржавел, не берет вражью силу.

— А ты откуда ее знаешь?

— Мы с нею из одних краев, из-под Рязани, из Ласкова. Я и родителей ее знала, рядом жили. Хорошие были люди, царствие им небесное.

— А сама она какая?

— Ткачиха на фабрике. Травы знает, это у нее в семье. Ну и шопотница — по-хорошему, конечно. Наговорит там на соль, иль на редьку, иль на банный веник — и как рукой сняло. Мне сколько раз помогала.

— Ты что, бабка Ульяна, и правда веришь в эти сказки?

— Верь — не верь, а в жизни всякое случается. Я вот в прошлый вторник ходила с подружками к начальнику, к Ступину, по церковным делам. Ступин разволновался, раскричался, грозил

острогом. Я и скажи ему всердцах: "Змей ты бессердечный, а не человек!". Он глаза вытарашил и отвечает: "А я и есть змей!". Глаза у него стали красные, как уголья. Мы тут же и поверили, как не поверить! Чуть за дверь, и давай креститься — "да воскреснет Бог и расточатся врази его!". Чего в жизни только не бывает! Тебе, Гаврюша, повестка лежит из милиции. За меч будь спокоен, спрятала, не найдут, аспиды.

Гамлет прошел к себе. Повертел в руках повестку, порвал: "Не пойду! Смотаюсь в Москву, развеюсь от этого бреда". Но бред не проходил. Гамлет вспомнил, как в прошлый раз, когда он, опустошенный, вернулся из Москвы, Ульяна спросила: "Ну как она там, Москва? Стоит? Святости в ней много, да вся ль уцелела? Прочего всего Москве тоже не занимать... Ну, а змеюка главный — все под стеной, в стеклянном гробе, в Новохудоносоровом капище?... За баранки спасибо, почти свежие. И за апельсины. Потешу старух.

Тогда он не придал значения словам Ульяны. А сейчас подумал: "Змей — Пифон — грызущий всех незаметно Червь, — как злобный дух небытия. И всем нам мешает...". К нему вернулись впечатления недавнего сна. И еще он вспомнил последнее свое ощущение от Москвы — того же небытия, медленной, негромкой, занудной смерти.

Он был там грязной, ранней весной. Шел под мелким, надоедливим дождем, а навстречу шли какие-то фарцовщики вперемежку с бескровными, брюзгливыми чиновниками и шустрыми молодцами в импортных плащах; джигиты в джинсах с бараньими глазами; грязные цыганки, только что из ломбарда, увешанные бриллиантами; какие-то якуты или самоеды; дебелые хозяйки торговых точек в замше; небритые народные дружинники со злыми глазами; тощие девицы в заграничной коже; иногородний народ, волокший тяжелые потертые сумки.

В знакомом доме поэт из Малаховки, живущий переводами из Кретьена де Труа и Арагона, говорил, рубя слова, непрерывно сокращая, как актиния свои щупальца, крошечную красную ладошку: "Главное — избежать провинциализма. Ведь мир одновременно плотск и надземен".

В подвальной мастерской в Неопалимовском старый скульптор, жуя прокуренный желтый ус, повествовал о том же, только новым посвященным: "Да, вот так, в такой суровости это все и

протекало. И было. И у Татлина, и у Мельникова. Своеобразие художника не в том, что он открыл, а в том, что в нем не удалось ополшить...”

“Боже, он совсем не изменился, — думал, замерзая по дороге к метро, Гамлет. — Как скучно! Но ведь раньше и мне казалось — вот оно, самое-то главное и есть. Тоска по пятой грани параллелограмма, где можно отсидеться, показывая миру фигу”.

У журналиста Любомира Гамлет хоть отвел душу за выпивкой. Любомир был без убеждений, но с камином и бра а ля Кристиан Диор. У него были гости, без конца звонил телефон, часто международный. Тогда Любомир хватал в охапку портфель и бежал в коридор разговаривать с Гаваной или Аддис-Абебой. Гамлет ушел от него с юристкой Алисой.

На другой день после полудня он проснулся в ее квартире на Кутузовском проспекте. Вышел на кухню. Там, под “Садом земных наслаждений” Иеронима Босха, сидели четыре фарцовщика, разгадывали, кусая длинные усы, кроссворд, а на проигрывателе Алла Пугачева пела — “Я так хочу, чтоб лето не кончалось...”

Ульяна постучалась в дверь. Он открыл:

— Что Вам, бабка Ульяна?

Она протянула ему тарелку холодной рисовой каши с изюмом:

— Годовщина у меня. Сошлось, день в день, муж Костя, и детки, Миша да Фетка.

— Это когда же было, давно?

— Года разные, а день один. Костя в лагере от цынки, а Мишка с Феткой на фронте. Мишка утоп, а Фетку подбили. День в день, в самом конце войны.

— Отчего же ты никогда о них не вспоминала? — огорчился за Ульяну Гамлет.

— А чего их каждый день зря вспоминать? Им там и без того хорошо, без моих воспоминаний. Я и в церкви их не часто вспоминаю. Далекое, а пойдешь, так с одним рублем не управись. Надо просвирку, надо свечечку, там — нищим подать. Я лучше дома, сама с собой. Лежу, не сплю, много чего вспомню и засну.

Как же ваш муж, бабка Ульяна, попал в лагерь?

— Обыкновенно, как все. По кулацкой линии. А я той ночью,

как его забрали, Мишку, Фетку да Петьку в охапку и подалась в чужие пределы. Петька у меня тогда был грудной, год только прожил.

— Много чего у вас забрали? Есть о чем жалеть?

— Что ж, мы с мужем не пили, не ели, всё дом строили. Хороший был дом, пятистенок. Ну там самовар был. Корова была. А чего жалеть, было и быльем поросло. Бог дал, Бог и взял...

— Ты в сны веришь, бабка Ульяна? — спросил Гамлет, стараясь незаметно утереть выкатившуюся слезу.

— Чего же в них не верить? Во сне тоже жизнь показывают. Я иногда лежу, сама не знаю, сплю аль нет, гляжу только: Костя идет. Глазами хлопну, а он уже в дверях, окликает — "Ульяна!". Я ему отвечаю: "Ты ведь, Кистянтин, давно помер, так зачем теперь оттоля пришел? Ты ведь в землю положен!". А он мне в ответ всякий раз разное, но больше твердит одно: "От змея покоя нет, змей моему покою мешает!". Чудно! Я ему на это говорю: "Это у тебя, Костя, всё от мнения!". Мнение, знаешь, у человека бывает в голове. Только какой же он теперь человек — ведь помер давно?.. Чудно...

Ульяна вздохнула, перекрестилась.

— Ты что же, Гаврюша, не пойдешь к Надежде? Охладел-таки? Какие вы, мужчины, переменчивые! — Уходя, она сказала, будто никому: — Прохладные мы теперь все. Не горим.

Гамлет засыпал с твердым намерением завтра взять отпуск и после обеда уехать в Москву. И сквозь обволакивающую дрему слышал, как Ульяна опять молилась, опять вздыхала: "Не покажи мене бесом обрадования в день страшный, Иисусе... Возведи от тли живот мой... Воздеяние руку мою жертва вечерняя..."

III

До Владимира Гамлет ехал в такси с двумя хмурыми лейтенантами и лихой московской дамочкой, навешавшей в Муроме мать. Дорога была извилистая, старая, а день — холодный, с темными тяжелыми тучами, грозившими пролиться холодным дождем или упасть первым снегом. Гамлета укачало, но и в марево дорожного сна проникал громкий голос москвички, рассказывавшей, как она учит своего малолетнего сына языкам, музыке и

прочему политесу. "Это чтобы в дальнейшем нацелить на международные отношения?" — предположил один из лейтенантов. "Вовсе нет! Вырастет, устрою его, если буду жива, приемщиком стеклотары: пусть знает свое место в обществе!". "А вот это умно!" — заметил какой-то из лейтенантов.

"Колготки, презервативы, стеклотара... В общем-то, все упирается в свободный пулемет, — думал Гамлет. — Боже праведный, ну куда я еду? Уж лучше бы сидеть у Надежды, хоть раз поговорить по-человечески с Анютой, сходить в мокрый осенний лес за поздними грибами, прочесть "Фиесту".

Во Владимире, в сумерки, он сел в электричку, жадную, пустую, требовательную, и раскрыл Хемингуэя. Он столько их помнил в прошлом, эти электрички, как и это свое ожидание — вот сейчас, вот на следующей остановке кто-нибудь войдет и научит, наконец, как правильно жить, как справиться с безвременьем, с собой. В вагоне часто гас свет. Гамлет отрывался от Хемингуэя и, глядя в окно на проносившиеся мимо станции, дома, огни, думал: "Ну почему они так живут? Пьют водку, воруют, стоят в очередях за колбасой, а вечерами смотрят в ящик: час маразматика, час хоккея, час большого симфонического оркестра, и по праздникам — кинофильм "Сердце матери".

Свет зажигался, и Гамлет опять возвращался к Хемингуэю: "Мне теперь хотелось одного — вернуться в Африку. Мыше ее не покинули, но, проснувшись ночью, я лежал, прислушиваясь к ее шорохам, — и уже скучал без нее. Глядя сквозь туннель деревьев вверх оврага, я так любил эту землю, я был так счастлив, как бываешь счастлив, побыв с женщиной, которую ты действительно любишь. Когда, только что опустошившись, ты чувствуешь, как это опять прибывает в тебе, и вот уже пришло, и ты этим полон, и тебе хочется этого снова и снова — обладания, бытия, этого нескончаемого сейчас и всегда, этого долгого и внезапно обрывающегося всегда. Тебе хочется, чтобы время остановилось, чтоб оно до того замерло, чтобы потом надо было ждать, прислушиваясь, когда оно снова, вначале медленно, как бы раскачиваясь, возобновит свой бег. И ты никогда не один, потому что если ты вообще когда-либо любил счастливой, нетрагической любовью, женщина не забудет этой любви. Она будет помнить и любить, даже если она сейчас с кем-то другим, и вообще — далеко. И если

ты когда-либо любил женщину, или страну, считай, что тебе здорово повезло. И если ты потом умрешь, это все равно ничего не изменит...”.

Перед самой Москвой Гамлет заснул, и увидел во сне аптечного крокодила. Крокодил подмигнул ему красным искусственным глазом и спросил: ”Любишь, значит, эту страну? Ну-ну, люби. Только глупостей зря не делай! Своя рубашка...”.

Приехав, Гамлет пил холодный кофе на вокзале, у буфетной стойки. Пахло вареными яйцами, керосином и карболкой, и тут же, рядом, спали люди, постелив на грязные мокрые опилки пола газеты, а под головами у них были сумки с апельсинами и хлебом.

— Зачем им апельсины? — ужаснулся Гамлет.

Он вышел на площадь и почувствовал в воздухе какую-то растворенную дьяволиаду. Над городом повисли тяжелые, низкие тучи, а над тучами стоял невнятный, тревожный гул. Неспешно падал первый в этом году снег. Он пошел к центру переулками. И часто удивлялся. Некоторые дома и переулки он узнавал, но на месте других были запорошенные пустыри и стояли праздные глаголи. Машины вдруг куда-то исчезли. Лишь изредка из-за угла вылезала подвода с худой клячей и седоком и, неспешно переехав улицу, исчезала в темном переулке. В Большом Козловском над деревянной керосиновой лавкой горела пронзительная электрическая лампочка, как в его детстве — он столько их выстоял, этих очередей за керосином. Он подошел и спросил продавщицу в синем халате, натянутом поверх шубы с высоким воротником под каракуль:

— Все еще торгуете керосином? В наше время? Отлейте мне литра два. Только я без тары.

Продавщица нашла для Гамлета полиэтиленовый бидон, ничего за бидон не взяла, налила и, как показалось Гамлету, украдкой перекрестилась.

Вдоль бульваров тянулась стена, которой он не помнил. У Кировских ворот его было остановили бритые люди в красных кафтанах с какими-то бердышами, но скоро позволили идти дальше.

— Вы что, снимаете кино? — спросил Гамлет. Они не ответили, но молча показали на что-то за его спиной. Он оглянулся и увидел смерть, ехавшую на бледном, цвета слабой мочи,

коне.

А я тебя не боюсь, — плюнул в ее сторону Гамлет.

Ближе к центру перемен было меньше. Пустыри исчезли. Привычно голубели телевизионными экранами чужие окна. Тревожно озирались на правительственной трассе постовые. Но на углу Потаповского переулка вдруг встала веселая барочная церковь, а Гамлет мог поклясться, что там был сквер. В Армянском, где он помнил школу, вдруг оказалась церковь с белой шатровой колокольней, а в Златоустовском — целый монастырь на месте знакомого конструктивистского здания. Иногда Гамлет оглядывался — смерть лениво тащила за ним на своем бледном коне. Но он не видел ее лица.

На Маросейке он впервые заметил поспешно уползавший в темную подворотню змеиный хвост.

— Вот ты где! — обрадовался Гамлет. — Притворяешься, что подох!

Впереди было еще несколько подворотен, и еще несколько змеиных хвостов трусливо уползло в темень, за мусорные баки и стеклотару.

У Ильинских ворот в очевидной панике бегали милиционеры и вертухай. Где-то близко трезвонил одинокий колокол. "Кому-то неуютно", — сказал себе Гамлет.

Генеральский дом, в котором жил Крюков, стоял на месте. Дверь отворила мать Крюкова: "Вы, так поздно? Нет, Саша не спит, у него в гостях иностранный профессор. Пожалуйста, Гамлет, будьте сдержанней!".

Гамлет посидел с ними, с Крюковым, и его иностранным гостем, профессором Рысем Прибыльским, приехавшим в Москву на семинар по Достоевскому. Научные работники Гамлетом явно тяготились. В воздухе, под трофейной прусской люстрой, над тяжелым дубовым сталинским столом с закусками и экспортной Столичной, висело глухое ожидание: ну когда же он уйдет? Вдруг открылась форточка и почти мгновенно захлопнулась. Научные работники вздрогнули. Гамлет успел разглядеть блеснувший в сырой темноте красный змеиный глаз.

А, подлый! — сказал Гамлет. — Подсматриваешь!

Это ветер, — испуганно сказал Крюков и вопросительно

посмотрел на Гамлета.

— Какой там к черту ветер! — закричал Гамлет. — Что вы вообще знаете, профессура?! Сидите, притаились, слюнями диссертации клеете! Древняя Русь! Славянская душа! Вышли бы на улицу, в сырость, кое-что бы увидели. По змею в каждой подворотне. А у тебя, Александр Федорович, во дворе смерть на бледном коне. Ждет, когда я выйду.

Крюков с участием посмотрел на Гамлета:

Останешься переночевать? Поздно уже.

— А я ее не боюсь! — сказал Гамлет и ушел, хлопнув дверью.

— Как сильна, однако, руссификация! — добродушно фыркнул Рысь, принимая от Крюкова запотевшую стопку водки. — Нацмен, армянин, а так обрусел!

В метро был сквозняк. Смерть слезла с бледного коня и спустилась по эскалатору вместе с Гамлетом. Было пусто. Пожилые женщины чистили опилками мраморные переходы. Гамлет хотел было поехать к журналисту Любомиру в Беляево, но передумал и отправился к Коле на Смоленскую.

Коля обрадовался, побежал на стоянку такси за водкой. В мастерской пахло масляной краской, вареной картошкой, олифой. На мольберте стоял почти готовый пейзаж — деревня на косогоре, ползущий из низины туман, стая журавлей в вечерющем северном небе.

”Ну вот, Маруся опять ушла, — подумал Гамлет. — Грязно и тихо”. Возвращаясь, Коля споткнулся о сумку с бидоном.

— Что это у тебя там?

Живая вода, — отшутился Гамлет.

Они сидели долго, до четвертого часа. Гамлет время от времени вставал — уходить. Коля просил:

— Ну подожди! Еще по одной!

Приложив к бровям ладонь козырьком, он вглядывался в Гамлета.

Сложный ты. В профиль задуман. Тебя надо писать в профиль.

Пиши, как хочешь, — соглашался Гамлет. — Можно и в профиль.

Он сидел спиной к окну. Наконец, не вытерпел, посмотрел во двор. Там, у Колиного флигеля сидела смерть под облетевшей

липой, а рядом с ней стоял бледный конь.

Ты что, что-нибудь увидел? — спросил Коля.

— Так, кое-что. Мне пора, — стал торопиться Гамлет.

— Подожди, пойдем вместе. Эх, прошелся бы я сейчас от Кремля до Нескучного сада. Там водичка такая, с отливом, особенно перед рассветом.

Но встать он уже не мог, и Гамлет вышел один на еще темную улицу.

Невидимый странный гул где-то там, высоко, поверх низких облаков так и не прекратился, но здесь, внизу, на московских улицах было тихо. Выпавший первый обильный снег уютно задержался на всем — на крышах, уличных фонарях, подоконниках, на не успевших еще сбросить последние листья деревьях. Гамлет медленно шел по пустынным улицам, вдыхая свежий, тревожащий сердце воздух, и опять жалел и эту страну, и этот народ, и немного жалел себя, усталой, уже почти безразличной к своему телу жалостью. Он больше не оборачивался — ему было все равно, тащится она за ним или нет.

Он вышел к Красной Площади. У мавзолея в карауле стояли, не шелохнувшись, русые молодцы с коротко стриженными крутыми затылками. Озябшие вертухай в серых плащах провожали его испытующими взглядами. Он видел, как дверь мавзолея приоткрылась и из темноты сверкнул встревоженный красный змеинный глаз.

Гамлет спустился вниз, к Александровскому саду. Там, в серых зимних сумерках уже выстраивалась очередь. Он подошел, посмотрел на этих людей, на их благоговейные, благодарные, усталые бескровные лица, и окончательно решил. Достал из сумки полиэтиленовый бидон, облил себя и чиркнул спичкой.

И увидел, что вот, тут они все и стояли — Ульяна, Фрося, Константин, Петр, Михаил, Федор, — только не в Александровском саду, в очереди к змею, а на бледнозеленом весеннем пригорке, на ветру, под березами, у церкви Козьмы и Демьяна. А рядом прыгал большой заяц среди несмятых, облетающих пухом одуванчиков.

Платье бархата черного,
В белом кружеве шея.
От багряно-пурпурного
Шелка — пальцы белее.
А лицо утомленное,
Ни тепла, ни румянца.
Это Мэри казненная,
Королева шотландцев.

Протестантские рыцари
Не хотели папистки.
Мэри с римскими принцами
Рассылала записки:
— Не по праву Элизабет
На английском престоле! —
Мэри, кто тебя вызволит
Из английской неволи?
За интриги и преданность
Католической вере,
За упрямство и ветренность
Обезглавили Мэри.

Помню Мэри портретную
Эту царственность позы.
Вижу маску посмертную —
И багровые розы.

Игорь Чиннов

Конечно, бывало и хуже
И ближнему хуже бывает,
Полоска на небе все уже
И жизнь, господа, "догорает".

А впрочем, какое вам дело
До жизни какого-то Икса?
И чувствует, ежась, тело
Водицу тусклого Стикса.

— Чепуха! По-латыни: реникса!
Смотри-ка: рыбка плывет.
Водицу тусклого Стикса
Душа переходит вброд.

Не вешай носа на квинту!
Сорока нос украдет.
Уронит, летя к Коринфу,
Но рыбка нос подберет.

А мы, верхом на химерах
Во дворец, туда, в облака!
Завращаемся в высших сферах,
Точно два веселых волчка!

Игорь Чиннов

”ЖЕСТОКИЙ ВЕК” ПУШКИНА

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу..

А. Пушкин

В Петербург приехала гадалка фрау Кирхгоф. Братья Всевожские, Мансуров, актер Сосницкий и Пушкин отправились к ней. Сперва она раскладывала карты для Всевожских и Сосницкого. После них Пушкин попросил ее загадать и на него. Разложив карты, она с некоторым изумлением сказала: ”О, это голова важная! Вы человек не простой!”. Далее она предсказала: во-первых, что Пушкин получит деньги (это вызвало взрыв смеха и недоверие к гадалке); во-вторых, что ему будет сделано неожиданное важное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, в-пятых, что он проживет долго, если на 37-м году его жизни не случится с ним беды от белой головы (”вайсер Копф”), которой он должен опасаться.

Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер и сразу восстановило доверие к гадалке: Пушкин, возвращаясь домой, нашел письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке забытого карточного долга. Это был Корсаков, вскоре умерший в Италии. Не менее странным для Пушкина было то, что несколько дней спустя в театре его подождал к себе А. Ф. Орлов, командир лейб-гвардии Конного полка, и предложил ему поступить в этот полк, что было заветной мечтой поэта: ”Люблю я звук мечей”. Но отец Пушкина, ссылаясь на недостаток средств, отказался содержать его в конной гвардии, предложив поступить в пехотный гвардейский полк. Вскоре сбылось и третье предсказание: читающая публика пришла в

восторг от поэмы “Руслан и Людмила” и о Пушкине “слух прошел по всей Руси великой”. Не меньшую известность также принесли поэту ходившие по рукам ненапечатанные сочинения: “Вольность”, “Деревня”, “Послание Чаадаеву”, “Аракчееву”. Об этом временшике Пушкин дерзнул написать:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон.
Кинжала Зандова везде достоин он.

Явное подстрекательство к убийству!

Не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал бы наизусть всех этих пушкинских подпольных стихов. Но если Екатерина II отправила в Сибирь Радишева за его оду “Вольность” и за книгу “Путешествие из Петербурга в Москву”, то теперь император Александр I, прочитав крамольную пушкинскую “Деревню”, попросил “поблагодарить ее автора за добрые чувства”! Другой век — другие нравы!.. Пушкин даже писал эпиграммы, направленные лично против Александра I и продолжал свободно разгуливать по Петербургу, не имея столкновений с властями предержажшими. Все удивлялись этому бездействию полиции, которая, видимо, не знала, что делать с поэтом.

Дело было в том, что, по словам А. Герцена, “политическая полиция тогда (при Александре I) еще не разрослась в самодержавный корпус жандармов, как это было в другом царствовании (Николая I), а состояла из канцелярии под начальством старого вольтерьянца, остряка, болтуна, вроде Якова Ивановича Санглена (который, кстати, при Николае I сам попал под надзор полиции)”.

А. Герцен так описывает тогдашнюю эпоху: “В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за “стихи” и Лабзина за “остроты”, когда тот, будучи конференц-секретарем в Академии Художеств, предложил избрать царского кучера Илью Байкова в члены Академии. Дело в том, что президент Академии предложил в почетные члены всесильного Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев “самый близкий человек к Государю”. — “Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью

Байкова, — заметил секретарь, — он не только близок к Государю, но и сидит перед ним”. Лабзин получил перевод по службе в Симбирск”.

Читаешь все это и кажется маловероятным, что в тот “жестокий век”, как его назвал Пушкин, так по-человечески мягко обращались с политическими преступниками. Но свидетельству Герцена можно верить! А Пушкин тогда, видимо, и не подозревал, что век, когда можно открыто, без всяких “самиздатов”, “восславлять Свободу”, нельзя называть “жестоким”. Следует принять во внимание, что суды при Александре I не вынесли ни одного смертного приговора. (Указом императрицы Елизаветы Петровны от 30 сентября 1754 года смертная казнь в России заменялась другими наказаниями. Екатерина II указом от 6 апреля 1775 года подтвердила Елизаветинский указ, однако, он истолковывался, как не относящийся к чрезвычайным преступлениям. В 1823 году Государственный Совет подтвердил толкование, принятое при Екатерине II. Этим воспользовался суд при вынесении приговора по делу декабристов).

Пушкин продолжал всюду появляться, но за ним уже незримо шествовала клевета, сочиненная графом Ф. И. Толстым-Американцем. Безнаказанность Пушкина он объяснял тем, что поэта, мол, призвали в полицейскую канцелярию и там высекли. Когда до Пушкина дошли эти слухи, он пришел в отчаяние: “Мне было 20 лет... Необдуманые отзывы, сатирические стихи... Разнесся слух, будто я был отвезен в Тайную канцелярию и высечен. До меня до последнего дошел этот слух, который стал общим. Я увидел себя опозоренным перед светом. На меня нашло отчаяние, я метался в стороны... Я решил высказывать столько негодования и наглости в своих сочинениях, чтобы, наконец, власть вынуждена была обращаться со мной, как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости, как восстановления чести”.

И действительно, Пушкин тогда много сделал для того, чтобы власти, наконец, обратили на него внимание. В министерство иностранных дел на имя начальника Пушкина, А. Я. Убри приходили жалобы на его подчиненного, а канцелярия петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича получала от столичного обер-полицмейстера И. С. Горголи составленные

им протоколы, в которых, например, значилось, что коллежский секретарь Пушкин в театре, “идя меж кресел по ногам”, глядя “на ложи незнакомых дам”, а не себе под ноги, побеспокоил коллежского советника г. Перевошикова и кроме того выбралил его “неприличными словами”. Или — в антракте, ходя из ложи в ложу, Пушкин громко рассказывал, как в Царском Селе медведь Захаржевского, сорвавшись с цепи, побежал в сад, где мог встретиться с глазу на глаз в темной аллее с Государем, если бы не встрепенулся его маленький шарле, и не предостерег Александра от этой опасной встречи. От себя Пушкин добавлял: “нашелся один человек, да и тот медведь”. В театре он также показывал портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с подписью: “Смерть царям!” и позволял себе при этом возмутительные отзывы.

Наконец, терпение у предержавших властей, видимо, истошилось и над головой поэта стали собираться тучи. Ф. И. Глинка, чиновник особых поручений при графе Милорадовиче в своих воспоминаниях “Удаление Пушкина из Петербурга” так повествует об этих событиях (в сокращении): “Предупрежденный друзьями, Пушкин сжег все крамольные рукописи, так что, когда его вызвал к себе Милорадович и объявил ему о необходимости опечатать все бумаги поэта, то услышал от него: “Граф, не трудитесь, мои стихи сожжены, но я могу по памяти написать вам все, что когда-либо было мною написано и не напечатано. Прикажите подать мне бумагу!”

“А это по-рышарски! — воскликнул Милорадович. — Завтра я отвезу написанные вами стихи Государю”.

На другой день граф докладывал императору Александру I: “Государь, здесь все, что разошлось в публике, но вам лучше этого не читать”. И тут же рассказал о рышарском поступке Пушкина. Государь улыбнулся на эту заботливость Милорадовича и спросил его: “А что ты сделал с автором?”.

— Я объявил ему от Вашего Величества прошение! — Тут Государь слегка нахмурился, но, помолчав немного, с живостью сказал:

— Но коли уж так, то мы распорядимся иначе: — снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить

его на службу на юг!"

Согласно постановлению Государя, министр иностранных дел граф Нессельроде приказал "коллежскому секретарю Пушкину, отправляемому к главному попечителю колонистов южного края России, ген.-лейтенанту Инзову, выдать на проезд тысячу рублей ассигнациями из наличных в коллегии на курьерские отправления денег". К этому было присоединено препроводительное письмо к Инзову, в котором значилось: "Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, как и нет того совершенства, которого не мог бы достигнуть высоким превосходством своих дарований" (Письмо Нессельроде к ген.-лейт. Инзову от 4 мая 1820 г., одобренное Императором и данное Пушкину для вручения Инзову). Наверно, нигде и никогда, кроме России, не давали государственным преступникам таких "препроведительных грамот".

Пушкин, по словам Жуковского, "был тронут великодушием Государя, действительно трогательным" и, получив тысячу рублей, стал собираться в далекий Екатеринослав.

Долгая дорога!.. Она отвлекает от горестных дум, устраивает неожиданные интересные встречи, и навеивает поэтические грезы и творческие замыслы. Недаром с появлением на Руси железных дорог закончился "золотой век" русской литературы!..

Чем далее от Петербурга, тем веселее и теплее становилось майское солнце и ближе был полуденный край, куда в мечтах всегда стремился Пушкин: "Петербург душен для поэта: я жажду краев чужих; авось, полуденный воздух оживит мою душу". Наконец, через несколько дней поэт увидел и "тополи киевских высот" и беленькие хатки в тени вишневых садов на Екатеринославщине.

Генерал Инзов встретил Пушкина ласково. Опальный поэт сразу же был принят в доме екатеринославского губернатора Шемиота. Александр Сергеевич все свое время посвящал гулянию по лесам и катанию в лодке по Днепру. Он был свидетелем, как из тюрьмы, расположенной близ Днепра, бежали закованные вместе два разбойника, переплыли реку и скрылись. Это послужило поэту фабулой для его "Братьев-разбойников".

Инзов разрешил Пушкину, не работавшему в канцелярии ни

одного дня, сразу же отправиться в отпуск на Кавказ и в Крым, куда его брали с собою Раевские — семья генерала, героя Отечественной войны. Инзов по этому поводу пишет в министерство: “Расстроенное его здоровье в столь молодые годы и неприятное положение, в коем он в молодости находится, требовали с одной стороны — помощи, с другой — безвредной рассеянности, потому отпустил я его с ген. Раевским... Я надеюсь, что за сие меня не побранят и не назовут баловством...”.

Путешествие. Несколько недель свободной, беспечной, счастливой жизни среди цветущей природы, в кругу семейства, преданного Пушкину. Ехали в удобных дормезах, со штатом горничных и поваров и в сопровождении доктора и гувернантки. Путешествовали не спеша, останавливались в живописных местах.

Мария Николаевна Раевская (впоследствии — кн. Волконская, уехавшая к своему мужу-декабристу в Сибирь), младшая из трех дочерей генерала, пятнадцатилетний подросток, близ Мариуполя выпрыгнула из кареты и бросилась бежать через степь туда, где с криком носились чайки, откуда веяло прохладой моря и пологие волны одна за другой разбегались на отмели, шумя и пенясь. И Мария, играя с ними, то стремилась к ним, то со смехом убегала от догонявшей ее волны. Пушкин стоял поодаль и видел, как море, набегая на берег, смывало с песка отпечаток маленьких ног...

Я помню море пред грозою:
 Как я завидовал волнам,
 Бегущим бурной чередою
 С любовью лечь к ее ногам!
 Как я желал тогда с волнами
 Коснуться милых ног устами!
 Нет, никогда средь пылких дней
 Кипящей младости моей
 Я не желал с таким мученьем
 Лобзать уста молодых Армид,
 Иль розы пламенных ланит,
 Иль перси, полные томленьем;
 Нет, никогда порыв страстей
 Так не терзал души моей!

Эта совместная жизнь во время путешествия очень сблизила поэта с Марией Николаевной и эта "юная дева" была к поэту более чем равнодушна

Не тем горжусь, что иногда
Мои коварные напевы
Смирjali в мыслях юной девы
Порывы страха и стыда...

Несколько недель счастья пролетели скоро. Пора было расставаться с чудесным семейством, его приютившим. Нужно было возвращаться в Кишинев, куда за это время была переведена из Екатеринослава канцелярия ген. Инзова.

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет.

Напрасно поэт проклинал этот город: жизнь его текла там беззаботно. Инзов работой не отягощал. Было время и для бильярда и для карт в офицерском собрании, где, как сам Александр Сергеевич сознается, он "нахмурен, бодр и бледен, надежды полн, закрыв глаза, пускал на третьего туза".

Было время у поэта и для светской жизни. Иногда он посещал дом бессарабского губернатора Константина Антоновича Катакази, где было чопорно и скучно, но зато часто бывал у вице-губернатора Матвея Егоровича Крупенского, где танцевали до упаду, играли в карты до разорения и флиртовали до самозабвения. Поэт посещал и другие светские дома, особенно те, где были интересные женщины. Так продолжалась эта рассеянная светская жизнь, пока не требовал "поэта к священной жертве Аполлон"; тогда Пушкин запирался дома и из-под его пера появлялись вдохновенные поэмы, такие, как "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан" — плоды творческих дум и впечатлений от поездки по Кавказу и Крыму.

В "Бахчисарайском фонтане" поэт вспоминает свою спутницу, младшую дочь Раевского, пятнадцатилетнюю Марию:

... очи
 Яснее дня,
 Чернее ночи.

(Однажды к Пушкину во время его сильного безденежья, которое у поэта было почти хроническим, обратился один купец с просьбой продать ему эти две стихотворные строчки. Пушкин был тронут, встретив в купце мецената и тонкого ценителя поэзии. Оказалось, однако, что у купца была фабрика сапожной ваксы и предприимчивый делец хотел слова “Яснее дня, чернее ночи” поместить, как рекламу, на коробочках с ваксой).

Тут же, в Кишиневе, 9 мая 1823 года (160 лет назад) Пушкин начал писать роман в стихах “Евгений Онегин” — этот самый сверкающий алмаз в его поэтическом венце.

У Пушкина в Кишиневе было достаточно времени для поэтических трудов и развлечений, но его решительно не хватало для работы в канцелярии Отдела, чему, главным образом, мешали частые и длительные отлучки поэта из города. Не успел он вернуться из Кавказа и Крыма, как И. Л. Давыдов, единоутробный брат Раевского, уговорил поэта поехать с ним в его киевское имение Каменку, куда он спешил на именины своей матери Екатерины Давыдовой. Инзов не только разрешил поэту этот новый отпуск, но даже слезно начал умолять Давыдова раньше весны Пушкина из Каменки не отпускать, опасаясь, чтобы “он, невзирая на жестокость мороза с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь, при неудобствах степных дорог, не получил несчастья”.

Но “жестokie морозы с ветром и метелью” не помешали поэту ездить из Каменки в Киев, где он весело проводил время, встречаясь со своими петербургскими друзьями. Кстати, одному из них на вопрос: “Пушкин! Да ты как сюда попал?” — он многозначительно ответил: “Язык, брат, и до Киева доведет”.

Сначала эти разговоры
 Между Лафитом и Клико
 Лишь были дружеские споры,
 И не входила глубоко
 В сердца мятежная наука,

Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...

Широко жили Давыдовы в Каменке. В их приветливом доме постоянно толпились гости, а именины хозяйки дома были событием чуть ли не государственного масштаба: Раевские и Давыдовы (именинница была дважды замужем), разбросанные по всей России, с чадами и домочадцами съезжались к этому дню в Каменку.

Приехавший на именины Пушкин застал здесь много гостей, большинство из которых составляли офицеры 2-й армии, расквартированной в этом районе. Особенной приманкой для всех была невестка старухи Давыдовой — Аглая Давыдова, дочь французского маршала де Граммона. Весьма хорошенькая, ветреная, кокетливая, как истинная француженка, она, не отличаясь семейными добродетелями, в гостеприимной Каменке была магнитом, притягивающим к себе всех железных деятелей александровского времени. От юных безусых корнетов до седых генералов — все жило и ликовало в просторном помещицьем доме и все были у ног прелестной Аглаи. В том числе и Александр Сергеевич, который не мог сразу понять, почему так много офицеров съехалось в Каменку: воспользовавшись именинами, они проводили свой тайный заговорщицкий съезд членов Южного общества.

Только в марте Пушкин снова появился в Кишиневе, исполняя этим предписание добряка "Инзушки", который, убедившись, что поэт, "не имея пособий от родителя", терпит нужду, предложил молодому другу квартиру в своей резиденции, где кормил поэта сытными обедами, поил слабым бессарабским вином, а иногда и забористым пуншем. "Инзушка" полюбил поэта, как родного сына, хотя и говорил, что ему "с этим шалуним столь же хлопот, сколько забот по службе". А хлопот с "шалуном", действительно, было много; жалобы на него приходили генералу со всех сторон.

Дело в том, что ген.-лейтенант Иван Никитич Инзов был начальником Переселенческого Отдела Южного Края России,

целью которого являлось не только заселение этой новоприсоединенной территории, но и ее умиротворение, а избиение Пушкиным (чиновником Отдела!) “надменных молдавских бояр” явно не соответствовало этим миротворческим целям. Поэт сам сознается —

Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом...
За то, что яский пан,
Известный нам болван
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою —
И трус и грубиян —
Побит немного мною...

(Пушкин был посажен под домашний арест с 8 по 28 марта 1822 г. за то, что он в ссоре ударил Тадараки Балша).

Домашний арест, которому подвергся строптивый поэт, более походил на поблажку, чем на действительное наказание. Для приведения в исполнение наложенной кары “Инзушка” прятал от поэта единственную пару сапог и тем лишал его возможности выйти из дому. А затем, жалея “арестанта”, приходил к нему и развлекал разговорами на животрепещущую тогда тему “о кортезах и гишпанской революции”.

Кишиневский знакомый Пушкина, писатель Тепляков, так описывает одно из столкновений поэта с молдавским “боярином”: “Приходит ко мне Пушкин и говорит: “Знаешь, Тепляков, ведь я сегодня снова поколотил этого гадкого молдованишку Бузню. Но, признаться, я сам виноват, обидел ни за что человека: погорячился, сунул ему дулю в нос — и пошла потеха. Пойдем к Бузне, я извинюсь перед ним: он человек бедный, куча детей, и я перед ним виноват”. Бузню дома не застали: он пошел жаловаться Инзову.

Пушкина увлекали бурные черты характера Байрона. Таков был и наш поэт. Славный стихами, страшный эпиграммами, своевольный, дерзкий, часто фантастично одетый — он производил фурор. “Бес-Арабский”, как его прозвал кн. Вяземский, был предметом любопытства и рассказов на юге и по всей Рос-

сии. Нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда обыкновенных, если бы не было вокруг него столько людей, горячо заботящихся о его участи. Сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России.

И. П. Липранди, начальник военной разведки при 2-й армии, был свидетелем, как юный Пушкин бросил на диван 50-летнего армянина, коллежского советника Худобашева, сел на него верхом и начал приговаривать: "Не отбивай от меня гречанок, не отбивай!". Это, впрочем, понравилось Худобашеву, вообразившему, что он может быть соперником Пушкину. Тот же Липранди рассказывает, что Пушкин выучил инзовского попугая молдавскому неприличному слову, а тот этим словом встретил архиерея Дмитрия Сулиму, посетившего генерала Инзова, который тихим голосом сказал Пушкину: "Какой ты шалун! Преосвященный догадался, что это твой урок".

Жаловался Инзову на поэта и чиновник Областного Правления И. Н. Ланов. Ему было за 65 лет, среднего роста, толстый, с красным лицом. На него Пушкин написал эпиграмму в результате ссоры в ресторане, где Пушкин сказал Ланову: "Я молокосос, как вы говорите, а вы — виносос, как я говорю". Поэт вспомнил о нем три года спустя в пятой главе "Евгения Онегина":

И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

Особенно много ссор происходило за карточным столом. Некоторые из них кончались дуэлями. Уличивши своего партнера, офицера местного полка Зубова, в нечестной игре, "Бес-Арабский" оскорбил его, результатом чего была дуэль. На место поединка поэт принес с собою кулек черешен и, стоя под пистолетом Зубова, ел их, а косточки выплевывал так далеко, что они долетали до противника, который от волнения промахнулся. Пушкин выстрелил в воздух. Эту сцену поэт использовал потом для своей повести "Выстрел".

По свидетельству А. Ф. Вельтмана "Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время, как в него целили,

он улыбался сатирически и, смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах”.

Хотя поэт и назвал себя “бессарабским пустынноиком”, но он далеко не походил на тех из них, о которых он говорит в своем стихотворении “Отцы пустынноики и жены непорочны”. Из Кишинева он пишет Нащокину (1821): “Я живу в стране, в которой долго бродил Назон. Ему не должно было так скучать в ней, как говорит предание. Все хорошенькие женщины здесь имеют мужей; кроме мужей — чичисбеев, а кроме них — еще кого-нибудь, чтобы не скучать”.

В Кишиневе в то время жила красавица цыганка Людмила Шекора. Овдовев и впад в бедность, вышла, не любя, замуж за кишиневского богача Инглези. Поэт увлекся цыганкой и она тоже привязалась к нему. Из ревности Людмила однажды побила в городском саду даму, пришедшую к “куконачу Пушке” (паничу Пушкину) на свидание. Увлекался поэт и Калипсо Полихрони, чей облик он рисовал в своих кишиневских тетрадах. Голос у нее был нежный, увлекательный, даже когда она пела мрачные турецкие песни. Кроме греческого и турецкого, она знала еще языки: арабский, молдавский, итальянский, французский. Ни в обращении, ни в поведении ее не было видно ни малейшей строгости. Пушкин пишет о Калипсо кн. Вяземскому, приглашая его приехать в Кишинев: “Я познакомлю тебя с гречанкой, которая целовалась с Байроном”. Пушкин посвятил ей стихотворение “Гречанке”:

Ты рождена воспламенять
 Воображение поэтов.
 Его тревожить и пленять
 Любезной живостью приветов,
 Восточной странностью речей
 И этой ножкою нескромной...

Если Калипсо пленяла поэта “ножкой нескромной”, то Пульхерия Варфоломей нравилась ему своей миловидностью, постоянной доброй улыбкой и незлобивым, беззаботным сердцем. Пушкин часто посещал дом ее отца, молдавского боярина.

Увивался "Бес-Арабский" и около жены чиновника горного ведомства Эйхфельдта, Марии, похожей на Ревекку, героиню романа Вальтер Скотта "Айвенго". Муж ее был человеком странным и до того пылким нумизматом, что всю свою страсть отдавал старым монетам, а не молодой жене.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют...

Между Дольной и Юрченами в Бессарабии в лесу находился цыганский табор на земле помещика К. З. Ралли. Однажды Пушкин вместе с ним поехал в Дольну, а оттуда поехал лесом в Юрчены и посетил цыган. У старосты табора была красавица дочь. Звали ее Земфирой. Она была высокого роста, с большими черными глазами и вьющимися длинными косами. Одевалась Земфира по-мужски: носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху, курила трубку. Пушкин был поражен красотой цыганки и поселился в шатре. По целым дням он и Земфира бродили в стороне от табора или сидели молча среди поля. Земфира не понимала по-русски, а Пушкин не понимал по-цыгански, так что им приходилось объясняться знаками. Однажды утром Пушкин проснулся в шатре один-одинешенек. Земфира исчезла из Табора. Она бежала в Варзарешты, вслед за ней помчался и Пушкин. Ее там не оказалось. Уже в Одессе Пушкин узнал о судьбе Земфиры: ее зарезал влюбленный цыган.

В то время, когда Пушкин разыскивал—Земфиру, на имя Инзова из министерства иностранных дел от графа И. А. Каподистрии пришло письмо следующего содержания: "Несколько времени тому назад отправлен был к Вашему Превосходительству молодой Пушкин; желательно, особливо в нынешних смутных обстоятельствах (греческое освободительно-революционное движение — *М. Д.*), узнать искреннее суждение ваше, милостивый государь мой, о сем юноше, повинуется ли он теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения. Граф И. А. Капо-

дистрия”.

Приняв грех на свою чиновничью душу, “Инзушка” ответил: “Пушкин, живя в одном доме со мною, ведет себя хорошо, и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов, и тем и равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Ген.-лт. И. Н. Инзов”.

А в это время секретные агенты доносили в Петербург: “Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство”.

Александр Сергеевич, считая, видимо, перевод молдавских законов с французского на русский делом, которое “в лес не убежит”, стал часто посещать Одессу. “Полуденная столица” пленила его: “Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей Богу, обновили душу”.

Но чтобы окончательно переехать в Одессу на службу к генерал-губернатору Новороссийского Края гр. М. С. Воронцову и оставить навсегда Кишинев, нужно было сначала “уломать” Инзова. Когда Пушкин заявил о своем желании “Инзушке”, то у того защемило сердце:

— За что же это? — прошептал добрый старик и дрожащей рукой схватился за спинку стула.

Измена “шалуна” потрясла Инзова: ведь он любил его, как иной отец не любит родного сына. Сносить его проделки было его радостью, а лелеять этот нежный цветок, выросший на ниве русской поэзии и оберегать его от безвременья стало целью его одинокой жизни. Сколько раз при чтении “Кавказского пленника” Инзушке, тоже в свое время воевавшему с горцами, слезы застилали глаза.

Но привыкнув исполнять все прихоти своего питомца и помня, что “насильно мил не будешь”, Инзов летом 1823 года отпустил Пушкина в Одессу на службу к гр. Воронцову.

С отъездом “шалуна” инзовский дом опустел. Не слышно было молодого веселого голоса поэта, ни его стремительных шагов, ни звонкого заразительного смеха. Тишина. Даже попугай нахохлился.

И зачем он меня оставил? — с горечью жаловался Инзов правителью своей канцелярии Лексе. — И послан он был не к генерал-губернатору в Одессу, а ко мне, к попечителю колонистов, в Кишинев. И никакого другого повеления не было. Я бы мог, да не хотел ему препятствовать. Да и как он теперь там ладит с Воронцовым?..

Наконец, пришло письмо от "шалуна": "Посылаю Вам, Ваше Превосходительство, 360 рублей, которые я Вам уже так давно должен; прошу принять мою искреннюю благодарность. Что касается извинений, у меня не хватает смелости Вам их принести. Мне стыдно и совестно, что до сих пор я не мог уплатить Вам этот долг — я погибал от нищеты..."

— Да разве я денег от него хотел? — огорченно подумал старик. Инзов загрустил; работа валилась из рук, дом опустел. Вскоре он переехал на окраину города, где нанял маленькую хатку у молдавского помещика Доница. А осенью того же 1823 года подал в отставку.

Жил он в своем тесном доме, как затворник. За несколько месяцев спина у него сгорбилась, голова поседела, и он из бодрого еще мужчины превратился в хилого старика. Сидит, бывало, один, грустит. А если попугай вдруг буркнет неприличное молдавское слово, Инзушка встрепенется, что-то вспомнит и еще более затоскует. А то, отхлебнув немного пуншу, начнет разговаривать с попугаем:

— И тебе, видно, скучно без твоего учителя? Скажи, и зачем он нас оставил? Ведь три года жил с нами, а с его характером он и одного дня не уживется с Воронцовым, только натерпится беды... — Инзушка грустно вздохнет, покачает головой. А если успеет перед этим выпить два или три стаканчика пуншу, то и прослезится...

М. Дубинин

Р И М

Венок сонетов

Вскормленный терпким молоком волчицы
У потаенных Тибра берегов,
Твой первый царь, взнесенный в сонм богов,
Отмечен именем братоубийцы.
Но знаки славы в тайнах ауспиций
Не скрыты от прозрительных умов,
Когда с пустых вершин твоих холмов
Взлетели с криком царственные птицы.
Сверкнула молнией издалека
Над миром власть сквозь грозные века
И пленные приносят сабинянки
Небес благословенье и уют
В дома твоей воинственной стоянки,
Разбойных пастухов глухой приют.

Разбойных пастухов глухой приют!
Чья мошь таится в длани разъяренной,
Когда Италии многоплеменной
Готовишь ты тенета рабских пут?
И ликтора окровавленный прут
Чьей преисполнен волей непреклонной,
Когда республике новорожденной
Двух сыновей приносит в жертву Брут?
И чем Коклес, на мост вступивший узкий,
Страшит ряды отважные Этрусков,
И чьи огни Сцеволы руку жгут?
Не все открыто гению познания. —
То не людей ничтожные деянья,
То боги грозные в веках встают.

Как боги грозные в веках встают
Твоих героев строгие виденья:
Отважные, на поле истребленья
Толпою гордой Фабии идут.
Пусть на весы тяжелый меч кладут

Лихие галлы в горький час плененья...
Спешит Камилл, неся отраду мшенья,
И враг узнал, как Капитолий крут.
Был горький миг! Тебя сменить на Вей
Задумали мятежные плебеи...
Но не избыть веления судьбы
И терниев блистательной столицы.
Опять влекут избранников борьбы
Твои торжественные колесницы.

Твои торжественные колесницы
Вешают миру неизбывный плен,
Но ополчился грозный Карфаген
И Ганнибал явился темнолицый.
Алмазных Альп высокие границы
Открыли цепь предательств и измен
На пробужденный громом Тразимен
Пустив слонов трубящих вереницы.
Тряслась земля, кровавый падал дождь
И шел, как буря, одноглазый вождь.
Он у ворот. Но духом смел патриций.
Страх отлетает, как докучный сон.
Уж блещет шлемом юный Сципион
И шлет в века кровавые зарницы.

Но что ни век, кровавее зарницы,
Слабее стоны обреченных рас.
Эллады древний жертвенник погас
И сдавлен Иллион ярмом провинций.
Одевшись мраком Кировой гробницы,
Встречает Азия свой смертный час,
Чтоб, как последний Ганнибалов глаз,
Закрывшись, угрожать через ресницы.
В груди надменной подавляя вздох,
Простерся в прахе пышный Антиох.
Есть мера нам и в счастье и в победах.
Зачем вперед полки твои идут?
И вот, над миром торжество изведав,
Твои орлы твою же грудь клюют.

Твои орлы твою же грудь клюют
В громах побед и праздничного гула.
Вотще от Мария спасает Сулла
Патрицианской вольности статут.
Глухие страсти Катилину жгут,
Берет Помпей наследие Лукулла,
Фарсала славой Цезарю блеснула
И блеском стали ей ответил Брут.
Над миром вновь восстали триумвиры
И льстивый голос раболовной лиры
Не призывает беспощадный суд
На времена, невиданные прежде,
Когда свободы строгие одежды
Солдаты, словно ветошь, продают.

Солдаты, словно ветошь, продают
Пурпурных тог слепящее величье.
Но мало, мало смертного обличья
Тем, кто богам, как равный, шлет салют.
Порою их к гемодиям влечут,
Где сонный Тибр разбужен граем птичьим.
Там, запрокинут подбородком бычьим,
Вкусил Виталий лучшее из блюд.
Там в черных лентах крови угадал бы
Свой час Отон, сразивший старость Гальбы.
Но чернь, привыкшая рукоплескать
Кривляньям венценосного возницы,
Бросает с детской щедростью опять
Льстецам властительные багряницы.

Льстецам властительные багряницы,
Мелькнув, как сон, рассеявшись, как дым,
На грудь ложатся саваном седым,
Цветами язв и холодом гробницы.
Вотще Зенона хмурые страницы
Взывают пламенем к сердцам пустым:
"В борьбе с желаньем сердце укрепим,
Построив в них бесстрастия бойницы".
Короткий срок был милосердью дан:

Где кроткий Нерва, тихий Адриан
Или богам подобный Марк Аврелий
Уму и гению воздвигли трон,
Там дикий Коммод скачет средь веселий
Величьем и богатством упоен.

Величьем и богатством упоен
Мелькнул в плаще кровавом Каракалла
И с колесницы Гелиогабала
Бесстыдный труп упал, как Фазтон.
Не золота неотразимый звон,
Не блеск преторианского кинжала,
Вносила их и снова унижала
Рука бедой отмеченных времен.
Волна Летейская ласкает плиты,
Бесстрастны лица цезарей убитых.

*Но ты стоишь зловещею кометой
И, помня судеб древние заветы,
Устало губишь сонмища племен.*

Н. Ульянов

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ*

Александр Пушкин. "Солнце русской поэзии закатилось..." так начинается единственный некролог, пропущенный цензурой. Это не только журнальная риторика.

Из всех русских поэтов наиболее правомочен говорить о Пушкине Осип Мандельштам. От его вдовы Надежды Яковлевны мы знаем: он запрещал себе и другим произносить имя Пушкина, и не только по случайному поводу (всуче). Она, уже после смерти мужа, выяснила, что следующий его стих посвящен Пушкину:

И вчерашнее солнце на черных носилках несут...

(1920 г.)

Так сказал о Пушкине солнцеравный...

Иногда солнечного Пушкина влекла тьма. В часы бессонницы он учил темный язык ночи. Боялся: "не дай мне Бог сойти с ума". Но безумие его могло вдохновлять — мрачное упоение в песне Вольсингама, прославляющего чуму. Сам Пушкин не был сродни тьме, хаосу, как Тютчев. Всё темное, ночное Пушкин видел светлыми, дневными глазами. Для него, в противоположность Ницше, день глубже (мудрее), чем думала ночь.

Пушкин особенно гордился тем, что ему удалось написать историческую трагедию "*Борис Годунов*". Есть некоторое фабульное и даже историческое сходство между этим русским царем и шекспировским Ричардом Третьим. Но сравнение не в пользу Пушкина. У Шекспира куда меньше мелодраматичности

*См. "Н. Ж." кн. 150.

и излишней эффектности ("И мальчики кровавые в глазах...").

Для многих читателей Пушкина в нашем веке он достиг своей высоты в "*Евгении Онегине*". Есть в этом романе в стихах — многоголосие. Есть и единство. Торжественный стиль, пафос:

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой...

Здесь — унаследованный Пушкиным от Ломоносова, Державина четырехстопный ямб с т. н. пропусками ударений (пиррихиями) во второй стопе. (Но чаще он оказывал предпочтение другим вариантам ямбического тетраметра).

Есть и дамская болтовня с разговорными интонациями:

— Княжна, mon ange, "Pachette"! — Алина!
Кто б мог подумать? Как давно!...

Есть и элегичность:

Адриатические волны,
О Брента! Нет, увижу вас...

Присяжные критики видели в "*Евгении Онегине*" переход от романтизма к реализму. Возможно, но дело тут не в верном воспроизведении дворянской жизни в столицах и в деревне 10-20-х гг. Чудесно в "*Онегине*" то, как Пушкин всякую жизнь, и даже "жисть", со всеми ее как-будто незначительными мелочами преобразует в небесную по звучанию и ладу гармонию, которая, вместе с тем, гармония очень земная, зачастую — будничная. Даже сатирический стих о пошляках с фонвизинской фамилией звучит плавно-гармонично (райски!).

Скотинины, чета седая...

Здесь ласкают слух звуковые повторы *ти-та-да*... Их так образила пушкинская муза! Но это и не идеализация. Это — поэзия.

Еще комичнее стих:

Умчал Буянов Пустякову...

Буянов заимствован из "*Опасного соседа*" дядюшки В. Л. Пушкина. Он — в пуху, картузе с козырьком. Его дама — жена толстого Пустякова. Звуковых повторов нет. Но самый

глагол *умчал* возводит этих обывателей с забавными аллегорическими фамилиями в какую-то квадратную степень.

Много в *"Евгении Онегине"* движения — ног, ножек, возков, троек, санок и всех четырех времен года. И как драгоценны детали, хотя бы и бытовые:

С кувшином охтенка спешит...

В *"Евгении Онегине"* не две четы, как обыкновенно думают, а три (что отметил и Набоков). Первым двум не посчастливилось: это Онегин и Татьяна, Ленский и Ольга. Третья чета — свободная, дружная, счастливая: Пушкин и его Муза. Своими размышлениями и наблюдениями Пушкин делится во всех главах — это т. н. лирические отступления. Такие вот "дигрессии" он мог заимствовать у Байрона (из его *"Дон-Жуана"*), но, и с этим согласятся многие англосаксы, "сын Альбиона", по сравнению с Пушкиным, кажется жалким романтическим поэром.

Пушкин вместе со своей Музой появляется в Восьмой главе *"Евгения Онегина"*. Муза — едина и многолика. Она:

1. студенческая (лицейская) Муза "младых затей"
2. воспеваает славу нашей старины (Клио)
3. и "сердца трепетные сны" (Эрато)
4. вакханочка шумных пиров и буйных споров
5. перекочевавшая из Германии на Кавказ немецкая Ленора (из баллады Бюргера)
6. спутница в Тавриде (Крыму), где она водила поэта слушать

Глубокий вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров...

7. молдаванская цыганка
8. уездная барышня, и в ней мы узнаем Татьяну
9. степная прелестница: Пушкин приводит ее на светский раут.

В *"Евгении Онегине"* есть фабула, есть быт, социальные отношения, психология, все есть, что полагается в романе того времени. Но на моих семинарах по *"Евгению Онегину"* я отделялся незнанием, когда студенты спрашивали меня: почему Татьяна не ушла к Онегину? Или же шутил: согласно Белин-

скому, Татьяна всего лишь "нравственный эмбрион", и она так и не доросла до свободной любви по канонам Жорж Санд. В этом смысле Анна Каренина более "прогрессивна"... Каюсь, я не охотник до "любовных" сцен в романе. Письмо Татьяны выпадает из формы, написано несонетными строфами. Но грех смеяться над патетикой Тани Лариной: — "То воля неба: я твоя...". Письмо Онегина, тоже написанное не-"онегинской" строфой, отталкивает пошлостью и дурным русским языком: "Желать обнять твои колени". Но сразу приосанишься, читая лирические отступления...

Пушкин — скептик-вольтерьянец, иногда афэй (атеист). Он, жизнелюбец, мог иногда роптать на Жизнедавца:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана...

Непонятно почему понадобилось Пушкину вялыми стихами переводить великопостную молитву Ефрема Сирина. Но живая вера слышится в некоторых очень удавшихся стихах "*Подражаний Корану*" ("И путник усталый на Бога роптал..."). Один критик даже увидел в поэте магометанина...

Этого нельзя доказать, но ухо и душа стихолюбца слышат: по существу, по своему составу — поэзия Пушкина слагается в хвалебный гимн неизвестному, неузнанному Богу-Творцу, который только мимоходом назван в Восьмой главе "*Евгения Онегина*".

Был поэт от Бога далек, но, может быть, Богу он был близок: Отцу, не Сыну.

Сколько у Пушкина жизнелюбия, радования! Но было у него ощущение: и от судеб защиты нет ("*Цыганы*"). Знал он "светлую печаль", знал и отчаяние, раскаивался ("И с отвращением читая жизнь мою..."). В эпилоге "*Евгения Онегина*" — лирический вздох: "Иных уж нет, а те далече...".

Кто-то упрекал Пушкина за то, что он на очень уж многое звучно-поэтически откликнулся, сравнивая свою поэзию с эхом. Равнодушие ли это или, говоря современным газетным языком, оппортунизм? Нет. Это значит, что Пушкин часто угадывал живую правду в явлениях, будто бы исключаящих друг друга.

В замечательном очерке Г. П. Федотова "*Певец империи и свободы*", дана короткая и верная характеристика Пушкина,

правда, не охватывающая его в целом. В ту эпоху это были взаимоисключающие реалии: империя в лице Николая Первого гнала свободу, а свобода восставала на императора и его империю (декабристы). Как Федотов (христианин, социалист, демократ) ни отталкивался от монархии, он должен был признать — Пушкин прославлял империю Николая Первого и Петербург: "Люблю тебя, Петра творенье...". Наставлял: "Во всем будь пращуру подобен..." (т. е. Петру Первому). Вместе с тем, Пушкин любил свободу, в юности — гражданскую, а в зрелости — преимущественно творческую, не желая зависеть ни от властей (царей), ни от народа (Пиндемонте). Иногда поэт соблазнялся стихийной свободой, — хотя бы и взбунтовавшейся Невы. Она:

Как зверь, остервенясь,
На город кинулась...

Слышится мне в этих стихах упоение стихией, разрушающей драгоценное для Пушкина "Петра творенье". Пушкин осудил "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", но иногда втайне сочувствовал Пугачеву (что заметно в "*Капитанской дочке*"). Здесь, конечно, нет никакого равнодушия (оппортунизма). Противоречия Пушкина оправданы живой правдой разных плюсов и минусов бытия!

Пушкинское солнце — не без пятен. Еще друг Пушкина, князь П. А. Вяземский укорял его за прославление геноцида в "*Кавказском Пленнике*", где восхваляется генерал Котляревский:

Твой ход, как черная зараза
Губил, ничтожил племена...

Вяземский осудил (и правильно сделал) стихотворения "*Клеветникам России*" и "*Бородинская годовщина*": не должен был Пушкин писать такие вот "шинельные стихи": их кропали пьяненькие виршеплеты, по праздничным дням толкавшиеся в передних московских бар.

Самое темное пятно на пушкинском солнце — "*Гавриилиада*", куда более удачная по исполнению, чем отягченные политикой стихи о Бородине и "Клеветники".

Напомним: в средние века, после прославления Страстей

Господних (в мистериях), их пародировали, что Церковь осуждала, но часто смотрела на это кощунство сквозь пальцы. Ведь средневековые люди истинно верили, и кощунствовали по простоте душевной, по закону противоречия... "*Гавриилиада*" Пушкина — недостойная шутка зубоскала-вольтерьянца. Но и нельзя его злобно-придирчиво осуждать, как это делал Влад. Соловьев. Суровый митрополит Анастасий оказался мудрее и не разделял этого полного осуждения.

По отзывам очевидцев (вернее, ушеслышцев!) Достоевский — пусть и слабым, глухим голосом — потрясающе читал пушкинского "*Пророка*". Он сам был пророком, а Пушкин им не был. Пророку (заимствованному у Исайи) Бог повелел "глаголом жечь сердца людей". Но во всем пушкинском творчестве пророческого горения нет (разве что в "*Подражаниях Корану*"). Пушкин не мог, да и не хотел исправлять человечество, не призывал к покаянию и возрождению: и стихи его в "*Пророке*" — громкие, холодные, незавершенные. Это блестящее упражнение в церковно-славянской стилистике, которая так удавалась в Осмнадцатом веке Ломоносову, Петрову, в особенности Державину и совсем небездарному Боброву, над которым издевались в веселом "*Арзамасе*"... Гоголю, как ему этого ни хотелось, не удалось стать пророком — т. е. совестным судьей своего народа и глашатаем Божественной Истины. Пророком стал Достоевский: это он, бывший "афей", прошедший через "горнило сомнений" и преодолевший в себе шатовщину (неверие в Бога при вере в Россию), пламенно утверждал и многих убедил: нет смысла жизни без веры в Бога и нет настоящего боговерия без бессмертия души.

Можно сказать с уверенностью: Пушкин не одобрил бы ни крайностей гоголевской "*Переписки*", ни откровений Достоевского, ни поучений Толстого, ни революционных призывов Белинского или Чернышевского. П. Б. Струве и С. Л. Франк называли Пушкина либеральным консерватором или консервативным либералом. Верно подмечено, но, конечно, Пушкин ни в какую политику или вообще в доктрину не укладывается. К тому же, он (и для меня) остается неуловимым: казалось бы, прост, но не вмещается в определения — и тем лучше!

Писарев издевался над всеми поэтами, включая Пушкина. "Евгений Онегин, — писал он, — та же замоскворецкая купчиха,

которая выпила тридцать три самовара и ее трагедия в том, что тридцать четвертый самовар она осилить не может". Сам Пушкин мог бы посмеяться над этим писаревским "хулиганством". Писарев, выпавший из дворянского гнезда, не успел полностью реализоваться, а начал он с монашеской аскезы... В 50-60-х гг. один только Аполлон Григорьев мог так сказать: Пушкин — "это наше всё".

Символисты (как, в свое время, любомудры, "архивны юноши") считали Пушкина малодуховным и предпочитали ему Лермонтова с его Демоном и Ангелом. Розанов (а с его еретическими мнениями нельзя не считаться), тоже склонялся к Лермонтову, но о Пушкине сказал: *я его ел...* (т. е., говоря литературно-шаблонно, питался его стихами).

Футуристы, с их энтузиазмом тринадцатилетних мальчишек-хулиганов, сбрасывали "с корабля современности" Пушкина заодно с Толстым. Их нападки на Пушкина — комические, и они могли бы рассмешить Александра Сергеевича.

Пушкин стал *своим* для т. н. акмеистов. Я уже говорил об Осипе Мандельштаме: он, тоже поэт солнечной породы, стал ровень с Пушкиным.

Сразу вспоминается царскосельское стихотворение Анны Ахматовой: "Смуглый отрок бродил по аллеям"... Повторим за ней:

И столетие мы леем
Еле слышный шорох шагов...

"Нас было четверо", — писала Ахматова. Вместе с ней, четвертой, каждый по-своему, Пушкина славил Мандельштам, Пастернак, Цветаева.

В годы оттепели и позднее, в 70-х гг., в периоды творческого *возбуждения* (а совсем не *возрождения*) в сознании некоторых литературоведов-диссидентов образовалась трещина. Терц-Синявский в своей "*Прогулке с Пушкиным*" с явным злорадством над ним издевался: "На тоненьких эротических ножках Пушкин вбежал в большую поэзию и произвел переполох". Его защитники уверяют: Терца очень уж раздражало пропагандное приспособление Пушкина к большевизму в школах, но вольно же ему принимать советские педагогические фальшивки всерьез. Читал ведь он Ахматову, Мандельштама. Другой аргумент: на

самом деле Терц Пушкина любит; да, но любовью забулдыги-хама Ноздрева. Терц талантлив и жаль, если он войдет в русскую литературу в компании с такими зоилами Пушкина, как Греч, Булгарин, Надеждин. Славный он конь, но оказался порченным, с запалом!

Пушкин жил в эпоху романтизма, но по своему чувству равновесия, скорее, может быть назван классиком. Цветаева отрицала наличие "баланса", меры у Пушкина (в стихах, обращенных к нему, она стилизовала его под самое себя). Что и говорить: Александр Сергеевич был страстный человек, живо ощущал стихии, но умел и уравнивать империю и свободу, безумие и разумие, день и ночь. Вот этот стих приложим к его творчеству (не к его жизни): "Но сердцу не даю пылать и забываться..."

У Пушкина что-то от вулкана и что-то от айсберга.

Кое-кого возмущает моральный кодекс поведения Пушкина. Его дон-жуанский список похож на каталог коллекционера. Мужей следует обманывать и наставлять им рога. Но не дай Бог самому оказаться рогоносцем! Нельзя лгать друзьям.

"Прекрасен наш союз", — сказал он в день Лицейской годовщины 19-го октября. К этому дню можно было бы приурочить праздник Российской поэзии. Ближе, чем лицеисты, были для него друзья, входившие в т. н. литературную аристократию: Дельвиг, Вяземский, Давыдов, Языков, Баратынский, а также малодаровитый Плетнев (но его запрещалось критиковать: он был наш!). Критика допускалась между своими, сора из избы (т. е. в печать) выносить не полагалось.

В избранном товарищеском кругу Пушкина царила высокая подруга — многоликая и верная Муза — не возлюбленная, а скорее всего, сестра (см. выше), и она отдаленно напоминает черно-окую Смирнову-Россет. Пушкин и его друзья высоко ценили критическое чутье Смирновой. Пушкин по-братски заботился о приискании ей достойного мужа. Им оказался Смирнов. Но с ним едва мирились. Пушкину не нравилось, что красноглазый Смирнов делает Россет детей: это совсем не ревность, а проявление братской заботливости!

Лирика Пушкина. До сих пор многих восхищают его стихи, посвященные Анне Керн ("Я помню чудное мгновенье..."). Следует отвести подальше от Пушкина тех ученых педантов или самодовольных снобов, которые видят в этом стихотворении одни поэтические общие места. Их, действительно, немало в этом романсе, но им невдомек: Пушкин здесь и не стремился к оригинальности, а счастливо обыгрывал романсные клише той эпохи (добавив заимствованного у Жуковского "ангела чистой красоты").

Пушкин набирал высоту и в своих менее известных длинных ямбах. Шестистопный ямб с цезурой (александрийский стих) уже выходил из моды. Но Пушкин незадолго до смерти написал этим размером величавое, важное (по тогдашнему словоупотреблению) стихотворение:

Когда за кладбищем, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу...

Ему хотелось почивать вечным сном на родовом кладбище, в деревне ("поближе к милому пределу", как он писал в другом стихотворении). А на публичном кладбище его раздражало лицемерие надписей и осквернение могил:

По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны...

Здесь слышится презрение, но, как это часто бывает в сатирических стихах, поэт явно упивается звучными "рцы" в простонародном *рогаче* и латинскими романусами в рифме *амурный* — *урны*.

Мало солнышка в русской истории, — говорил Розанов. А за последние шесть десятилетий оно еще чаще скрывалось за черными тучами. Но до сих пор из-за туч проглядывает солнечный Пушкин, наш посмертный друг.

Из всех преданных ему поэтов-читателей не лучше ли всего писал о нем Михаил Кузмин:

Из стран, откуда нет возврата,
Через года он бросил мост,
И если в нем признаем брата,
Он не обидится; он — прост

И он живой. Живая шутка
 Живит арапские уста,
 И смех, и звон, и прибаутка
 Влекут в бывалые места.
 Так полон голос милой жизни,
 Такою прелестью живим,
 Что слышим мы в печальной тризне
 Дыханье светлых именин.

(Нездешние вечера, 1921 г.)

Николай Языков (1803-1846) был баловнем современников. Пушкин ему дружески завидовал. Для Баратынского он — "певец роскошный и лихой" и "славный малый". В замечательном письме о русской поэзии Гоголь писал (уже после смерти Языкова): "...не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он (Языков), и это услышали все. И уже скорее от Державина, нежели от Пушкина, должен был он зажечь светильник свой". Но державинщина в поэзии Языкова незаметна, разве что в архаическом глаголе *мужествовать* (который встречается в *Минях 1097 г.*).

Будет буря, мы поспорим
 И помужествуем с ней...

Языков стал мастером среднего стиля и в этом смысле он кое в чем параллелен Пушкину, Баратынскому, Дельвигу.

Современников восхищала лирическая энергия языковской лирики. Например, в стихах, которыми восторгался Гоголь:

Одежды прочь! Перед челном
 Протянем руки удалые
 И — бух! Блистательным дождем
 Взлетают брызги водяные.
 Какая сильная волна!
 Какая свежесть и прохлада!
 Как сладострастна, как нежна
 Меня обнявшая наяда.

Пушкин тоже обыгрывал междометие "бух", а у Языкова есть и "бац" в стихотворении, посвященном Гоголю. Немец в Ганау:

Идет с подскоком, жидконогой,
И бац, да бац на гололедь...

Удавались ему звуковые повторы:

И Волги вал белоголовый...

Что и говорить: был Языков даровит, но очень уж много у него поэтических общих мест и мало мыслей.

Языков семь лет числился студентом Дерптского университета, но ни одного экзамена не сдал, хотя, судя по письмам к братьям, много читал.

За покупную любовь пришлось ему расплачиваться изнурительной болезнью. Лет семь лечился он водами на немецких курортах.

Страдания ожесточали Языкова. Сколько желчи в его обращении к "*Не нашим*" (1844 г.): это ненавистные ему Чаадаев, Грановский, Герцен:

Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой...

Но в его негодовании нет упоения: это слабые стихи. Крепче, мускулистее его прославление Руси:

Созови из стран далеких
Ты своих богатырей.
Со степных, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

Те же строфы с той же утроенной рифмой находим в студенческой песне волжанина Языкова. И мы, русские студенты в Юрьеве, допевали ее в 30-х гг. нашего столетия:

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради сладкого труда,
Ради вольности высокой
Собралися мы сюда.

Евгений Баратынский (1800-1844). Пушкин читал в нем мыслителя, но ни он, ни другие современники (включая Белин-

ского), не смогли понять главные мысли Баратынского и его странные для этой эпохи прозрения.

В нашем столетии мы страшимся загрязнения воды, отравления воздуха, применения ядерного оружия, или превращения людей в послушных роботов. А Баратынскому мерещился другой вариант всеобщей гибели. В стихотворении *"Последняя смерть"* (1827 г.) он предсказывает: благодаря техническому прогрессу самый климат подчинится воле человека и наступит золотой век мира и всеобщего благоденствия. Но пройдут столетия и излишний комфорт приведет к вырождению человечества. Вот что он говорит о наших отдаленных потомках:

Их в Эмпирей и в Хаос уносила
Живая мысль на крыльях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Недоверие к цивилизации Баратынский, вероятно, унаследовал от Жан-Жака Руссо, но его изображение последней смерти вполне оригинально. В нашу апокалиптическую эпоху оно более понятно, чем современникам Баратынского. По содержанию это — гениальное стихотворение, но в нем мало лирического напряжения (трепета). А идеи, как мы знаем, еще не делают поэзию (Стефан Малларме). Баратынского вдохновляет не только философия. Он воссоздает атмосферу мысли, стихию интеллекта в открывшейся ему "пустынной стране" (в Финляндии).

Пушкина сослали на Юг за то, что он наводнил Россию "возмутительными стихами". Его муза явно выиграла от пребывания в Бессарабии, Одессе, Крыму. А Баратынскому за мальчишескую шалость (кражу) пришлось расплатиться солдатчиной в Финляндии, где и его муза немало выиграла. Еще одна аналогия (биографическая, но и поэтическая). Если к ссыльному мелкому чиновнику Пушкину благоволила жена новороссийского губернатора княгиня Е. К. Воронцова-Дашкова, то к нашалившему Баратынскому в солдатской шинели была благосклонна жена губернатора Финляндии графиня А. Ф. Закревская (за которой позднее ухаживал и Пушкин). Так в "реакционной" Российской империи "романически" нарушалась социальная иерархия. Да и жилось тогда и писалось привольнее — вопреки цензуре и ссыл-

кам — на Юг ли, на Север...

Баратынский так обращался к своему "бокалу уединенья" (в стихотворении 1835 г.):

Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин;
Сластолюбец однодумной
Я сегодня пью один...

Если говорить языком "презренной прозы", то здесь Баратынский воспевает глушение вина в одиночку, что, вообще говоря, непохвально! Но пьяницей он не был. Метафорический бокал уединенья будит в поэте "Откровенья преисподней / Иль небесные мечты...". Кажется, никто в русской поэзии (да и в какой-либо другой) не сумел так сильно и смело передать *уединенный и упоительный опыт творчества*.

И. С. Аксаков напрасно упрекал Баратынского за его "остуживающую поэзию". Да, он умел беспощадно анализировать и идеи и эмоции. И выводы у него иногда самые пессимистические (в "*Последней смерти*" и в "*Последнем поэте*"). Но многие из его будто бы отвлеченных стихов обжигают... И есть страстность в некоторых самых пессимистических стихах Баратынского, хотя бы в этой строчке, написанной в ранней юности ("*Дельвигу*", 1821 г.):

Любить и лелеять недуг бытия...

Какое счастье — любить и лелеять — и сколько ласковости в этих плавных *лю* и *леле*! Но эти стихи обращены не к ребенку или к возлюбленной. Поэт обречен любить и лелеять ужасный "недуг"... Первые два стиха разнеживают, а от следующих пробирает мороз по коже! Кто в русской лирике так умел — сперва погладив по голове, сразу же уколоть — разве что один Иннокентий Анненский! А в строке всего четыре слова (союз "и" в счет не идет). Здесь тесно сжаты нежность, грусть, боль, ирония.

Заметим: у Баратынского немало выражений, отрицательных по грамматической форме, но далеко не всегда по смыслу. Так, в стихотворении "*Запустение*" шаблонную бессмертную весну он наименовал *несрочной*, что восхитило Бунина, и он назвал один из своих рассказов "*Несрочная весна*". Здесь отри-

вание есть на самом деле утверждение, что вообще характерно для Баратынского. С отрицания начинается одно из самых известных и заслуженно прославленных стихотворений Баратынского (1830 г.):

Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут...

Здесь уже нет страсти, нет упоения, опьянения философа или любовника. А есть трезвость, скромность, нежность:

Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором,
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой,
И он скорей, чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

Муза Баратынского — не сестра ли пушкинской Татьяны? "Все тихо, просто было в ней", — сказал о ней Пушкин и — она прекрасней блестящей Нины Воронской, которая умела приманивать...

Героини поэм Баратынского (да и самые эти поэмы) едва ли ему удались. Но кое-что в ранней поэме Баратынского "*Пир*" (как и в батушковской "*Прогулке по Москве*" (1811 г.) уже предвосхищает "*Евгения Онегина*" — бытовые описания и лирическая ирония.

Можно считать Баратынского либералом и патриотом, но он слишком хорошо знал, что в России нет "форума" для ответственности и никакая политика в его поэзии не ночевала. В юности он, по-видимому, был *афеем* (как и Пушкин). Позднее он обратился к самому себе с очень уж прописным наставлением: "В смиренности сердца надо верить, / И терпеливо ждать конца...". Незадолго до смерти Баратынский написал проникновенную "*Молитву*" (1842-43 гг.). Молящемуся незачем гоняться за оригинальностью — а это и искренняя молитва и мастерское стихотворение. Оно просто и крепко замкнуто мужскими рифмами.

И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Черноокая А. С. Смирнова-Россет, подруга многих поэтов, их общая сестра, заметила: это стихотворение *держится* на прилагательном *строгий* рай. Какое верное, меткое суждение. Здесь, поистине, религия и поэзия, вера и искусство совпадают.

Баратынский знал упоение или, как он писал, *упой* в уединении, и он же целомудренно тихо молился, или разгадывал "необщее выраженье" своей Музы, но едва ли он увлек кого-либо из русских поэтов разных направлений и поколений. Однако, многие из них, не без некоторого страха, на него иногда оглядываются: уж не наврал ли я, соблаздившись романтическими иллюзиями или барочными украшениями! Все наши сложности нужно *поверять* простотой Баратынского. Эта его простота часто совмещалась с торжественностью, или *важностью* (как тогда говорили).

В последний год своей недолгой жизни Евгений Абрамович с семьей побывал в Италии, о которой ему так восторженно рассказывал его дядька — итальянец Жьячинто. "Ты дал мне благодать нерусского надзора", — писал Баратынский.

Сразу запоминаются стихи Баратынского, написанные на пироскафе, отплывшем из Марсея в Ливорно:

Много мятежных решил я вопросов
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ.

В этих медленных звучных дактилях поэт-философ уже не предается размышлениям, и мы не знаем — какие именно вопросы он разрешил... Он блаженно вешает о приближающемся счастье:

Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны;
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.

Баратынский был склонен к меланхолии. Ему иногда казалось — есть что-то роковое в занятиях поэзией, и он писал:

Боюсь я,
 Чтоб персты, падшие на струны,
 Не пробудили бы перуны,
 В которых спит судьба моя...

Судя по его последним письмам, никаких темных предчувствий у него в Италии не было. Он был особенно счастлив в Неаполе, где внезапно тихо скончался 29-го июня 1844 г.

Баратынский не был ни гражданином, ни пророком. Он не стремился "переиначивать свет". "В глуши смиренной" он осмысливал жизнь. Его утешало, что деревья заменят его стихи:

Поэзии таинственных скорбей
 Могучие и сумрачные дети.

Федор Тютчев (1803-1873) продолжал поэтические традиции Осмнадцатого столетия. Один из критиков (Л. Пумпянский) верно заметил: многие стихотворения Тютчева — своего рода оды, но малого размера. У него не так уж много славянизмов-архаизмов и нет грубости русского барокко (державинщины). Но барочно его красноречие, его громогласие. В последней строфе всем нам с детства знакомой "*Весенней грозы*" слышится рокот оглушительных "рцы" Ломоносова, Петрова, Державина:

Ты скажешь: ветреная Геба,
 Кормя Зевесова орла,
 Громокипящий кубок с неба,
 Смять, на землю пролила.

Пушкин поместил в своем журнале "*Современник*" тютчевские стихи, присланные из Германии. Следовательно, он их как-то оценил, но без особого восторга. Гений не понял гения (что часто случается). Может быть, мешала некоторая старомодность Тютчева.

А Тютчев навсегда начертал — на мраморе (о Пушкине):

Тебя, как первую любовь,
 России сердце не забудет.

Позднее Тютчевым, малозамеченным современниками, восхищался Некрасов. Это может показаться странным. Может

быть, революционного Некрасова прельщали у консервативного Тютчева революционные потрясения в мире природы — грозы, бури, которые могли сойти за символы политических мятежей и переворотов...

Тютчев, как и Баратынский, — поэт-философ. По-видимому, на него оказал влияние Шеллинг (с которым он встречался в Мюнхене). Существеннее: в его философических стихах ничего книжного нет. Тютчева привлекала открытая немецкими романтиками "ночная сторона души". Для него, как позднее для Ницше, ночь глубже, мудрее дня. Если день рационален, то ночь — иррациональна. Потрясает его монолог, обращенный к воюшему ветру:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый...

Критики-философы не заметили: здесь хаос (если им верить) не только из Шеллинга, а нечто, интимно-близкое поэту и более чем родное — *родимое*. Это просторечие. Кто — *родимый*? — Батюшка (отец). Или же это царь-батюшка. Только Розанов мог бы так одомашнить или унежить отвлеченное да еще иностранное понятие: греческий хаос.

Тютчев запросто беседовал с хаосом. Но эта простота совмещалась у него с барочным пафосом.

Он больше двадцати лет провел за границей — состоял на дипломатической службе в Мюнхене, а позднее в Турине. Порусски говорил там преимущественно с дядькой-другом Никитой Хлоповым, и с музами. Но был он непревзойденным мастером русейших интонаций:

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, спрошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего.

Никаких деталей, и в переводе на прозу или иностранный язык описание показалось бы бедным, беспомощным. Но обиходные выражения: *какое, что за, далось нам, ни с того и ни с сего* вполне заменяют образы, метафоры, заставляют поверить в тютчевское летнее колдовство.

Тютчев, уходивший корнями в Осмнадцатое столетие, непонятый современниками, вполне раскрылся в XX-м веке. Сколько новизны в его поэзии *зыбкостей* и еле уловимых оттенков:

Дымно-легко, мглисто-лилейно
Вдруг что-то порхнуло в окно.

Это *что-то* передает нюансы, вошедшие в поэтический обиход в нашем веке. В этом смысле Тютчева можно назвать модернистом, что, конечно, не дает ему никакого преимущества!

Политика занимала Тютчева больше, чем поэтика... Убедительно ли его славянофильское народничество? Его родной русский "край долготерпенья"? —

В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...

Но такой ли уж православной была Русь и в его время? Народное долготерпенье лопнуло и революция привела к новому порабощению и господству безбожия (чего Тютчев, конечно, предвидеть не мог). Тютчевское славянофильство отдает доктринерством.

Может быть, протестантизм Тютчев понимал лучше, чем православие, что проявилось в двух стихотворениях: "Я лютеран люблю богослуженье...", "И гроб опущен уж в могилу...".

Иногда его искушал атеизм: ему казалось

И нет в творении Творца
И смысла нет в мольбе...

Был ли Тютчев христианином? (Мережковский в этом сомневался). Была у него своя метафизика, но не христианская. Для него человеческое "я" — только обольщение. Он недоумевает — почему в общем хоре природы ропщет *мыслящий тростник*, т. е. человек (по Паскалю). Тютчев молил:

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай...

Есть лирическое упоение в стремлении Тютчева к космической бездне, или гармонии, или же к первоначальному хаосу.

Этот космизм, пантеизм, даже буддизм несовместимы с христианством. Говорится это не в укор. Но это значит: незачем было Тютчеву рассуждать о русском Христе.

Из своих духовных настроений Тютчев не стремился создать какую-то новую религию. У него не было двусмысленности поэтов-волхвов, будь то Влад. Соловьев, Вяч. Иванов, Мережковский, Белый или Блок, хотя некоторые из них и видели в нем предтечу. Кое-кому из символистов импонировали упаднические стихотворения Тютчева, напр., его кощунственная "*Малярня*", где он признается:

Люблю сей Божий гнев! Люблю сие незримо
Во всем разлитое таинственное Зло...

Чем-то соблазнительно у Тютчева и странное "жалкое безумие", которое живет "в беззаботности веселой". Но это — преходящие настроения. Тютчева нельзя назвать декадентом.

Высота Тютчева в поэзии (да и в жизни) — его "*Последняя любовь*". Есть в этих стихах отчаяние, но есть и упоение в его лирической астме. Он задыхается и срывает голос в мольбе:

Сияй, сияй, прощальный свет

Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье...

О, ты последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность...

Здесь нарушается привычный ритм четырехстопного ямба. Педантичный Тургенев не понял выразительности этих будто бы "неправильных" тютчевских стихов (дольников).

Тютчев увлекательно размышлял в стихах. Он вдохновляет нас грозами и ветрами, но его самые потрясающие стихи — страдальческие, посвященные его последней любви Денисьевой. Для него, ночного поэта, боль была особенно ошутима днем, при ярком солнечном свете:

О, этот Юг! О, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может.

Эти *больные* стихи нельзя назвать одами малого размера. Но есть в них особенная решительность (восклицательность), барочность поэзии. Слышится крик боли и слово "жизнь", на которое падает т. н. неметрическое ударение — более резкое, чем в обычных "нормальных" ямбах. Это громкая строфа. Но иногда Тютчев едва шептал от боли:

Тяжело мне, замирают ноги,
Друг мой милый, видишь ли меня?

Размышляющий Тютчев гениален, но не более ли потрясает смертельно раненный Тютчев?

Юрий Иваск

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Заграница	97	184	357
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	126	242	474

ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С М. А. АЛДАНОВЫМ*

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕРСА

5 дек[абря] 50 г.

Милый, дорогой Марк Александрович, как горячо принимаете Вы все к сердцу! Кто-то почеркал Вашу статью — "пусть свинья издохнет на могиле его бабушки!", — как говорят турки, — да разве Вы не знаете газетчиков и литературных агентов?! Вон как сократил Calman Levy вместе с моим Гофманом мои "Воспоминания", а я обложил их матом, выражаясь по-советски, и махнул рукой.

Я вдребезги болен кашлем, насморком, отчего задыхаюсь уже до полного безобразия, — ухитрился простудиться, не выходя из своей комнаты, бури были ужасные, дуло из камина, — но все надеюсь выпить с Вами шампанского (Вашего), когда приедете. Целую Вас и руку Татьяны Марковны. Ваш Ив. Б.

1. В письме от 1 декабря 1950 г. Алданов жаловался на то, что его статья в Нью-Йорк Таймс была очень неудачно сокращена.

Ночь с 5 на 6 дек[абря] 1950 г.

Дорогой Марк Александрович,

нынче вечером отправил Вам письмо, кончающееся словами "Надеюсь выпить с Вами, когда Вы приедете, шампанского (Вашего)". И ужаснулся: а вдруг Вы поймете это слово в скобках (Вашего) так, что я надеюсь, что Вы принесете мне, купите

*См. "Н. Ж." кн. 150, 152, 153.

шампанского! Нет, дорогой мой, я хотел сказать, что у меня еще цела та бутылка, что Вы подарили мне в Juan-les-Pins.

У св. Иоанна Златоуста сказано удивительно: "Длинное море — мои бессонные ночи". Вот и у меня так. И нехорошее мешается с хорошими и горькими воспоминаниями, — с непоправимым! — с мерзкими записями, приказааниями, что делать со мной, когда я умру, — тотчас навеки закрыть мне лицо, дабы никто не видел больше его смертного ужаса, безобразия, не читать надо мной Псалтирь, не класть мне на лоб этот несказанно страшный "Венчик", — упростить, упростить все! — не заваливать мой гроб землей в могиле, а сделать в ней "накатник" из бревен... И еще мешается с чепухой, выдумкой глухых стишков, редких ёрнических рифм, — в роде Буренинских¹, — помните?

Беллетристику — эх, увы! —
Пишут теперь Чеховы
Бараншевичи² да Альбовы³
Почитаешь — станет жаль Бовы! [...]⁴

1. Виктор Петрович Буренин (1841-1926), поэт и критик.

2. Казимир Станиславович Бараншевич (1851-1927), писатель.

3. Михаил Нилович Альбов (1851-1911), писатель.

4. Продолжение письма не печатается.

8 дек[абря] 50 г.

Дорогой Марк Александрович, мне немножко стыдно, что я написал Вам дня три или 4 тому назад, ночью, письмо в котором оказались ни к селу ни к городу пустые стишки, — письмо вообще очень сумбурное, — и хочу Вам сообщить, что уже были в ту ночь причины этой сумбурности: меня очень знобило в ту ночь, и я думал, что я просто прозяб, и все согревал себя хересом, — хорошим, напоминавшим мне детство мое (ибо в ту пору отец мой пил больше всего херес и часто давал мне его пробовать), — мне его подарили в тот день (22 окт[ября]), когда меня "чествовали". Оказалось, однако, что я не прозяб тогда, а заболел: лежу от тех пор частенько с градусником под мышкой (доходит почти до 38), горю и одолеваю бронхитное удущье, *ужасно боясь*, что бронхит перейдет опять — в который уже раз!

— в воспаление легкого, правого или левого. Ездит ко мне Зернов и говорит, что *пока* в легких ничего дурного нет.

Будьте здоровы — Вы и Т. М.

Ваш Ив. Б.

Ночь с субботы на воскресенье
с 10-го дек[абря] на 11 дек[абря] 1950 г.

Дорогой Марк Александрович, получил Ваше письмо от 7-го дек[абря]. Получил от Галича Вашу статью обо мне — американскую. Кое-как прочли ее, — Вера лучше меня понимает по-английски — и это-ли не диво! Лучше меня, который переводил "на ять" Мистерии Байрона, — стихи, где часто вместо слов одни кусочки их, — Вы знаете эти дьявольские сокращения, — перевел их без единой ошибки и получил за них Пушк[инскую] премию от Имп[ераторской] Российск[ой] Академии, редактировал 5 томов *Киплинга* в переводе адмирала Азбелева (кончившего жизнь самоубийством в Японии, уехавшего туда зачем-то вскоре после этого перевода), которому — *мне* — после моего перевода "Гайаваты" — профессор славист Морфиль писал из Англии: "при Вашем таланте и знании англ[ийского] языка Вы должны переводить и переводить!" — Никогда не прошу Вам, дорогой друг, что Вы упорно думаете, что я пользовался чьими-то подстрочниками!!! Нет, клянусь рыцарским словом и *всею, чем угодно*, я пользовался только своими способностями и своей усидчивостью, да словарем Макарова! Так вот — кое-как прочли Вашу статью и благодарим Вас за нее от всей души.

Жар у меня спал, очень понизился, почти нормальный, но кашель и астматический насморк просто ужасны, хотя пишу это, уже сидя за столом (дай Бог не сглазить!).

Целуем Вас обоих.

Ваш Ив. Б.

P. S. Кто "Н. Альбус", не знаю. Отношения с Тэффи у меня не испортились, — я по крайней мере так думал. Но, верно, это *она* Вам написала? Что ж, — она стала, по-моему, дуреть, — не то от старости, не то от морфия.

Как я могу писать и думать по ночам глупости вместе с мыс-

лями о смерти и о всех ее гадостях? А почему же нет? Близкая моя смерть *неизбежна* — и что ж мне топтать ногами и вопить? С какой-то тупостью — или мудростью перед непреложностью этого — жду своей казни. А вот если бы я сидел в остроге и ждал, что вот-вот поташут меня на рассвете под топор, тут я, даже и весь связанный, так бы орал, извивался, как одержимый дьяволом, что, верно, даже у палача встали бы дыбом волосы!

14.XII.50 г.

Дорогой друг, сейчас только 2 слова — по смешному делу — насчет бесстыжего наглеца и пролазы Ставрова. В день, когда меня "чествовали" 22 окт[ября] я был смертельно утомлен, едва держался на ногах, был как вдребезги пьян, когда Тэффи, подписав воззвание Ставрова насчет издания его книги, подсунула это воззвание мне. Нынче я послал Ставрову пневматик, указывая на все это и требуя непременно, немедленного снятия моей подписи под этим возванием, беспримерным по бесстыдству восхваления Ставрова — снятия — в избежание крупной ссоры между нами и *огласки ее*. Я пишу ему, что оставлю свою подпись *только в том случае*, если воззвание будет состоять из трех-четырёх строк самых сухих, без всяких восхвалений.

Наш поклон Вам и Т. М.

Ваш Ив. Бун.

P. S.: Разумеется, я не писал никаких грубостей Ставрову.

14 янв[аря] 51 г.

Дорогие друзья, Вы еще плывете, — Бог даст, скоро будете в Нью-Йорке. А я пишу Вам влогонку вот о чем: был у меня вчера Михельсон, говорил, что нужно обратиться с циркулярным письмом кое к кому из богатых парижан, чтобы они помогли мне, и что В. А. Маклаков готов подписать это письмо и просит Вас, дорогой Марк Александрович, присоединить к его подписи *Вашу*.

Можно-ли это сделать? Позвольте-ли Вы? Ответьте мне пожалуйста возможно скорее.

Заранее благодарю. Целуем Вас и дорогую Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Бунин

[на другой стороне письма

В. Н. Буниной Алдановым от 25.I.51 г.]

Дорогой Марк Александрович, очень благодарю Вас за Вашу подпись. Дела мои, как Вы знаете, очень плохи. И здоровье все хуже — задыхаюсь все больше, сердце так слабеет, что малейшее движение вызывает холодный пот. И все-таки ужасно не хочется умирать — весь мой "архив" в беспорядке, литературного завешания я все не в силах написать — и т. д.

Обнимаю Вас сердечно, целую руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

9 февраля 1951 года.¹

Дорогой Марк Александрович,

Последнее время мне так плохо, я так задыхаюсь, что не могу добраться до письменного стола и потому диктую Вам это маленькое письмо.

Когда будет этот "бунинский вечер"? И будет ли, наконец? Вероятно, все-таки будет, и потому я буду очень благодарен В. В. Набокову-Сирину, если он прочтет что-нибудь мое на этом вечере. Передайте ему, пожалуйста, мой сердечный поклон. Что прочитать? Надо сказать, что будет прочтен *новый* рассказ Бунина. За *новый* можно выдать мой *последний* напечатанный рассказ, испанский, под заглавием "Ночлег". Как Вы знаете, он был напечатан в 49 г. в тетради "Возрождения", и я думаю, что в Америке его, вероятно, никто не читал, кроме Цвибака. Он такой, что его легко читаешь с эстрады, в нем есть действие, есть хорошо написанные фигуры, есть прекрасная ночь и вообще много всякого добра. Если этого мало, то можно еще прочесть то, что читал "Голос Америки" для России, то есть Назаров; я

просил Галину Николаевну [Кузнецову], чтобы она взяла у него этот материал, и он, вероятно, уже у нее. Там есть небольшой рассказ "Косцы", есть еще "Третьи петухи", — эти две вещички тоже не плохи для эстрады. *Но вообще выбирайте для чтения все, что вам угодно.*

И. М. Троцкий просил нас выслать ему для продажи на вечер *десятка два* моих "Воспоминаний". Это невозможно и технически, и материально. Издательство "Возрождение" может дать мне эти книги по триста франков за экземпляр, что составит уже немалую сумму, перевозка к нам и отправка в Америку тоже будет стоить дорого. *А главное* — для меня *унизительно*, что на вечер будут *навязывать* мою книгу, и многие, конечно, будут от нее отмахиваться. Словом, я никак не могу согласиться на это. Пишу ему об этом.

Как Ваше здоровье, как Ваш глаз? Надеюсь, что Вы что-нибудь уже продали из своего нового написанного. Насколько я понял из письма Габриловича, он, кажется, свел Вас с каким-то новым издателем. До Вашего визита к нему он писал мне свою обиду на Вас, — будто Вы его знать не хотите, на что я ответил, что, насколько я знаю, Вы относитесь к нему хорошо, читаете его многие большие достоинства...

Читали ли Вы его статью обо мне в журнальчике "Дело"?

Ну, устал диктовать. Целую Вас и руку Татьяны Марковны.
Ваш Ив. Бунин

P. S.: А какова P. Buck? Палец о палец для меня не ударила! Рогнедов, слава Богу, куда-то исчез.

Телефон Марги [Степун] и Гали [Кузнецовой]: Flushing 8-37.55.

Вчера вечером долго сидел у нас Николаевский. Интересный человек! Во вторник 13-го летит в Нью-Йорк.

[*Приписано Буниным.*] Мне хотелось бы больше всего "Ночлег". Я Вам его пошлю.

1. За исключением некоторых поправок, P. S. и подписи, письмо целиком напечатано на машинке.

1.3.51 г.

Дорогой Марк Александрович,
Во вчерашнем письме к Вам я очень грубо обругал Кар-

повича¹. Нынче прочел его рецензию на Ваши "Истоки" — она во многом совсем не плоха (особенно ее последние строки). Так, значит, все дурное, что есть в этой книге "Нового Журнала", не его вина?

Тогда не понимаю его роли в редактировании журнала!

Ваш Ив. Б.

1. Письмо Бунина от 28 февраля не печатается.

[Алданов Бунину]

2 марта 1951 г.

[...] Вечер Ваш состоится либо 25 марта, либо 2 апреля. Пришлось отложить из-за зала, из-за артистов и т. д. Программа: Артист Зелицкий (говорят, хороший) читает "Ночлег" и еще несколько Ваших старых небольших рассказов, выбор которых сейчас производится. Артистка Лариса Гатова читает Ваши стихи (по общему отзыву, это ее специальность, читает она просто и хорошо). Мое слово о Вас (если буду здоров, прочту сам, иначе прочтет председатель или Зелицкий). Большие доклады о Вас Тартака и Веры Александровой, — оба, и в частности Тартак — горячие Ваши поклонники (как раз сегодня долго о Вас с Тартаком говорил). В зале четыреста мест. Денег... э т о не даст, как я Вам тоже писал [...].

[Алданов Буниным]

26 марта 1951 г.

Дорогие друзья,

Пишу Вам, не дожидаясь ответа на мое последнее письмо, чтобы сообщить Вам о вчерашнем вечере в Вашу честь. Он сошел превосходно. Зал на 470 мест был совершенно переполнен. Настроение было именно такое, какое требовалось. *Все* говорили о Вас исключительно в самых восторженных выражениях: Вейнбаум, я, Тартак, Александрова (в порядке наших выступлений). Я пришел совершенно больной и, чтобы не замучить публику кашлем, сказал сначала о Вас кратко, а затем, по нашему уговору, артист Зелицкий прочел то, что я написал (пять страниц, как было условлено, и что в заметке "Н[ового]

Р[усского] Слова” было названо “Слово о Бунине”, — за это комическое заглавие я ответственности не несу — я написал просто “О Бунине”. Долго, минут сорок, увеличив *втрое* отпущенное ему время, говорил о Ваших стихах Тартак, и минут пятнадцать о Вашей прозе Александра. О Ваших воспоминаниях говорил Вейнбаум. По моему предложению, Вам посылается или уже послана сегодня приветственная телеграмма (публика покрыла предложение аплодисментами) [...]

Старый проект создания в Нью-Йорке Русского архива как будто осуществляется при помощи здешнего Колумбийского У[ниверсите]та. Намечается комитет по руководству им в составе: из живущих в Европе Вы (если согласитесь) и Маклаков, из находящихся в Америке Бахметев (б. посол), Николаевский, Карпович, Ал[ександра] Толстая и я. Мне поручено запросить Вас о согласии. *Надеюсь, Вы не откажетесь, правда?* [...]

31 марта 51 г.

Дорогой Марк Александрович, пишу в постели, — опять не спал ночь от удушья и его последствия — крайней нервности, — спешу сказать, что получил от Вас и от Г[алины] Н[иколаевны] описание вечера “по случаю”, очень скверному для меня, моей старости, и горячо благодарю Вас за честь, которую Вы, обычно не выступающий публично, оказали мне своим выступлением и сказали “Слово о Бунине”, конечно, очень доброе, хотя я еще не знаю его и жду с нетерпением прочесть в “Н[овом] Р[усском] С[лове]”¹, вырезку из которого, думаю, мне вот-вот пришлют “по воздуху”. Рад, что вечер прошел хорошо, — “сочиненьица мои все еще занимают меня”, как писал Петрарка в своей еще небольшой, — не то, что моя! — старости. В комитет насчет архива рад войти, — благодарю Вас всех, членов его, и за это... А Давыдову будьте добры сказать, если представится к тому случай, что я был *смертельно* болен, когда получил его брошюру, — мне не до благодарностей было тогда за нее.

Обнимаю Вас сердечно, шлем дорогой Татьяне Марковне наши наилучшие чувства.

Ваш Ив. Бунин

Дивлюсь Вейнбауму, позволившему Аронсону написать

такую пакость обо мне — будто я сделал вселенскую смазь "всем почти писателям".

1. Речь Алданова появилась в *Новом Русском Слове* 1 апреля 1951-го г.

16 мая 51 г.

Дорогой Марк Александрович, я все в постели, и сейчас пишу в постели, поэтому простите, что не писал Вам, не благодарил Вас за все Ваши добрые слова и заботы обо мне. Сейчас хочу сказать еще только то, что, если будет издательство, о котором Вы пишете, у меня есть небольшая книжка моих рассказов, еще не вышедших отдельным изданием.

Погода у нас чудовищная — зимний холод и ливни.

Целую Вас и дорогую Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Бунин

Если увидите А. Кестлера, передайте ему, пожалуйста, мой самый сердечный поклон.

Холод, ливень
Ночь с 17 на 18
мая 1951 г.

Дорогой Марк Александрович,

Перечитал сейчас Ваши чудесные "Отрывки из записной тетради", а в них строки о герцогине Брачиано, которая вечно обманывала мужа и говорила о нем своим друзьям: "Он будет очень удивлен на Страшном Суде!" Вот почему посылаю Вам мои стишки об Али и его жене б...

Целую Вас обоих.

Ваш Ив. Б.

P. S. Река Алдан, оказывается, впадает в Лену. А от Лены стал Ленин. Донес об этом Мельгунову и его супруге. Берегитесь! Читали, как эта супруга разделала меня?¹

Неверную жену меняй на рис.
Коран

Уличив меня в измене,
 Мой Али, он был Азис,
 Божий праведник, — в Сюрени
 Променял меня на рис.
 Умер новый мой хозяин,
 Вскоре умер и Али —
 И на гроб его с окраин
 Все калеки поползли.
 Шли и женщины толпами,
 Побрела и я, шутя,
 Розу красную губами
 Подведенными крутя.
 Вот и роща и пригорок,
 Где зарыт он... Ах, Азис!
 Ты бы должен был раз сорок
 Променять меня на рис!

[*Притисано Буниным*: Сюрень — древнее татарское название Симферополя²].

1. См. письмо от 11 августа 1951 г.

2. См.: И. А. Бунин, *Собрание сочинений в девяти томах*. Москва, (1965-67), т.1, стр. 182.

25.V.1951 г.

Дорогой Марк Александрович,

Мне стыдно и мерзко вечно писать о своих болезнях, но вот пишу еще раз. Помимо всего прочего, я так жестоко страдаю от болей (то приходящих, то отходящих) в правой ноге, что завтра у меня будет доктор Зернов, который должен будет обратиться к какому-нибудь знаменитому французу и привезти его ко мне: ведь я, помимо болей, уже совсем калека — подпрыгиваю, чтобы сделать 2 шага по комнате — иначе могу в обморок упасть, если стану на эту ногу.

Можете себе представить, что бы это было, если бы не помощь от Artur'a Koestler'a! Говорят, что, вероятно, я должен

буду носить какой-то электрический чулок, а один этот чулок стоит 7 тыс[яч] франков! *Пожизненная* пенсия... Дать мне ее теперь, вероятно, не опасно — не много, должно быть, осталось мне *жить*.

На днях мы получили, 3-й взнос, еще около 160 тысяч, благодаря Koestler'у.

Все, все храним в величайшем секрете. Об этом не беспокойтесь. Как Вы, дорогой? Здоровы? Когда в Париж?

Целую Вас и Татьяну Марковну сердечно. Вера тоже.

Ваш Ив. Б.

Когда Ваш суд с М[арией] С[амойловой]?

P. S. Будет-ли издательство?

[Алданов Бунину]

28 мая 1951 г.

...От души Вас благодарю за столь добрые и очень меня тронувшие слова о моей статье в "Н[овом] Р[усском] Слове" и за присылку *очаровательных* стихов... Третьей суд у меня с Цетлиной должен состояться скоро. Ее представитель Коварский мне сказал, что "изучает дело". Затем они с Вейнбаумом должны будут выбрать "супер-арбитра", — это самое трудное, так как тут, конечно, обеим сторонам принадлежит право отвода [...].

1 июня 51 г.

Дорогой Марк Александрович,

Вероятно, еще ничего неизвестно об этом американском издательстве, но все же пишу Вам, чтобы сказать:

если будет оно меня издавать, я навряд дам книжечку моих последних, новых рассказов, — она будет слишком мала (ибо надо отобрать *только наилучшее*) и не будет интересна издательству, мне кажется; не лучше ли дать *роман*, ведь почти все издатели предпочитают *роман* сборнику рассказов? А роман у меня есть: это "Жизнь Арсеньева", давным давно разошедшийся "роман" уже в 2-х изд[аниях] ("Совр[еменные] Записки" и "Петрополис") и спрос на который еще не прекратился — знаю это от Каплана, от Имки, от издательства и книжной торговли

“Возрождение”. Я соединяю его теперь, для третьего издания, с “Ликой” в одну книгу. Гукасов готов издать эту книгу, но, верно, предложит в виде аванса гроши. Хотелось бы мне знать заранее, по *какой* орфографии будет издавать американское издательство? Если *непрерывно по новой*, пойду лучше к Гукасову.

И еще вопрос: *где* будут *печататься* книги американского издательства? В Париже (как “Социалистический Вестник”) или в Нью-Йорке?

Обнимаю Вас, целую руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Войны с Россией *не будет*. М. б., будет, но не скоро.

[Алданов Бунину]

5 июня 1951 г.

[...] Если ко мне обратятся, то я сам внесу предложение и о “Жизни Арсеньева” и о Ваших новых рассказах. Если не обратятся, я попрошу Карповича сделать это. Насчет орфографии ничего не знаю. Спрошу и об этом. Ведь Гукасов не требует *специального* ответа? Подождите еще месяц. Вероятно, будем знать и программу Фордовского издательства и их условия [...]

(Продолжение следует)

ДЕТСТВО АНАТОЛИЯ ШТЕЙГЕРА

ИЗ ЕГО ВОСПОМИНАНИЙ

Анатолий Штейгер (1907-1944), поэт "парижской ноты", известен как автор четырех сборников стихов: "Этот день", Париж, 1928; "Эта жизнь", Париж, 1931; "Неблагодарность", Париж, 1936; "Дважды два четыре" (стихи 1926-1939), Париж, 1950, посмертное издание (переизданное издательством "Руссика", Нью Йорк, 1982). Публикующиеся ниже отрывки из его воспоминаний, любезно предоставленные братом поэта Сергеем Сергеевичем Штейгером, представляют собой, по-видимому, только начало более обширного труда. В рукописи есть план с подзаголовками "Гости", "Лечение мужиков", "Именины", "Собаки", которые должны были войти в первую главу. Затем, есть указания, относящиеся ко второй главе (заголовки "Библиотека", "Ночи", "Деревня-собаки"), и к третьей ("Война"). К сожалению, неизвестно, успел ли поэт написать эти главы, или, написав, уничтожил их. Сохранившиеся воспоминания состоят из четырех частей, более менее хронологически связанных ("Николаевка", "День в деревне", "Канев", "Петербург"), одного отрывка ("Николаевка") и очерка "Отъезд из России в 1920 году".

М. Дальтон

1. Николаевка

Когда я вижу новорожденного — у меня всегда мелькает дикая мысль: несчастный, непоправимое уже случилось, ты уже никаким чудом не можешь туда, обратно, в материнское темное и теплое тело, — хочешь не хочешь, а тебе надо будет жить, как всем другим. Я всегда ловлю все же себя на том, что я смери-

ваю взглядом ребенка: а может быть, чудо возможно, может быть он еще "поместится"? Это, конечно, смешно и глупо, но это случается со мной иногда и не только при виде младенцев. Я "смериваю" иногда и совсем больших детей.

От раннего детства у меня сохранились воспоминания больше о запахах, прикосновениях, физиологических ощущениях, — темные, сонные, в общем, приятные.

Мы жили тогда в малороссийском имении. Кругом меня были мать¹, Тетя, моя сестра² и ее кормилица, Домна. Ясных разделений не было — где Тетя, где мать, — все сливалось в атмосфере детской, мне были одинаково удобны и близки руки Тети, или руки матери. Меня купали в ванночке перед террасой, на солнце, около розового дерева — солнце играло на воде. Мать и Тетя лили поочередно солнечную воду. Рядом, конечно, стояла кормилица с моей сестрой. От воды пахло солнцем, от матери — земляничным мылом, от Тети — пачулями. Домна пахла немного кислым запахом пеклеванного хлеба, который всегда стоял в девичьей.

Мой отец³ появлялся в этом женском мире изредка. Прикосновение его щек было свежим, но чуть колючим, его нафабранные и надушенные одеколоном усы были загнуты стрелками, как у Вильгельма II-го и, когда он брал меня на руки, его орден и золотые пуговицы вдавливались мне в грудь. Отец всегда говорил громким голосом, громко кашлял, молодо смеялся и поднимал меня выше своей головы, отчего сразу начинали кричать мать и Тетя.

В самом моем раннем детстве зим и осени не помню, точно всегда стоял безоблачный, ровный, сияющий украинский длинный июль.

2. День в деревне

Мы просыпаемся от однотонного отдаленного гудения, которое и тогда казалось мне почти райской музыкой. Это гудит

1. Анна Петровна Штейгер (1882-1967).

2. В будущем — поэтесса и писательница Алла Головина (род. 1909).

3. Сергей Эдуардович Штейгер (1868-1937).

на току молотилка, единственная машина, к которой я отношусь с нежностью, а не с отвращением. Мы опять в Николаевке, куда приехали на все лето.

Комната уже полна солнца. Наши с Аллой кровати стоят рядом, через белый ночной столик с голубыми стеклянными квадратами. В детской вся мебель в голубых этих квадратах, на стенах билибинские картины, вышитые матерью, на полу — ею же вышитый ковер с разными зверями и сказочными героями. Алла уже сидит на кровати в белой длинной ночной рубашке, в папильотках, завязанных смешными белыми тряпочками.

Комната фрейлейн Марты рядом. Марта выходит из своей комнаты, высокая, худая, с красными щеками, в белой батиновой кофточке с галстуком.

В Николаевке и летом не так противно мыться до пояса, как в Петербурге. Вот мы и одеты. Алла в неизбежном батистовом передничке с прошивками, надеваемом поверх любого платья — ее форма; я — в белой матроске с синим воротником: мой мундир.

Мы пьем кофе на террасе. Мать сидит во главе длинного стола, к ней приходит повар, она с ним совещается насчет обеда; ключница, девушки. Молотилка здесь еще слышнее. Наконец, фрейлейн Марта разрешает нам идти на ток, здороваться с отцом.

Мы пускаемся стремглав в запуск.

— Только не по клумбам! — кричит Марта вдогонку. Ток, по-украински даже "тик" — огромный мир порядка, вокруг которого расположены всевозможные хозяйственные постройки: амбары, контора, кузница, коровники, опять амбары.

Посреди тока стоят паровик и молотилка. Из длинной трубы паровика валит густой дым. Мелкая соломенная пыль стоит облаком и попадает в рот и глаза, но это только приятно и интересно. Вокруг молотилки бездна народу: мужики, девки, машинисты; все бегают, все пыльные, грязные, кричат друг на друга, стараясь перекричать грохот машины. Отец стоит тут же, чисто выбритый, молодой, озабоченно-веселый, в белом кителе с золотыми погонами. Около него вертится толстый управляющий Косенко, бородатый, с красным лицом и бегающими глазками, в чесучовой серой паре, заправленной в высокие сапоги. Он так старается, что под мышками у него уже два огромных

мокрых круга.

— Только не попадите под нас! — кричит отец, перекивая гул и вопли. Пас соединяет молотилку с паровиком и за его быстрым ходом уследить невозможно. Но он отчего-то иногда рвется или соскальзывает, и тут происходят разные несчастья.

— Деточки пришли, — на ходу умиляется Косенко и гибается в три погибели, чтобы поцеловать ручку моей сестре. — После столицы такие они бледненькие.

Мужики обращают на нас мало внимания. Украинские мужики чужды по природе особого раболепства, да к тому же они знают, что нам запрещено давать "ручку" для поцелуя. Они заняты своим делом, они подают тяжелые снопы вилами наверх, где их ловко принимает Пахом и передает Стаху, который бросает их в "барабан". Машина дрожит и сотрясается. Спереди внизу текут четыре струйки теплого зерна в мешки; особое и чисто физическое наслаждение — подставить руку под такую теплую струйку. Сзади пластами вылетает измятая солома. Она живо образует копну и подтягивается на проволоке к новой скирде, которая скоро будет выше прошлогодних, темнорыжих от снега и дождей, более высоких, чем самые высокие амбары.

Позади скирды малый водит потную, полуослепшую от соломы и пыли рябую лошадь, которая тянет проволоку. Мужик на скирде следит, чтобы малый вовремя остановился: малый останавливается не вовремя, солома рассыпается, мужик рвет на себе рубаху и ругается, но его почти не слышно.

Мы едем на соломе на скирду. Сперва заметая пыль по крепко утрамбованному току, потом наверх, все скорее и скорее по скирде. Вдруг лавина обрушивается на нас. Это малый опять не вовремя остановился и мы погребены под рассыпавшейся соломой. Нас выгребают, мы точно в муке, солома колетя под матроской, в носках, в коротких брючках.

Зерно сыпается в амбар, в закрома. Здесь тоже растут горы. Мы с сестрой снимаем ботинки и отправляемся гулять по зерну. Зерно под нашими ногами рассыпается, ноги трудно вытягивать, но мы упрямо и самоотверженно продолжаем свой путь, воображая себя в сыпучих песках пустыни.

В дверях амбара появляется фрейлейн Марта с красными пятнами на щеках. Мы падаем в зерно и, торопясь выбраться,

зарываемся еще глубже.

Schweinischer Junge, — говорит мне фрейлейн Марта, цепко хватая меня за плечо. — Скверная девчонка. — Нам достается обоим, но уж так повелось, что мне всегда, как "большому мальчишке", достается больше. У фрейлейн Марты педагогические приемы воспитания, и каждый поступок она называет "обманом", потому что ведь я обещал слушаться. Если не послушался — значит обманул. А обман — гадость. С обманщиком нельзя разговаривать, и сестра, маленькая, с обманщиком не должна играть, чтобы самой не научиться обманывать. Опала длится час, иногда больше, иногда даже целый день. Уложив нас в постель (разговаривая с сестрой, со мной — все молча), фрейлейн Марта целует сестру и делает вид, что сейчас уйдет, не простившись со мной, в свою комнату. Эти вечерние поцелуи возведены в целый поцелуйный обряд и мы вытренированы так, что не поцеловаться вечером с Мартой — для нас представляется чем-то вроде конца мира.

Мой отец и моя мать... Я ничего, или почти ничего не знаю о том, как они встретились, как полюбили друг друга. Очень рано мы поняли, что не надо спрашивать о детстве, юности, вообще прошлом моей матери, потому что из обрывков разговоров и потом, из детских, внимательнейших, очень острых наблюдений мы знали, что мать не "одного круга" с отцом, что [хотя] она не совсем из "простых", но что наша бабушка-француженка не признает этого брака и не желает видеть ни матери, ни нас, своих внуков.

Мой отец провел блестящую молодость, не столичную, но провинциально-блестящую. Он родился в Константинополе и научился русскому языку (мой дед был швейцарцем во втором поколении) только на десятом году жизни, когда его привезли в Одессу в гимназию. После гимназии он был в Николаевском Военном Училище, короткое время служил в хороших, но не гвардейских полках, а затем ряд лет состоял адъютантом при генерал-губернаторе графе Мусине-Пушкине.

Одесса последней четверти 19 века была, по всем рассказам, какой-то левантинской столицей, жившей своей жизнью, без оглядки на далекие Москву и Ленинград. Кругом в своих черноземных имениях сидели богатейшие южные помещики, съез-

жавшиеся в Одессу растратить проданный урожай. По Дерибасовской катились экипажи с нарядными офицерами и дамами в рюшах, турнюрах и оборках; на равных правах с дворянскими, гремели греческие и итальянские имена, и даже караимские и еврейские. Одесский театр будто бы не уступал парижской опере, и Сарра Бернар приезжала в Одессу на гастроли. Что-то, видимо, оставалось от Пушкинской Одессы и Мусин-Пушкин старался походить, как мог, на Воронцова.

Мусин-Пушкин отличал отца и даже взял с собой в длинное заграничное путешествие к балканским дворам, куда он ездил с чрезвычайным посольством объявлять о смерти Александра III-го. Султан пожаловал моему отцу золотую табакерку с прелестной брильянтовой вязью сложнейшего орнамента, служившего гербом старой Турции. Царь Фердинанд⁴, тогда еще князь, — белый эмалевый орден. В Афинах мой отец зацепился за столик, на котором стояли изделия Императорского Фарфорового Завода — подарки королю Георгу⁵ и королеве Ольге — своей длинной саблей, и перевернул столик. Царский презент разбился на мелкие кусочки перед всем эллинским двором, перед грозным графом Мусиным-Пушкиным. Но королева взяла моего отца под свою защиту и ему пожаловали и в Греции высокий греческий орден.

Первый раз мой отец женился двадцати двух лет от роду на Марии Скаржинской, портрет которой висел у нас в деревне: высокий лоб, точеная шея, круглые плечи, ореол золотых завитых волос. На шее — нитка крупного жемчуга.

Брак этот не был счастлив. Много лет спустя в Париже приятель моего отца, тоже одессит, французский выходец Орлай де Карва (?), с птичьим смехом, легкомысленный, несмотря на свои 80 лет, рассказывал мне, что Мария любила моего старшего дядю Эдуарда, и что мой отец ничего не знал, но страдал от ревности.

Она умерла молодой в Cannes и, по всей вероятности, от отравления морфием. Мой отец в отчаянии отнимал у нее шприцы. В последние дни она видела повсюду на простыне чер-

4. Царь Фердинанд Болгарский (1865-1927).

5. Король Георг (1845-1913).

ные, волнующие ее пятна, и вырезывала их маленькими ножницами. От нее остался в кладовой около прачечной огромный деревянный сундук с охапками воланов, страусовых боа и бесконечное количество шелковых розовых, голубых и палевых остроносых туфельек, маленьких, как для Сандрильоны.

Мой отец — веселый, живой, любящий общество, доверчивый к людям, быту и жизни, вероятно, был оглушен Марией Скаржинской, ее любовью, поведением дяди Эдуарда, трагическим умиранием в белой вилле с пальмами на берегу Средиземного моря. Он остался вдовцом с сыном на руках — Борисом⁶, который почти не столкнулся со мной, и которого я видел в детстве всегда мельком — то в кадетском мундире, то во фраке, высокомерного, некрасивого, заносчивого, с аффектированно-неприятным голосом. О нем у нас почти никогда не говорили и мы не спрашивали, зная, что это "крест" для моего отца.

На моей матери мой отец женился по страстной любви — она была красавицей и, вероятно, его потянуло к ней именно ввиду ее "простоты", теплоты, почвенности — и из желания иметь дом, уют, семью, все то, что Мария Скаржинская не сумела ему дать и что всегда так необходимо становится нормальному мужчине после офицерски-светской молодости и в особенности после первой, трагически-неудачной попытки.

Я ничего, повторяю, не знаю о моей матери. Она была из Воронежской губернии, на всю жизнь сохранила изумительный русский язык и знала огромное количество песен и метких народных русских пословиц. Она была красавицей. Я видел портрет моего деда со стороны матери — седая длинная борода, седые брови, простое русское лицо, красивое и благородное. Кем он был — подрядчиком, мелким купцом; когда он умер, знал ли, что его дочь вышла замуж за барина, и в сущности, иностранца? О моей бабушке знал только, что ее звали Параскевой. Так записывала мать на записках, которые подаются в церкви за упо-

6. Борис Сергеевич Штейгер (1892-1938). По сведениям редакции *Н. Ж.*, Б. С. Штейгер был большевиком, работал в органах ВЧК, ГПУ и НКВД и был близок к Г. Ягоде. Когда в 1938 г. Ягода был расстрелян — расстрелян был и Штейгер. — *Ред.*

кой. Что делала моя мать в Одессе, как она туда попала из Воронежа, где она встретилась с моим отцом?

— Из-за меня твой отец не получил камергера, — сказала однажды моя мать. Вообще, она не любила родовую знать и по некоторым ее замечаниям было видно, что в молодости она встречала революционно настроенных студентов в Одессе.

И еще одно ее замечание, нас с сестрой поразившее: — Когда я вышла замуж, я сожгла все тетради со стихами. — Для чего же? — спросила моя сестра. — Какие стихи, когда выходишь замуж, — сказала моя мать и даже покраснела. Было видно, что стихи и мечты о любви для нее были одним и тем же, не-любовными стихи не могли быть, — взгляд, в сущности, очень органичный и верный всему ее существу. Для воронежской русской красавицы Анны брак обрывал мечты — и стихи; она, вероятно, плакала на своем девичнике и вступала в новую жизнь истово и благоговейно. Вообще, в случайных фразах матери, в ее поступках всегда было можно разглядеть как бы второй план: Воронежа, старинного уклада, устоявшегося быта, старинных отголосков народной этнографической биологии.

Тетя... Тетя не была нам никакой родственницей. Маленькая и сухонькая, всегда одетая одинаково: на голове — в комнатах — тончайшая белая косынка, завязанная по-бабьи на затылке (на улице белая косынка заменялась черным шерстяным платком), серое или черное широкое старомодное платье. Острый, с горбинкой нос, тонкие губы, тонкое лицо, — так не подходящее к бабьей ее косынке и ее платкам. Возраста у нее не было, она родилась в 1848 году, и, шестидесятилетняя и семидесятилетняя, бегала как молоденькая и была подвижна и жива не по возрасту.

Есть такая игра: у каждого по очереди спрашивают, кого бы из присутствующих он взял бы с собой в спасательную лодку во время кораблекрушения — в которой остается только одно место. Во время революции и бегства мне судьба буквально задала такой же вопрос, и я, не задумываясь, ответил: Тетю. А рядом стояли моя мать, мой отец, вся моя семья. Единственный человек, которого я любил в жизни чистой, горячей, ненадуманной любовью — была эта Тетя. И взрослым, видя ее во сне, я всегда неутешно о ней плачу.

Тетя была полькой. Ее отец, бедный шляхтич, арендовал

имение у помещиков в Юго-Западном крае, но своим многочисленным дочерям дал шляхетское воспитание. Тетя играла на пианино "Молитву Девы" — у меня падает сердце, когда я теперь слышу порой эти наивные и сладкие звуки моего младенчества (я всегда должен выйти из комнаты). Тетя говорила по-французски наивно и нарядно, как говорят по-французски по уездным городам Польши, Австрии, вообще центральной Европы старые люди, воспитанные еще во французской традиции. Она всегда жила по чужим людям в гувернантках, но и она вспоминала какую-то свою молодость, кавалькады с офицерами, прогулки в знаменитом парке Софиевка в Умани; Умань, Харьков, какую-то важную княгиню Вяземскую, которая ее любила, — у нее тоже было что-то веселое и хорошее в ее молодости.

Мне всегда хочется спасти от забвения и небытия то хорошее и теплое, что было в жизни любимых мной мертвецов и передать дальше, чтобы хоть что-нибудь от их любви и нежности и *им* дорогого осталось и после моей смерти. Это не должно бесследно рассыпаться, мы, ведь, мертвецам обязаны хотя бы этим нашим пониманием.

Тетя не забывала своего шляхетского происхождения, придерживалась строго своей веры, постилась по католическим постным дням, давала понять управляющему и экономке, что она не одного с ними корня и что нам она равная, хотя она и бедная.

Как к нам попала Тетя? Я родился в Смеле (?), маленьком украинском местечке, имении гр. Бобринских, но не у Бобринских во дворце, а в домике сестры Тети, местной акушерки. Зачем моя мать приезжала для моего рождения в Смелу, я не знаю. Очевидно, она знала Тетю и ее сестру еще задолго до моего рождения.

Купания, детская, кормилица с моей сестрой на руках, моя мать, редкие появления моего отца. Полусон раннего детства, ровный, теплый, мягкий, аксаковский. Ни одного резкого звука, ни одной запоминающейся особо картины, варенье в тазиках, которое варит моя мать под деревом, ее спокойный, такой дружеский разговор с Тетей, весь мир: мать, Тетя, несколько дорожек перед домом и ровный теплый сияющий украинский июль.

3. Канев

Женившись на моей матери, отец подал в отставку и поселился в украинском имении. Он вскоре был назначен уездным предводителем дворянства и ревностно отдался земской деятельности и сельскому хозяйству. Он вечно был в разъездах, постоянно наш женский мирок стоял около перрона, а он уже махал нам из коляски, запряженной четвериком рыжих высоких лошадей, в белом кителе с золотыми пуговицами, с орденами, в красной дворянской фуражке.

Осенью мы все переехали в уездный город Канев. Помню сборы, мужиков возившихся с ящиками, потом бесконечную дорогу — до Канева было больше 60 верст, в тесной карете, набитой свертками, баулами, дорожными погребцами.

С трехлетнего возраста воспоминания перестают быть отрывочными. Наш городской дом выходил на четыре улицы, это была поместительная усадьба, сад был запущенный и большой. Жизнь мало чем отличалась от Николаевки, по-прежнему со мной были Тетя, мать, моя сестра, но в доме у нас бывало гораздо больше народа и со мной гости разговаривали сладенькими голосами, желая угодить моему отцу, бывшему первым лицом в городе, и дарили мне подарки.

Меня наряжали девочкой, и я носил длинные волосы, которые вились и причиняли мне немало мучений при расчесывании. Бывало, что дети отцовского письмоводителя допытывались у меня: — Ты мальчик? Скажи, ведь ты девочка?

Я мало задумывался над тем, девочка я, или мальчик, но иногда не без удовольствия, когда у нас бывали дети, сравнивал мое шелковое платье и ленты с нарядами девочек — мое платье и ленты в моих волосах всегда были самыми нарядными. Я играл в куклы с наслаждением. Отец привез нам с сестрой куклы из Парижа, сестре Степку-Растрепку, мне школьника с ранцем, который скоро из школьника превратился в школьницу, потому что Тетя не умела шить штаны. Эта кукла, потрепанная, истерзанная, испачканная была мне дороже всех игрушек многие годы и, тайком от всех, даже двенадцатилетним, я доставал ее из укромного места, куда прятал мою Маришку, чтобы меня не засмеяли, и примерял ей обрывки украденных кружев и цветные лоскуты.

Мой отец и моя мать присутствовали в Киеве в театре на торжественном представлении, на котором был убит Столыпин⁷. Отголоски этого политического события запомнились мне потому, что мать, вернувшись, подарила мне "для Маришки" свою шляпу, которую она сломала и измяла, падая в обморок. Тогда носили огромные шляпы, и Маришке сшила Тетя не одно бальное платье со шлейфом. А кроме того на шляпе еще были птицы, цветы, колосья и даже гроздь крупного винограда.

— Пора его учить иностранным языкам, — решил как-то отец, вдруг заметив, что я в локонах, в платье, с куклой, и как бы удивившись этому: — Отчего ты все играешь в куклы? Посмотри, у тебя такие славные лошадки.

И правда, в детской у меня была целая конюшня деревянных лошадей выше меня ростом, обтянутых жеребьячими шкурами. — Суковкин говорит, что у них скоро освободится гувернантка, они своих мальчиков отправляют в Англию, пригласить ее? А то он все как девчонка, гувернантка ученая, немка, она будет с ними гулять, играть, даст правильное воспитание.

Мать и Тетя взволновались, закричали, просили меня пожалеть. Тетя заплакала и долго меня целовала в тот вечер, так что и я начал рыдать и меня никак не могли успокоить. Разговоры о гувернантке умолкли, но возобновились вскоре, и моя мать, говоря о гувернантке, уже поддерживала отца. Тетя часто плакала, была со мной еще нежнее и, напуганный, я жался к ней чаще, чем к матери, в которой уже не находил прежней поддержки. Я точно предчувствовал, что кончается мое счастливое детство, что гувернантка разобьет мою сонную нирвану, что в нашем теплом, дружном, женском биологическом мирке начнется развал и разлад.

Гувернантка приехала к нам под вечер. Это была остзейская немка, лет тридцати пяти, худая, с бледными волосами, в блузочке с галстуком, ее звали Марта Яковлевна Ульберг. От присутствия нового человека мы с сестрой пришли в величайшее возбуждение и от смущения вели себя как никогда — шумели, кричали, боролись друг с другом, точно желая напугать Марту Яковлевну и заставить ее уехать.

7. 14 сентября 1911 года.

Мать и Тетя успокаивали нас, как могли, немка улыбалась и была потрясена нашим поведением настолько, что, действительно, чуть не уехала, как она признавалась потом.

Начались новые порядки, новые правила, которым я подчинялся с удивлением, но все же подчинялся. Утром нельзя было больше валяться в кровати, за столом надо было есть все, а не только то, что нравится, нельзя было разбрасывать вещи по всей комнате, надо было кланяться, шаркая ножкой и не протягивать первому руку. Немка гуляла со мной по дорожкам сада и пела немецкие песенки. Я тоже пел немецкие песенки:

Konrad, sprach die Frau Mama,
Ich geh' aus, und du bleibst da.
Sei hübsch, ordentlich und fromm
Bis nach Haus' ich wieder komm,

и заговорил по-немецки как-то мгновенно. По-немецки мгновенно залепетала и моя сестра Алла, с которой немка играла в кубики.

Жизнь пошла по расписанию: вставать, чистить зубы, мыться — не только протирать глаза, гулять, петь, плести коврики из бумажек, лежать после завтрака, опять гулять и петь немецкие песенки.

Рождение младшей сестры Лизы⁸ очень упростило поначалу отношения между Тетей и Мартой Яковлевной. Тетя была все время с маленькой, присматривала за кормилицей, шила для нее и купала.

Мои родители были чрезвычайно довольны переменой в детской. Однажды мой отец взял меня за руку и увел в свою уборную, где молча, не предупреждая, в одно мгновение обрезал мне в кружок мои великолепные локоны. Я ахнул, хотел заплакать, но не заплакал, почувствовав холодок и приятную легкость на затылке. Но заплакали мать и Тетя. Тетя опять обнимала и целовала меня в темном коридоре и почему-то быстро оттолкнула от себя, когда в гостиной послышались шаги Марты Яковлевны. А потом я и совсем перестал ходить на девочку — мне сшили

8. Елизавета Сергеевна Штейгер, в замужестве Головина (1912-1974).

штаны и белую матроску, форму в которой я проходил до пятнадцатилетнего возраста.

Мать теперь чаще разговаривала с Мартой, как мы называли нашу немку, чем с Тетей, но ведь Тетя была постоянно занята с Лизой. Немка ей чем-то imponировала, м. б. ученостью, моя мать всегда ценила людей с образованием и уважала дипломы. Она советовалась с ней о платьях, о хозяйстве, мы часто засыпали под их разговор.

Последнее лето в Каневе мы мало видели наших родителей. Из Одессы приехали мой брат Борис и Володя, кузен, сын дяди Николая. Им было уже около двадцати лет, в доме гости бывали не переставая, и Марта Яковлевна водила нас только здороваться и прощаться. Мы проходили через столовую, где стол был уставлен хрусталем и серебром, а скатерть покрыта сплошь черными бархатными анютиными глазками. Володя и Борис распоряжались около закуского стола, и Борис говорил по-французски — по-французски я не понимал, Бориса боялся и стеснялся. Нас быстро уводили, мы засыпали под шум съезжавшихся карет.

Но однажды мне разрешили присутствовать при фейерверке. Это был бедный фейерверк — бураки, свечи, вензеля, но мне он показался ослепительным. В черной ночи сыпались с неба звезды, как настоящие, бил звездный фонтан, и я не узнавал нашего сада, озарявшегося, меркнувшего, потом опять озарявшегося. Как мне хотелось поскорее стать взрослым, чтобы не есть на клеенке в детской, а в столовой на анютиных глазках и каждый вечер устраивать фейерверки, после которых трудно заснуть — закроешь глаза и видишь золотые фонтаны и пальмы.

Нас все же взяли с немкой один раз на "Шевченкову могилу", предварительно объяснив, кто такой был Шевченко. Коляска осталась на берегу, и мы медленно начали подниматься на гору, показавшуюся мне бесконечной. Молодая баба, в украинском костюме, в лентах, карбованцах и монистах показывала нам могилу и провела в хату, в которой висел портрет Шевченко и вышитые ручники по стенам. Отсюда был виден Днепр, роши и широко открывался противоположный низкий берег, полтавский. Мне кажется, что я тогда был взволнован искренно — не Шевченкой, но сознанием того, что меня привели на могилу *поэта*; не самой могилой — никогда до этого меня ни на какую

могилу не водили, — блеском катившегося внизу Днепра, шелестом тополей вокруг хаты, каким-то особенно легким ветерком на горе. Вряд ли это воспоминание приукрашено, и вряд ли на него осели последующие литературные, впрочем, немногочисленные впечатления.

В Каневе к нам приходила швея, почти девяностолетняя старуха, высокая, прямая, аккуратная, в черном платке, которая, несмотря на годы, продолжала еще брать работу. В городе ее звали Шевченковой невестой. Даже девушка, докладывавшая о ее приходе, говорила: — Барыня, Шевченкова невеста до вас пришла. — Мы ее немного боялись, и она нам дарила для игры какие-то удивительные фасолины: лиловые, красные, с пестринкой.

Отца опять почти никогда не было с нами. Он был выбран в Государственную Думу⁹ и приезжал только в перерыв между сессиями. Целый день он сидел у себя в кабинете, или в "присутствии", помешавшемся на той же улице, неподалеку от нашего дома. Я был потрясен его важностью и почтением, с каким все с ним обращались.

Однажды он взял меня с собой на парад потешных, полувойска для мальчиков, в которой состояли все дети нашей прислуги. У отца вся грудь была в крестах и медалях и перед ним проводили строем некрасивых мальчиков, одетых в странную форму. Играл оркестр, мальчики пели и потом делали гимнастику, прыгали друг через друга, бегали в мешках. Им раздавали платки и кулечки с яркокрасными и яркозелеными конфетами, о которых нам всегда говорилось, что их есть нельзя, потому что живот болеть будет.

К зиме начались сборы в Петербург. Мне тоже дали чемоданчик и я месяца за два до отъезда спешно уложил в него мои игрушки, но пришлось распаковывать, потому что без игрушек стало скучно. В день отъезда, когда лошади уже были поданы, я опять раскрыл чемоданчик и вынул из него моего медведя. — Я его оставляю в детской на стуле, — подумал я, — он все равно приедет, его кто-нибудь принесет или привезет. Он не может про-

9. В 1913 году.

пасть, я его оставлю, чтобы он вернулся, пусть случится с ним чудо, чудо не может не случиться.

Меня уже звали. Я взглянул еще раз на истертую медвежьей морду, медведь одиноко и печально сидел на стуле в разоренной и пустой комнате. Кругом кареты уже стояла дворня, провожающие. Никто не нес мне моего медведя. — Ничего не забыли? — спросила моя мать. — Ну, с Богом!

Еще можно было кричать, побежать в детскую. Я заморгал, но не крикнул — чудо должно было случиться. Карета наконец двинулась. — Его, наверно, положили в телегу с чемоданами, — успокаивал я себя, — он ко мне вернется, мне его отдадут на ближайшей станции, где мы будем менять лошадей.

До железной дороги было очень далеко (в Каневе железной дороги не было), мы ехали в карете, запряженной шестеркой, и я перестал думать о чудесах, когда мне разрешили пересесть к кучеру на козлы. Кучер едва держал вожжи — столько их было и никак не мог уследить, чтобы все лошади тянули равномерно. — Эх, лядяшя, — кричал он на левую пристяжную и подогревал ее кнутом, но в это время в передней паре "сдавала" правая, и он тянулся, чуть не падая с козел, чтобы поучить как следует и ее.

Мы ехали целый день и остановились ночевать на постоялом дворе, который держали две сестры, старые еврейки. Еврейки целовали нам руки, умилялись нашей красотой, кружились вокруг нас и угощали фаршированной шукой, которая называлась рыба-фиш.

Подъехала телега с лакеем Авдеем и горничной Мотей, которые везли вещи. — Мишка с вами? — бросился я к ним. — Какой Мишка? — спросила Мотя. — Мой Мишка. Медведь. Игрушка. — Никакого Мишки нет, — сказала Мотя. — Наверно, Марта Яковлевна куда-нибудь его уложила. — Я обмер.

Чуда не случилось, а как я был уверен, что оно должно — не может — не случиться! Я рыдал безутешно и никто не понимал, что причина моих слез более сложная, что я плачу не об одном Мишке. Меня начали уверять, что медведь где-нибудь, наверно, в вешах и найдется, когда все разберут в Петербурге. Мать обещала купить мне нового медведя, еврейки осыпали меня жаркими поцелуями, от которых я отмахивался.

В Петербурге медведя в вешах, конечно, не оказалось. Уступая моим мольбам, написали в Канев, но и в Каневе никто о

нем ничего не знал и его не видели. Случай с медведем был моим первым настоящим и сознательным горем в жизни.

4. Петербург

В Петербурге мы прожили две зимы перед Мировой войной, на лето уезжая в деревню в Киевскую губернию. Петербург потряс меня: ведь Канев был почти деревней, где нас все знали, все нам кланялись, а здесь никто нам не кланялся, никто нас не знал, и наш дом был совсем не самым лучшим в городе. Если в Каневе по улицам катилась карета, то это кто-нибудь ехал к нам, или уезжал от нас из окрестных помещиков. Количество карет сбilo меня с толку, я все заглядывал в кареты, думая увидеть там знакомые лица. Автомобиль я уже знал — к нам приезжал в Канев на автомобиле Суковкин и возил кататься — автомобиль прыгал по рытвинам, толчки были страшные, проселочные русские дороги совсем не были приспособлены для этого странного сооружения, высоко поставленного на колеса, дребезжащего, издававшего острый и неприятный запах бензина. Крестьяне же, завидя нас, сворачивали с дороги в посевы, закрывали бьющейся лошади голову в тряпки и посылали нам вслед ругательства.

В Петербурге было много автомобилей, но извозчики еще держались крепко, им принадлежало большинство. Трамвай меня очаровал, я все просил, чтобы меня прокатали в трамвае. На Каменоостровский еще ходила конка.

Мы жили сначала на Таврической, потом на Захарьевской. Комнаты мне казались маленькими и темными после огромного каневского дома. Утром мы с Мартой провожали отца в Думу и потом шли в Таврический Сад. Фрейлейн Марта быстро отыскала знакомых, таких же балтийских гувернанток как она, и особенно обрадовалась встрече с фрейлейн Эммой, которая прогуливалась каждый день в Таврическом Саду своего питомца Витю в те же часы, в которые гуляли и мы.

Витя был живой мальчик в серой меховой шапке с наушниками, мы с ним говорили всегда по-немецки, т. к. по-русски до обеда нам говорить запрещалось. Один раз он вставил по-русски название какой-то машины, — он очень интересовался машинами — и это меня чрезвычайно поразило: точно бы заговорила

по-человечески вдруг лошадь, или собака. Я совсем не интересовался машинами (а, увы, все куклами, все моей Маришкой), но Витина страсть зажигала и меня и время за немецкой болтовней пролетало незаметно. Прощаясь, я забывал Витю мгновенно, точно его и не существовало.

Иногда к нам присоединялись дети Гучкова, видного думского депутата, в будущем сыгравшего свою роль в революции. Но и игры и разговоры наши были благонравные, однотонные; нас страшно кутали — длинная теплая шуба, черное теплое трико до пояса, snow-boots, шарфы, варежки, так что разбежаться особенно было трудно, сразу бросало в жар и в изнеможение. Алла была еще совсем маленькая, серьезная, насупленная, круглая от платков и мехов, с круглой муфтой. Она чинно выступала рядом с нашими фрейлинами.

Фрейлейн Марта накупила разных педагогических игр и мы клеили из бумаги все более сложные замки и пароходики, лепили уродов из пластилина, плели коврики, и репертуар наших глупых и сладеньких немецких песенок становился все богаче. Тетя возилась с маленькой Лизой и следила за ее кормилицей, которую по тогдашней для кормилиц моде обряжали в сарафан, кокошник и бусы. Улицы были полны такими молочными боярынями с профессионально развитой грудью, чинно несущими в объятьях барских младенцев.

В Петербурге у нас оказалось множество родственников. Нас целовали все новые тети и дяди, но все наши кузены были значительно старше нас и относились к нам с полным равнодушием.

У дяди Анатоля, камергера, женатого на уродливой дочери морского министра Чихачева, было два сына, правовед и паж. Андрей, паж, был на редкость хорош собой, в мундирчике, расшитом золотом. Он как будто чуть меньше презирал нас и мы за это (и за его красоту) были готовы заплатить ему самой пылкой любовью, но не решались и только глядели на него с обожанием. Из их гостиной была видна Нева, Петропавловская крепость, у них в доме все говорили тише, чем у нас, и елка, на которую нас пригласили, совсем не походила на нашу: наша была пестрая, яркая, жаркая, ветки сгибались от украшений, цепей, золоченых орехов, померанцев, пряников, бус. Елку у дяди зажгли еще днем и на ней, кроме ваты и свечей, ничего не

было. Она бледно сияла на фоне огромного окна, Невы и Петропавловской крепости. Кругом такой елки трудно было петь и прыгать. Андрей в шитом мундире и с лицом медали раздавал подарки. Нас заставили петь и мы, смущаясь, спели "Елочка, елочка, как мы тебе рады" и, конечно, "О, Tannenbaum!".

Дядя Анатолий, маленький, худенький, веселый, начал нам было подпевать, но остановился, сконфузившись тоже под равнодушным взглядом некрасивой тети Сони.

У нас почти никто не бывал и мать почти никуда не выезжала, кроме самых близких родственников. Ее глухота не проходила (она почти потеряла слух еще в деревне от сквозного ветра, войдя в амбар, в котором просушивали зерно), и она очень тяготилась своей немощью занимать "столичных" дам и необходимостью следить за разговором при помощи слухательного аппарата — выдвижной роговой черной трубки.

Иногда после завтрака она выходила с нами и Мартой обыкновенно в Гостинный Двор, где у нас глаза разбегались от количества игрушек, огней, толпы. Марта читала нам вслух про мурзилку и мы были в восторге, когда однажды в витрине узнали Доктора Мазь-Перемазь и Индейца. Меня очень прельщали значки разных благотворительных организаций, которые постоянно продавались на улицах. То в пользу гонимых балканских славян (или балканских войн), туберкулезных, инвалидов. Я впервые заинтересовался деньгами — на них можно было купить эти кресты, звезды, медали, но однажды, выпросив у отца два рубля, растерялся и не знал, что с ними делать. Я накупил болгарских значков, — вся шуба была в орденах, — переводных картинок, мурзилку — но денег оставалось еще множество. Я купил деревянную бабу, в которой была другая баба поменьше, а в той — еще баба — так, баб десять; последняя была микроскопическая бабенка — неизвестно для чего, только чтобы истратить деньги. Но деньги еще оставались.

Назад мы возвращались на извозчике. Рано темнело, и город зажигался бесконечными огнями. Невский Проспект был в сплошном сиянии. Это так казалось тогда; вероятно, освещение Петербурга в 1912 году было более чем скромным по сравнению с огнями Елисейских Полей и Place de la Concorde в нынешнее время. Мы сидели в санях, завернутые мехами по глаза, снег от копыт лошадей летел мимо нас и всегда попадал в лицо, навстре-

чу бесконечным потоком неслись другие сани, кареты, вейки, на лошадях были длинные нарядные шелковые сетки, темносиние, зеленые, темнокрасные. Однажды мимо нас промчались сани с Андреем, кутавшимся в бобровый воротник:

И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Именно в эти годы Петербург переживал свой последний расцвет, был особенно блестящ, и утончен, и беспокоен — перед своей гибелью. В Бродячей Собаке сидела Анна Ахматова, Мандельштам; на Сергиевской, в доме Мурузи, принимали по воскресеньям Мережковские; жил, дышал и писал Александр Блок. Я отдал бы половину моей жизни за то, чтобы мне в 1912 году было не пять лет, а хотя бы семнадцать, чтобы я тоже мог ходить в Бродячую Собаку, пить чай у Мережковских, сознательно переживать последние дни этого обреченного и удивительного города.

Но в половине восьмого нас уже укладывали в постель, Марта еще полчаса читала про мурзилок и потом тушился свет. Единственным отголоском литературной петербургской жизни сохранились в памяти удивленные рассказы отца и матери, попавших однажды случайно на какое-то футуристическое собрание. — У них в петлицах морковь, — рассказывала мать, — на лице рисунки, а самый главный в желтой кофте, и кривляется и кричит.

На Захарьевской наши окна выходили на Конногвардейские казармы. В дни парадов мы не слезали с окон, любуясь лошадьми. Формы императорской гвардии действительно прекрасны. На улицах, не обращая внимания на шип фрейлейн Марты, я часто бежал за уланами и гусарскими офицерами, забегал даже вперед, чтобы лучше рассмотреть их каски с орлом, султаны, эполеты. Особенно мне нравилась уланская парадная форма: белый мундир, блестящий колет, летящий орел на сияющей каске. Уланские офицеры были похожи на северных римлян, они символизировали острее всего ту величавую, холодную и м. б. пустую игру в империю скифских мужиков, которая велась Петербургом два столетия и окончилась в крови и грязи.

Около Александровской колонны еще стояли гренадеры в меховых шапках, дряхлые бородатые старики, они вымирали

один за другим, но крепко держались за полковую честь и за привилегию охранять ангела и колонну. Я нерешительно подходил к старикам, у них глаза были красные от ветра и мороза и немного боялся их косматости — шапок, бород.

Царь жил в огромном длинном дворце со статуями на крыше. Проезжая мимо дворца, я всегда жадно смотрел на окна, — что, если подойдет Цесаревич, фотография которого в белой матроске, такой же как и у меня, висела в детской. Но Цесаревич в это время лежал в своей белой кровати, истекая кровью и заводил свои прекрасные и недетски печальные глаза на странного, по-оперному разодетого мужика, которого, отчаявшись в докторях, приводили к нему с черного хода в огромный дворец со статуями на крыше.

Однажды, на Невском, когда мы гуляли, произошло движение; какие-то люди отодвигали толпу, собравшуюся мгновенно. Нас затолкали, но потом усатый городовой в медалях сказал: — Пропустите барского ребенка! — и я очутился на краю тротуара: мимо уже неслись сани и в них сидел, прикладывая руку к козырьку, офицер с русской бородой в старой шинели, в белых перчатках. Раздалось "ура". Я долго не мог опомниться, узнав, что это проехал Царь, все хотел бежать за санями, чтобы лучше увидеть, но был разочарован тусклостью царского наряда — ни короны, ни мантии, ни державы в руках. Уланские офицеры были гораздо наряднее царя.

5. (Николаевка)

Я всегда сходилась со странными и оригинальными людьми. В них было всегда что-нибудь особое, непохожее на остальных, яркое и интересное. Летом 1917 года наше имение было сдано в аренду. Мой отец оставил только усадьбу и парк. В домике управляющего поселилась семья Волковых. Волков заведывал делами нашего арендатора. У него было два сына. Старший ничего особенного из себя не представлял, с младшим, Володей, я скоро подружился. Володя, не знаю сам почему, часто бывал со мной, разговаривал, ходил гулять, несмотря на разницу в годах — ему было тогда 18 лет, — считал меня равным себе и не выставлял на вид своего старшинства. Он был картинно хорош собой. Бледное, тонкое, породистое лицо, по

временам — легкий, нежный румянец, длинные, почти до плеч, кудри. Одевался он очень оригинально. Иногда в живописный малороссийский костюм, большей частью — в черную, шегольскую бархатную куртку с огромным белым отложным воротником. Наряду с замечательной тонкостью и чуткостью, он часто показывал, даже бравировал своими отрицательными качествами. Мягкий, порой сентиментальный, он бывал иногда жесток до садизма. Я обожал его, обожал со всем пылом впечатлительного, рано развившегося и нервного десятилетнего мальчика. Володя был художник. Возможно, что именно он привил мне любовь к искусству, к живописи, к старым картинам, к пожелтевшим, вычурным гравюрам. Их много было у нас в библиотеке.

Володя держался почти со всеми дерзко и заносчиво. У нас его не любили. Говорили, что он развращает меня, что меня портит его влияние. Он делал все, чтобы укрепить это мнение. Временами в нем просыпался какой-то злой дух, который толкал его на разные безумства. Помню, как он застрелил моего шенка, повесил его на куст жасмина и, как ни в чем ни бывало, привел меня к пруду и показал мне эту картину. Вероятно, я вышел из себя и наговорил ему много неприятного. Но не прошло и трех минут, как я уже не мог сердиться. Его чарующая улыбка, его раскаяние, наверно, искреннее, заставили меня забыть злополучного шенка и снова мы стали неразлучными друзьями. Проходила неделя, и опять разыгрывалась буря. Опять или Володя сам, или кто-нибудь из дворни говорил мне о новой жестокости. То о перерубленной топором пополам кошке, то о молодом вороненке, брошенном в работающую молотилку. Но улыбка, взгляд, голос Володи делали из меня безвольное создание и упреки замирали у меня на губах. Чем кончил Володя? Мы скоро уехали и я потерял его из вида. Если он остался жив, то, вероятно, забросил свое призвание, ударился в садизм и работает где-нибудь в Чрезвычайке... Другого выхода для его обаятельной, талантливой, но неуравновешенной природы не было. Насколько помню — тогда это проходило мимо ушей — он всегда смеялся над моим преклонением перед Императорской фамилией и во время февральских дней стрелял в кого-то на улицах Звенигородки. Не помню только, в жандармов или в кого-нибудь другого. В Бога он не верил. Глумился над религией. Весь он

был сплошное противоречие, смесь тонкости и жестокости, грубости и ума, ненависти и сентиментальности. Со мной бывал иным, чем с другими. Он говорил, что со мной он только бывает искренним. Дружба с Володей была моей первой глубокой привязанностью.

6. Отъезд из России в 1920 году. Английская эвакуация 25-го февраля 1920 г.

Я проснулся от шума и суматохи, царящей в комнате. Весь вчерашний вечер шла спешная укладка и сегодня, несмотря на шесть часов, она возобновилась. Со стороны предместья Одессы, Большого Фонтана и Аркадии раздавались отдаленные, заглушенные выстрелы.

Несмотря на то, что бой, очевидно, шел довольно далеко, ясно можно было различить уханье полевых орудий, где-то поблизости гремел по мостовой грузовик, слышались гудки автомобилей и мотоциклетов. Город жил тревожной жизнью слухов, никто не верил ни оптимистическим успокоениям газет, ни обращениям властей к населению. Еще накануне сообщали из "достоверных источников" и от "собственных корреспондентов", что неприятель в ста верстах от города, что эвакуация проведется планомерно, что будут вывезены все желающие, все, кому бы грозила малейшая опасность при новой власти¹⁰. Правительственный официоз прибавлял, что это, собственно, не эвакуация даже, а простая разгрузка, ввиду недостатка продуктов. Это говорилось и писалось вчера, а сегодня уже бой был слышен не дальше, как в пяти верстах от Одессы. Весь город был разделен на районы, названные буквами алфавита, причем каждый день объявлялось, какая буква грузится на суда. Наша буква была одна из последних, по расписанию сегодня должна была эвакуироваться С или Д. Однако, канонада и какая-то особенная нервность, заметная на улицах, передалась и нам. На всякий случай

10. Опасность для семьи Штейгер (не упомянутая поэтом) была особенно велика из-за того, что это был их *второй* выезд из России. В первый раз отец поэта, С. Э. Штейгер, уехал с семьей из Одессы в Константинополь в 1919 г. Но, руководимый любовью к Родине и лояльностью Белому движению, он, по поручению генерала Деникина, вернулся с семьей в Одессу.

укладывались последние вещи, завязывались сундуки и корзины. В восемь часов, когда улицы как-то странно опустели, а выстрелы смолкли, мы с матерью вышли узнать, в чем дело и попытаться купить свежих газет. Стояла жуткая тишина, изредка прерываемая шумом опускающихся штор; закрывались магазины. Дома запирались тяжелыми болтами. Кое-где даже были закрыты ставни. Против нас были казармы какого-то полка. Там тоже было пусто. Наконец, мы увидели какого-то офицера, торопливо отдававшего приказания маленькой кучке солдат. Мы направились к нему. — Что случилось, — спросил я, — где идет бой? — Вы ничего не знаете? Одесса оставляется последними войсками. Красные повели наступление, и мы принуждены спешно отступать. Если вы хотите ехать, торопитесь! Каждая минута на счету!

Мы бросились домой и сообщили ошеломляющую новость. Одесса отдавалась без сражения, несмотря на десятки тысяч войск, находившихся в ней. Весь порядок эвакуации был нарушен, спеша, уходили, направляясь в порт, последние части, начались грабежи и поджоги. В городе нельзя было оставаться ни одного часа.

К 12 часам дня ожидалось вступление передовых красных войск. Мой отец решил спуститься в порт и ехать на первом же пароходе. Визы и разрешения, полученные с громадным трудом, были уже готовы. Я отправился искать автомобили или извозчиков. Ни того, ни другого не было. С трудом мне удалось достать двух грузчиков с огромными тачками, куда с трудом, но все-таки было возможно уложить наши вещи. Деньги сразу упали, ничего нельзя было достать. За две тачки запросили неслыханную цену, 50.000 рублей. Пришлось согласиться. Жизнь была дороже денег. Вещей у нас было очень много. Больше двадцати чемоданов и корзин. Их с трудом разместили на тачках. Грузчики торопили идти. Выстрелы раздавались ближе, где-то трещали пулеметы. В последнюю минуту, узнав о нашем ускоренном отъезде, прибежала нас проводить знакомая сестра милосердия, графиня М. Все сели по русскому обычаю на одну минуту, потом начали прощаться. Слуги, остающиеся в Одессе, с которыми пришлось расставаться, не имея возможности везти их за границу, плакали. Плакали и моя мать, сестра милосердия, фрейлейн. Никто не знал, что его ожидает в ближайшее время, и

это неизвестное будущее казалось таким тяжелым и страшным.

”Идем”, — сказал мой отец. Мы вышли из дома и пошли по притихшим улицам. Нас было очень много. Впереди две тачки с горой вещей, за ними графиня, фрейлейн, мои две сестры, моя мать с горничной, шедшей нас проводить, и я. Шествие замыкал мой отец с маленьким семилетним братом, только что вставшим после воспаления легких, на руках. Я остановился на углу и бросил последний взгляд на дом, где мы жили. Позже из газет мы узнали, что в нем — Чрезвычайка. Попытки и допросы велись в нашей квартире...

Чем ближе к порту, тем более оживлялись мертвые улицы. По спуску в порт неслись грузовики с вещами, автомобили, кареты с ранеными, в беспорядке шли пехотные части, везли уцелевшие орудия, походные кухни и танки. Изредка скакали казаки с какими-то повязками на шинелях и с длинными пиками в руках. Довольно широкая улица была запружена народом. Из всех переулков в нее вливались сплошной массой другие толпы, и все это, гремя железом, шумя колесами и громко крича, старалось достичь единственной цели: спуститься в порт.

”Держитесь все ближе друг к другу”, — приказал мой отец. Мы сгруппировались вокруг тачек и минут через двадцать были в порту. Там царил тоже хаос. Суда, стоящие у берега, брались с бою. Команды, охраняющие их, и солдаты были бессильны справиться с обезумевшим стадом людей. Пароход, на котором мы должны были ехать, по слухам (никто ничего достоверного не знал) стоял с левой части одесского мола. С трудом пробираясь в толпе, мы двинулись туда.

Стояли сильные морозы. Порт замерз и маленький ледокол прокладывал дорогу большим пароходам. Погода была чудная. Яркое солнце сверкало и искрилось на белом снегу и на глыбах зеленого льда. Я шел рядом с отцом. Вдруг брат меня дернул за рукав, с любопытством разглядывая что-то, лежащее под телегой в трех шагах от нас. Я взглянул и отвернулся. Это был полуголый труп китайца с зияющей раной на лбу и страшно оскаленными зубами. Никто особенно не удивился. Все привыкли к таким зрелищам. Смерть перестала пугать, многим она казалась избавительницей от страшных физических и моральных мучений этой жизни. Чувства притупились...

По правую сторону мола было море с маленькими точками кораблей, раньше ушедших на рейд, по левую — скованный льдом порт. У берега стояли пароходы. Вдруг кто-то с Рио Падро (?) окликнул нас. Это была наша знакомая, княгиня Б. с дочерью. "Горопитесь, — кричали они, — вы на чем едете?" — "На Рио Негро, Триестинского Ллойда". Мой отец подошел к какому-то генералу, заведывавшему погрузкой военных и раненых, и спросил его, где стоит наш пароход. "Рио Негро? Он ушел на рассвете". — "Как? На рассвете?? Он должен был идти через три дня?" — "Не мешайте, пожалуйста! Чего вы пристааете?" — кричал генерал, которого буквально разрывали со всех сторон на части. "Как началась бомбардировка, так и ушел!" Мой отец подошел к нам. "Парохода нет, — сказал он, — испугавшись выстрелов, он пустился в море!" Мы были в отчаянии. Постараться с нашим багажом попасть на другие суда не было никакой возможности.

Между тем красные со стороны Ланжерона входили в город. Ими были тотчас же заняты Александровский парк и прилегающие к нему улицы, откуда был отлично виден порт, устанавливались пулеметы. Ровно в 12 часов дня начался обстрел. Пули не долетали, но паника произошла неопиcуемая. Люди совсем потеряли самообладание и штурмовали суда. Смятение и ужас увеличились, когда капитаны иностранных судов, боясь выстрелов, прекратили доступ пассажиров и почти пустыми стали отходить от мола. Сильно пеня воду, прошел гигантский Рио Падро. На палубе стояла княгиня Б. и махала платочком.

Мы были в полном отчаянии. Порт быстро пустел. Пароходы один за другим выходили на рейд. Толпа кричала и бесновалась. Паника сделалась всеобщей. Пулеметы трещали. Это были ужасные минуты. Откуда-то подошла и причалила к берегу маленькая моторная лодка. В одну секунду около нее была толпа. Лодочник-грек торговался. Он мог взять только двух пассажиров. Толпа набивала цену. Стоило одному предложить 10.000 франков, как другой давал 12.000. Цена быстро поднималась. К лодке протискался бледный господин с дамой. Вешей у них не было. Она прижимала к себе туго набитую сумочку. "Сколько?" — спросил он. "100.000". Толпа ахнула. Через минуту лодка взяла двух смелых путешественников и уходила в море...

Оставшиеся бросились к маленькой "берте". Но она была уже переполнена и, отдав канаты, отошла от берега. На ней ехал цвет одесской спекулянтской аристократии, заплатившей безумные деньги.

У мола оставалось три парохода. Большой транспорт "Владимир", где помешались власти и часть войск, американское госпитальное судно и еще один пароход. Мы бросились к последнему. Трап был спущен. В толпе мы встретили баронессу Н. с ее компаньонкой и дочерьми. У нее тоже был огромный багаж, сваленный около трапа с автомобиля. Баронесса была в полном отчаянии. Вещей не брали. Она не решалась бросить на произвол судьбы свое имущество. "Торопитесь, — кричал ей сверху капитан. — Сейчас убирают трап". Баронесса ахнула, метнулась от парохода к вещам, от вещей к пароходу, остановилась на секунду, махнула рукой и стала подниматься по трапу. Трап подняли. Пароход стал тихо отходить от берега...

Мы не решались еще расстаться с багажом и ходили от парохода к пароходу. Их осталось только два. Американский и "Владимир". Последний уже никого не принимал и стоял, ожидая ледокола, чтобы идти в море. Моя мать подбежала к госпитальному судну. "Возьмите нас, — умоляла она, — ради Бога, возьмите!" — "Мы берем только женщин и детей!" — был ответ. Моя мать упала на колени. Офицер пожал плечами и отошел от нее. Пришлось покориться общей участи с другими несчастными и ожидать терпеливо неизвестности.

На молу было какое-то помещение для товаров. Мороз делался крепче. Был сильный ветер. Остаться на воздухе с больным маленьким братом было невозможно и мы постарались укрыться в складе. Там было уже много народу. Грузчики сгрузили наши вещи в углу и потребовали платы. Отец дал им 60.000. Но они требовали еще. Поднялся крик и шум. Сестра заплакала. С трудом сошлись на ста тысячах...

Положение было ужасное. К двум часам дня пронесся слух, что город уже весь во власти коммунистов. Незанятыми ими оставались только порт и мол. Силы красных увеличились. Усилился обстрел.

Я вышел из склада. Паника увеличивалась. Люди, окруженные с трех сторон водой, а с четвертой — неприятелем, металась, как звери в клетке. Женщины бились в истерике. Передава-

ли, что один офицер застрелил свою молодую жену, потом себя. Некоторые по льду пытались бежать за пароходами, скользили, падали, опять вставали, бежали и проваливались под лед. Самоубийства не прекращались. Трупы валялись на снегу. Их никто не убирал. Выстрелы становились слышной. Из порта толпа в панике устремилась на мол. Порт защищала геройская кучка солдат, мальчиков-кадет и юнкеров. Спасения ждать было неоткуда. Не было никакого сомнения, что это сопротивление было бесполезно. Мы все были обречены на страшную смерть.

Стал отходить "Владимир". Толпа бросилась на него. Вдруг близко послышались выстрелы. Это стреляли с "Владимира"! С дикими воплями все бросились от него. Выстрелы были холостые, но один звук их увеличил и без того неопишемую панику. "Владимир" ушел в море.

Мы остались одни во власти слухов. Говорили, что еще подадут пароходы, что спасут всех. Никто никому не верил. С тупым, безнадежным видом люди слонялись по снегу или заходили греться в холодные склады. Всюду валялись горы брошенных чемоданов и корзин. Их никто не трогал. Они никому больше не были нужны. Над молом стоял страшный призрак смерти. Я вернулся в склад. Все были в ужасном, подавленном состоянии. Ни сестра [милосердия], ни горничная не могли больше пробраться в город. Графиня очень беспокоилась, она ушла из дому, не предупредив мужа. В большой холодной пустой комнате было много народу. Некоторые, расположившись на своих вешах, закусывали. В углу на полу, на шинелях, один около другого лежали тифозные. Сюда же приносили легко раненых из порта. Молодая сестра милосердия вместе с санитаром с трудом внесли офицера, раненого в грудь. Через час он скончался и его вынесли из склада...

Узнав нашу фамилию, старушка-сторожиха позвала нас греться к себе. Она знала моего дядю, служившего в Добровольческом флоте. Было тепло и уютно. В маленькой комнате, жарко натопленной, мы смогли снять шубы и немного прийти в себя. Темнело. Выстрелы не прекращались. На рейде мелькали огоньки ушедших судов. Все устали от волнения и ужасов. Медленно ползли часы. Все знали, что у героев, отстаивающих нас, снарядов хватит только на несколько часов. Ночью должны ворваться большевики и перебить всех нас. От этой мысли холод

пробежал по коже. Моя мать, почти без чувств, лежала на корзине. Графиня и фрейлейн хлопотали около нее.

В восемь часов внезапно раздалась какая-то тревога. "Большевики!" — вскрикнула дико какая-то дама и упала на пол. Все вскочили со своих мест, давя друг друга. Началась страшная паника. К счастью, все объяснилось очень просто. Полковник Стессель и Мамонтов предлагали желающим идти с ними, пробиваться в Румынию. Тут же вертелась жалкая фигура Шульгина, добровольно ездившего в Могилев вынудить у Государя отречение. Некоторые присоединились к ним. Моя мать умоляла отца идти в Румынию. "А как же ты? — спросил он. — Дети не могут идти! Мы остаемся". Отец ни за что не соглашался бросить семью. Мать плакала и молила его идти. К счастью, отец не согласился. Большинство пошедших было перебито большевиками, замерзло в пути или было выдано румынами большевикам. Только некоторым из них удалось спастись.

Склад и сторожка стали свободнее, но все-таки на молу оставалось *не меньше двух тысяч человек*. Большинство было женщин, раненых, тифозных и детей. Паника вспыхивала по каждому ничтожному поводу. Плач, крики, стоны и бред больных не прекращались ни на минуту. Ночь шла. Никто не знал, сколько может продлиться этот кошмар.

Ровно в 12 часов дверь сильно распахнулась. На пороге стоял английский офицер. "Женщины и дети за мной! — скомандовал он. — Без вещей!" Поднялась суматоха. Моя мать с каменным выражением сидела, не двигаясь с места. Теперь наступила очередь отца умолять ее ехать. Офицер подошел к ней, предлагая ей ехать. "Не поеду, — твердо ответила она, — без мужа я не двинусь с места!". Англичанин толкнул отца к выходу. Это означало разрешение ехать. Все бросились за ним. Никто не думал о вещах. Они все остались на произвол судьбы. Сестры выбежали без шляп. На сборы не было дано ни одной минуты.

Мы вышли на воздух. Выстрелы не прекращались. Толпа, как лавина, катилась к краю мола, где стоял пришедший за нами ледокол. Люди давили друг друга. Меня кто-то сильно толкнул, и я упал на брошенные проволочные заграждения, впившиеся в мою шубу. Я начал кричать, не имея силы высвободиться одному. Мой ужас увеличивала темнота, изредка прорезаемая

щупальцами прожекторов. Какой-то матрос протянул мне руку и я, оставив полшубы в проволоке, присоединился к своим.

К ледоколу, могушему взять не больше ста — ста двадцати человек, вела узкая, шириной в поларшина доска. Ледокол не мог пристать к берегу. Идти было очень трудно. Узкий, обледенелый трап без перил. У меня дух захватило, когда я вступил на него. Внизу была холодная, ледяная вода. "Торопитесь!" Я перебежал трап. Скоро там соединилась вся наша семья. С нами прибежали графиня и горничная, неся кое-какие вещи. Они думали, что принесли чемоданы с серебром. Велико было разочарование, когда там оказались летние платья. Все серебро, старинные вещи, картины, платье и белье были брошены. На берегу остались 22 сундука. Мы были нищие, но об этом никто не думал. Мы были рады, что удалось спастись. Графиня и горничная, наскоро с нами простившись и пожелав счастливого пути, двинулись к трапу обратно. Дорогу им преградил солдат с винтовкой. "Приказано никого не спускать на берег!" Они попытались объяснить, что пришли только проводить знакомых, что не намерены ехать за границу, что в Одессе у них остались семьи... Солдат ничего не слушал и твердил, что это не его дело. Обе бросились к капитану ледокола. Он успокоил их, пообещав, когда выгрузит беженцев и поедет за следующей партией, спустить их на берег.

Толпа штурмовала ледокол. Он наполнился в одну минуту. Раздалась команда, и мы тихо двинулись вперед. Ледокол взял только ничтожную часть бывших на молу, обещая вернуться за остальными (это обещание никогда исполнено не было). Происходили душераздирающие сцены. Вот мать, как сумасшедшая, с дикими криками ищет своих детей. Она потеряла их в суматохе. Они остались на берегу... Вот девочка, заливаясь слезами, рассказывает обступившей ее группе людей — она потеряла отца. "Чудо, что мы все вместе, — говорит моя мать. — Слава Богу, все живы. А что вещей нет, и не надо. Даст Бог, будут опять. Сейчас без них даже удобней". Вдруг раздаются громкие рыдания моей младшей сестры Лизы. "Мими, моя Мими, — повторяет она, — где моя Мими?". Старая, обтрепанная общая любимица осталась большевикам. Бедная Лиза горько оплакивала свою любимицу.

"Шкуна. Красная шкуна", — испуганно раздаются голоса.

Огни потушены. Дан полный ход. С левой стороны на нас надвигается какая-то таинственная шхуна. Мы быстро уходим от нее. Вдруг снова смятение. Остановка. Это с какого-то катера сгружают орудие. Одна винтовка упала. Раздался выстрел. Паника. Но англичанин капитан в несколько секунд восстанавливает дисциплину. Мы на рейде. Повсюду мелькают огоньки стоящих на якоре судов. Проходим мимо английских дредноутов. Раздаются сильные орудийные выстрелы. *Это английский флот бомбардирует Одессу.* Вспыхивает, очень близко, совсем близко от нас. Снаряды несутся над головами. В городе кое-где пожары. Бомбардировка усиливается. Десятки судов принимают в ней участие. На ледоколе стихло. Так ужасна картина обстрела иностранным флотом русского города!

Больше часу мы колесим по рейду. Американское госпитальное судно взяло раненых. Какой-то транспорт — солдат. Беженцев никто не хочет брать. Они никому не нужны. Холод. Мороз усиливается. Прожекторы изредка освещают берег. Что там происходит? Что происходит в городе, брошенном на волю опьяненных победой красноармейцев и чекистов?

Мы остановились около русского наливного парохода "Баку". Капитан "Баку" и капитан ледокола переговариваются в рупор. Пассажиры с надеждой прислушиваются к их словам. Раздается команда. Взяли. Мы причаливаем к маленькому катеру, стоящему рядом с "Баку". Бросают доски. Качка ужасная. Катер ныряет, бьется бортами и подозрительно трещит. Графиня и горничная бегут к капитану. "Вы вернетесь назад?" — "Нет! Я не имею возможности. Идет бой, — отвечает он. — Поезжайте за границу, а там видно будет...". Мольбы не помогают. Заливаясь слезами, обе несчастные карабкаются следом за нами по скользкому трапу. У одной остался муж, у другой — семья... Мы на "Баку".

"Слава Богу, — говорит моя мать, — слава Богу". Силы оставляют ее, и она падает на руки отца. Некоторые плачут от радости. С графиней истерика, горе ее так велико.

Анатлий Штейгер

СОВЕТСКИЕ ВУНДЕРКИНДЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

У меня нет оснований утверждать, что советские дети тридцатых годов доставляли особую радость своим родителям. Тяжелые бытовые условия жизни в тесной комнатухе по-своему отражались на воспитании детей и доставляли немало хлопот и неразрешимых проблем. К тому же и советская школьная система была явно нацелена на подрыв авторитета родителей, на создание искусственного конфликта. Да и где было родителям выкроить время на воспитание своих чад! У отца рабочий день был целиком во власти службы — то производственные совещания, то партийные собрания. А еще так называемые "сверхурочные часы"! Любой руководитель предприятия мог заставить своих подчиненных остаться на службе до полуночи. И все это — безвозмездно. Выходной день также не принадлежал семье. То в воскресенье объявляли "субботник", то давали различные общественные поручения. Попробуйте отказаться! Тогда вас объявят антиобщественным элементом, а в характеристике напишут всякую ерунду. А кому хотелось быть объектом "проработки" на собрании?

Личная жизнь считалась буржуазным предрассудком. Припоминаю анекдот того времени. Молодая женщина попросила освободить ее от присутствия на открытом партийном собрании, ссылаясь на своего грудного ребенка, которого надо кормить молоком. При всей своей грубости и невежестве, партийный руководитель был вынужден посчитаться с этим обстоятельством и публично объявил собравшимся, что такой-то сотруднице разрешается покинуть собрание в целях "кормежки"

грудного младенца собственной грудью. Собрание единодушно постановило удовлетворить просьбу. Другая сотрудница обратилась с просьбой отпустить и ее, она назначила свидание с молодым человеком, и если она не явится вовремя, он ожидать ее не станет. У него нет телефона, и она не знает, где он живет. Он может обидеться и не будет ее больше искать. Получалась сложная проблема. Девушка настойчиво просила отпустить ее с собрания, на котором изучались очередные "труды" товарища Сталина. Парторг собрания грубо ее спросил: "А что, ты тоже нагуляла ребенка?" Со слезами на глазах, девушка ответила: "Если вы меня сейчас же не отпустите, у меня никогда не будет детей".

Если молодым девушкам еще как-то удавалось уйти с собраний "по семейным обстоятельствам", или громогласно объявляя, что в таком-то магазине дают колбасу или селедку, и она уже заняла очередь, то совсем в ином положении оказывались мужчины. Они должны были проявлять общественную и политическую сознательность и непременно присутствовать на разных собраниях. Семьи испытывали материальные трудности, и матерям надо было подрабатывать. Словом, дети не имели родительской ласки и это способствовало их отчуждению. Где уж тут говорить о любви к родителям!

Призрак "легендарного" Павлика Морозова способствовал появлению домашних предателей. Безо всякой жалости, некоторые дети были способны оклеветать своих родителей, желая прослыть в школе настоящими пионерами и героями. Взаимного доверия между родителями и детьми никак не получалось. Наоборот — прививалось полное недоверие. Вспоминается мне одна московская семья из восьми душ — бабушка, мама и папа, три дочери и два сына. И все ухитрились помешаться в одной небольшой комнате. Одного из членов семьи, мальчика лет 7-8, в школе решили проэкзаменовать на религиозные темы. Важно было выяснить, насколько дети проникнуты религиозными чувствами. В школе сидела специальная комиссия, состоявшая из видных ученых Академии Педагогических Наук. Мальчику задали вопрос: "Что такое домовой?" Он преспокойно ответил: "Это наш управдом". Был задан вопрос: "Что такое нечистый дух?". Мальчик без запинки ответил: "Это когда в нашей ком-

нате просыпаются после ночного сна". Словом, его ответы вполне соответствовали атеистическому духу, в котором стремились воспитывать подрастающее поколение.

Дети учились отлично разбираться в сексуальных проблемах. Хотя их родители и уставали от невыносимых условий жизни, все же природа остается природой. Особенно, если родители — для храбрости — выпивали по большой кружке водки. Где уж там говорить о маленьких рюмках! Ими и не пользовались. Даже стаканы тогда считались предметом роскоши и в быту пользовались жестяными кружками, в лучшем случае — эмалированными. Дети невольно усваивали уроки сексуальной жизни на практических примерах, дома. Если учесть, что после школьных занятий дети проводили значительную часть дня на улице, то можно себе представить, какие игры они себе позволяли. Так, в семье одного знакомого инженера 12-летняя дочь была уже матерью. Какая уж там игра в куклы! Иные девочки охотно шли на сожительство с разными дядями, только чтобы получить от них плитку шоколада или возможность ощутить человеческое тепло, которого им не хватало в родительском доме. Но все это — предмет особых исследований.

Мне хочется рассказать об одном исключительно талантливом мальчике, у которого с детства развилась любовь к музыке. У него был прекрасный музыкальный слух. С завистью он рассказывал родителям про одну девочку, у которой в комнате стояло настоящее пианино. Он часами простаивал под ее окном. Со слезами он умолял родителей купить ему пианино. Но разве скромный бюджет семьи мог позволить такую невыносимую роскошь? Да еще попробуйте в советскую жилищную клетку втиснуть пианино! Даже для виолончели места не найдется. Ну, а скрипку можно хотя бы положить на кровать. Но скрипка стоит дорого. Мальчику оставалось только петь или насвистывать где-то услышанные красивые мелодии.

Петь он мог сколько душе угодно. В пионерском отряде пели. Пели про Павлика Морозова. Пели массовые революционные песни, вроде "Нас побить, побить хотели" — на стихи Демьяна Бедного. Дети не знали происхождения этих стихов и чему они были посвящены, в политике разбирались довольно примитивно. Но насчет "побить хотели" понимали по-своему —

подобное встречалось и в школе, и на улице, и в семье. Музыкальное образование детей ограничивалось подобными песнями. Одни пели фальшиво, другие верно. Но в общем хоре все сходило. На одаренных детей никто не обращал внимания. Так было загублено много музыкальных талантов.

И все же доходили слухи о появлении талантливых скрипачей или пианистов. Кому-то повезло. И еще — в газетах появлялись фотоснимки малолетних виртуозов, которые выступали со своими концертами. Снова всплыло слово "вундеркинд". Но тут же газеты поспешили оговориться, что в буржуазных странах "вундеркиндов" нещадно эксплуатируют, выкачивают из них все жизненные соки во имя прибылей — никакой заботы о ребенке, только забота о чистогане. А у нас, мол, дети окружены вниманием и заботой партии и правительства, и им создают счастливое детство. И вообще: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

Малолетних музыкантов в начале 30-х годов уже приучали разбираться в репертуаре. Про одних композиторов говорили, что они сочиняли ценную для пролетариата музыку, которая гармонировала с идеями классовой борьбы. О произведениях других композиторов говорили, что они чужды пролетарской массе, не мобилизуют ее на борьбу. Одно время, например, не разрешали играть произведения Рахманинова. В начале 30-х годов еще давала о себе знать музыкальная мода НЭПа. Непослушные детки подбирали мелодии модных танго и фокстротов, бытовых романсов, вроде "Кирпичиков" и "Гопа со смычком", блатные песенки.

Пролетарские музыканты и их идеологи приходили в ярость. Детям талдычили про буржуазную музыку. Но толком объяснить, что это такое не могли. Да и зачем объяснять?

Невольно вспоминается профессор Московской Консерватории Федор Федорович Кенеман, блестящий пианист и талантливый композитор. Был в дружбе с Федором Ивановичем Шаляпиным, одно время аккомпанировал ему. Для Шаляпина он сочинил балладу "Как король шел на войну" и обработал народную песню "Эй, ухнем". Помню, на одном открытом партийном собрании профессор Кенеман наивно спросил: "Очень прошу вас мне толком разъяснить, что это за понятие "буржуазная

музыка". Вот, сколько лет живу на свете, многое понимаю в музыке, а это понять никак не в состоянии. С какой ноты начинается эта буржуазная музыка? В какой тональности?". Раздался дружный смех. Профессора обвинили в политической несознательности.

После Октябрьского переворота множество знаменитых русских музыкантов оказалось в эмиграции. А к оставшимся на родине проявлялось заметное пренебрежение. Заставляли давать концерты для пролетарской аудитории на фабриках и заводах, в солдатских клубах. В иных "дворцах культуры" были разбитые рояли, да еще и изрядно подвыпившие слушатели. Взрослым было легче, а малолетние музыканты чувствовали себя в полной растерянности.

Подоспел 1932 год. Объявили о Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. После блестящей победы Льва Оборина в 1927 году, когда он завоевал первую премию, было неудобно игнорировать очередной конкурс. Надо было продемонстрировать перед капиталистическим миром грандиозные успехи советского музыкального искусства. Собрали в разных городах кучу молодых пианистов и отправили в Варшаву. На сей раз первую премию отдали представителю Франции. Вторую премию присудили молодому венгру. Третью премию присудили польскому пианисту Болеславу Кону. А вот представителям СССР на этом конкурсе явно не повезло. В составе большой делегации послали неизвестного пианиста из Киева Абрама Луфера. Он был учеником известного в свое время педагога Г. Н. Беклемишева, который учился в Берлине у самого Феруччо Бузони.

На этом конкурсе Шопена установили множество премий. На других конкурсах ограничивались тремя, а здесь проявили исключительную щедрость и размахнулись на пятнадцать. В дальнейших шопеновских конкурсах подобную роскошь себе уже не позволяли. Благодаря такой щедрости на конкурсе 1932 года советским пианистам удалось еще получить 6-ю, 8-ю и 11-ю премии.

В Москве не очень были довольны результатами. После блестящей победы Льва Оборина — и такой конфуз! Тут и решили, что в советских консерваториях не все благополучно и

кто-то занимается явным вредительством.

Вообще слово "вредитель" было в большой моде. Вредителем могли назвать кого угодно. Невкусная пища в столовой — вредительство. Нет воды в туалетах — вредительство. Долго не появляется трамвай — вредительство. Неудачное выступление на международном конкурсе — вредительство. Засуетились и заволновались. Совещания следовали одно за другим. Решили, что в консерватории студенты-пианисты должны изучать также игру на своем инструменте, а не только уделять все внимание политическим предметам, разным собраниям и беседам. Предоставили слово профессору Александру Борисовичу Гольденвейзеру. Он не стеснялся в выражениях. И был он злопаятен. Припомнил эксперименты бывшего директора Московской Консерватории Болеслава Пшибышевского, которого он называл Психошевским; вспомнил переименование консерватории в Музыкальную школу имени Феликса Кона. Голос у Гольденвейзера был высоким, средним между тенором и колоратурным сопрано. Кричать таким голосом трудно. Но Гольденвейзер был великолепным пианистом, и он хорошо знал на какую педаль надо нажимать. Учили "музыкальные способности" профессора Гольденвейзера и решили, что надо их применить на административной должности. Вот и назначили Гольденвейзера заместителем директора Московской Консерватории. Ему поручили выправить недостатки подготовки кадров. Ну а директором Московской Консерватории был назначен выпускник Сельскохозяйственного института Станислав Теофилович Шацкий. У Шацкого было то преимущество перед Гольденвейзером, что он состоял в партии. В ход пошел каламбур, что Московская Консерватория теперь стоит "на шацких ножках". Станислав Шацкий все же предоставил Гольденвейзеру возможность заняться музыкальными проблемами. Гольденвейзер поставил вопрос о необходимости определять музыкальное дарование не по анкетным данным. Помню его слова: "Жюри Международного конкурса плюет на социальное происхождение и на ваши анкетные данные, ему нужны настоящие таланты, которые имеют что показать, и там вовсе не спрашивают, кто были родители юных музыкантов — троцкисты или вредители". "Наше оружие — это талант", — кричал Гольденвейзер.

По его предложению, даже требованию, был организован советский Конкурс Молодых Музыкантов. Отпустили изрядную сумму денег и стали готовиться к конкурсу. Помню, спешно восстановили в правах студента одного талантливое пианиста, которого до того исключили за плохую отметку на экзамене по политическим предметам. А перед директором Шацким встала трудная проблема. Большой зал консерватории фактически ей не принадлежал. Это теперь был кинотеатр "Колосс". Еще в 1924 г. решили, что рентабельнее использовать Большой зал консерватории для показа немых кинофильмов. Сделали соответствующее переустройство, установили проекционные будки, натянули на сцене экран и пожалуйста, любуйтесь фильмами. Для аккомпанимента немых фильмов — благодаря соседней консерватории — был создан отличный оркестровый ансамбль, который играл, в специальном переложении, классическую музыку. А вокруг кинотеатра, особенно когда шли боевики, собиралась "шпана". Возле знаменитого органа устроили разновидность туалетной комнаты, да еще кто-то украл драгоценные трубки из органа. Шацкий добился-таки правительственного указа о ликвидации кинотеатра. Еще он добился разрешения на организацию при консерватории оперной студии, о чем давно мечтал Гольденвейзер.

Итак, в 1933 году состоялся первый Всесоюзный Конкурс Молодых Музыкантов. Чтобы придать ему политическое звучание, было объявлено, что он организуется в честь 15-летия советской власти. Конкурс проводили сразу по четырем специальностям — скрипке, фортепиано, виолончели и пению. На конкурс удалось собрать 103 участника. Участников конкурса не ограничивали возрастом, как это принято в таких случаях, даже великовозрастным "юношам" позволялось показать, на что они способны. Но также допустили к участию "вне конкурса" и малолетних виртуозов. В их числе оказался и мой родной брат Буся. Нарком просвещения Андрей Бубнов пристально следил за проведением конкурса и обо всем информировал самого Сталина. Говорили, что Сталин и Молотов проявляли особый интерес к этому конкурсу. Он приобретал политическое звучание.

Настоящей сенсацией конкурса было выступление совсем

юного пианиста Мили (Эмиля) Гилельса. Никому неведомый рыжеволосый мальчик из Одессы — Миля Гилельс, которому было только 16 лет, уверенно вышел на сцену и, сев за рояль, потряс слушателей своей феноменальной техникой. Он совершенно свободно играл сложнейшее произведение Франца Листа — парафраз на темы оперы Моцарта "Свадьба Фигаро". Да и другие произведения он играл так прекрасно, что озадачил жюри: "Как же это мы не знали о таком пианисте, где он скрывался, кто его педагог?" И оказалось, что он учился у неизвестной москвичке скромной преподавательницы Берты Михайловны Рейнгалльд. Поинтересовались музыкальной родословной Рейнгалльд. Оказывается, она была ученицей известной русской пианистки Э. Гешелин-Чернецкой, которая получила 2-ю премию на Всероссийском конкурсе пианистов в 1911 г., организованном в честь 100-летия существования фортепианной фирмы "Братья Дидерихс". Первая премия досталась тогда выдающемуся польскому пианисту Иосифу Турчиньскому. Гешелин-Чернецкую хорошо помнили, ее концертные выступления пользовались огромным успехом. А вот ее учеников и учениц не знали. И Гешелин-Чернецкая напомнила о себе победой ее внучатого ученика Мили Гилельса.

Никаких сомнений в превосходстве Мили Гилельса перед более старшими конкурентами не было. Ему единодушно присудили первую премию. А вторую премию поделили между пятью пианистами. Третью премию разделили на троих. На конкурсе скрипачей победил Борис Фишман. Спорили о правомерности присуждения первой премии именно Фишману. Считали, что получивший третью премию Самуил Фурер был намного лучше. Но, как говорили, Фурер не произвел фурор.

Дальнейшая судьба Бориса Фишмана была довольно сложной. Как скрипач-виртуоз он некоторое время вызывал к себе интерес и любопытство. Затем к нему как-то охладели. А в годы войны он и вовсе прекратил музыкальную деятельность. Ему не надо было заботиться "о белом билете", который давал освобождение от воинской повинности: он был калекой и мог играть только сидя. Но артистические дела у него пошли так плохо, что он стал сапожником и научился изготавливать хорошую дамскую обувь. Одно время он был женат на красавицей

вице-скрипачке Галине Бариновой, дочери известной русской пианистки Марии Николаевны Бариновой — ученицы Иосифа Гофмана и Феруччо Бузони. Галина Баринова училась в 1924-25 годах в Париже у Жака Тибо. Как скрипачка она впоследствии сделала большую, по советским понятиям, карьеру. В 1949 г. ей даже присудили Сталинскую премию. С 1967 г. она — профессор Московской консерватории.

С 1949 по 1954 год Борис Фишман преподавал в Киевской консерватории. Но там не удержался и вернулся в Москву, где незаметно скончался в 1964 г. А Самуил Фурер широко развернул свою концертную деятельность и пользовался большим успехом. Но за границу его не пускали. Он мог бы сделать международную карьеру, но кто-то этому препятствовал.

Конкурс виолончелистов прошел успешно. Особенно выделились Святослав Кнушевицкий и Герц Цомых, получившие первую премию (пополам). У певцов три первые премии получили представительницы "слабого пола". Мужчин не удостоили и второй премии. Считали, что выше третьей премии их нельзя оценить.

Конкурс был необычным явлением в московской музыкальной жизни. Победителям конкурса дали довольно щедрые премии. Не обидели и их педагогов. Из музейного фонда каждому педагогу подарили ценные серебряные изделия: чайники, сахарницы, посуду с клеймами бывших владельцев.

Встал вопрос о наименовании победителей конкурса. Объявлять со сцены "один из победителей", либо "завоевавший третью премию", как-то не совсем торжественно звучало. Тут и порешили пустить в ход слово "лауреат". Это слово было непривычным для советского уха. "Троцкист", "вредитель", "оппортунист" — к этим словам привыкли. Также привыкли к слову "ударник". Не знаю, кто выдумал это нелепое слово "ударник". Другое дело — ударник в симфоническом оркестре или джазе. Здесь все ясно: бьет человек по барабану. Еще ударником называют отдельные детали в механизмах. Но почему работягу надо называть ударником?

Помню, что на каждом предприятии искали ударников и их особенно отличали премиями и наградами. Но бывали и смешные ситуации. Пришел кто-то в симфонический оркестр и обра-

тился к дирижеру с вопросом: "А сколько ударников в вашем оркестре?" Дирижер ответил: "один". И услышал упрек: "Плохо поставлена у вас воспитательная работа, не прививаете сознательного социалистического отношения к труду". На следующий день в газете дирижера разносили "в пух и прах" за то, что в его оркестре был всего лишь один ударник.

Слово лауреат стало обозначать многое. Лауреатам разрешали пользоваться закрытыми распределителями, давали "боны" для Торгсина. В то время было нелегко достать самые обыкновенные спички. Их заменяли самодельными зажигалками. А в Торгсине были спички, да еще такие, что зажигались о подошву ботинок. Такой диковинкой приятно было пошеголять. Еще в Торгсине был вкусный хлеб с изюмом, или, как его называли, "хлеб с тараканами". Рассказывали, что некий московский пекарь отправил когда-то свою продукцию Московскому губернатору. А там оказался запеченный таракан. Пекаря вызвали на расправу, а он, не моргнув глазом, проглотил кусок хлеба с тараканом и весело заявил, что это был запечен изюм. Губернатору понравилась такая находчивость, и он приказал ежедневно доставлять ему хлеб с изюмом. Этот хлеб быстро завоевал успех, пекарь стал владельцем известной в Москве булочной.

Неугомонному Александру Борисовичу Гольденвейзеру очень хотелось доказать, что в СССР имеются вундеркинды. Он добился их выступления на конкурсе "вне конкурса". Гольденвейзер говорил: "Не их вина, что они опоздали родиться на несколько лет раньше". Положение у вундеркиндов было неясное, они существовали между небом и землей. В качестве студентов их нельзя было зачислить в консерваторию. Как говорил Гольденвейзер: "Нет в консерватории детского сада и яслей". Наряду с моим братом Бусей показали юного пианиста, ученика Гольденвейзера, Арнольда Каплана. Оба выступали в специальном правительственном концерте, который был посвящен итогам конкурса. Концерт состоялся в Большом зале консерватории. На нем присутствовал Сталин и другие члены правительства. В этот вечер особенно суетился Яков Агранов. Он не раз подходил к участникам концерта, что-то у них выспрашивал, что-то советовал. В тот вечер в Большом зале

консерватории я присутствовал на правах брата знаменитого одиннадцатилетнего виртуоза Буси Гольдштейна.

В московской коллекции старинных инструментов обнаружилась скрипка работы Страдивариуса малого размера. На этой скрипке и играл мой брат. Чтобы пользоваться этим инструментом, было дано специальное правительственное разрешение.

Вскоре последовало специальное постановление Совета Народных Комиссаров (Совнаркома) за подписью Молотова, в котором малолетние музыканты премировались крупной денежной суммой, в том числе и мой брат. Награждались не орденами и медалями, а именно деньгами. Это было практичнее и разумнее, если учесть, что малолетние музыканты жили в бедственных условиях. Наряду с моим братом, получили премию "от Молотова" Эмиль Гилельс, Арнольд Каплан, Елизавета Гилельс, Миша Фихтенгольц и Беба Притыкина.

Для вручения денег моего брата вызвали в Кремль. Родителям при этом присутствовать не полагалось, его привезли соответствующие лица, которым это было поручено. Проводили в специальное помещение. Молотов заикающимся голосом прочитал постановление и началась церемония вручения денег. Присутствовал сам товарищ Сталин. Он изволил беседовать с моим братом и сказал с грузинским акцентом: "Вот, тэпэр Буся стал капыталыстом и ты настолько зазнаешса, что эслы прыду к тэбэ в госты попыт чай, нэ захочэш мэня прызнат". В таком духе шутил Сталин. Но мой брат с наивной детской непосредственностью принял эти слова за чистую монету и безо всякого смущения заявил вождю народов. "Как же я могу пригласить вас, товарищ Сталин, к себе в гости, если вся наша семья живет в тесной и маленькой комнатухе?" Шутливое настроение Сталина было испорчено. Больше он ничего не сказал. Однако, последствия этого красноречивого молчания были исключительно благоприятными.

Приказ Сталина имел магическое действие. Сразу же в Моссовете нашли свободную квартиру в новом доме.

В ту пору в Москве строили немало. Достаточно упомянуть огромный жилой комплекс на Берсеневской набережной, называвшийся Домом Правительства. Некоторые его сокращенно называли "Допр". Не раз мне случалось бывать в этом громад-

ном здании, которое, как меня уверяли, считалось одним из крупнейших в Европе. Кто жил в этом доме? Конечно, люди, приближенные к Сталину, ответственные работники правительственных учреждений. У них тут же под боком был свой закрытый распределитель, где можно было получить дефицитные продукты и промышленные товары. Еще можно было развлечься в своем собственном клубе, или Дворце культуры, где показывали иностранные фильмы, или устраивали специальные концерты. Войти в этот дом было довольно сложно, в каждом подъезде были сторожа (советские консьержи), тщательно охранявшие покой и благополучие обитателей этого дома. Мне не раз приходилось там бывать, то по приглашению писателя А. С. Серафимовича, то у других обитателей. А еще у меня возникли дружеские отношения с семьей Николая Ильича Подвойского, особенно с его дочерью Лидой. Однажды в этом доме я встретил наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова. Меня с ним познакомил Подвойский. Это было во дворе дома. В моих руках была скрипка и Литвинов стал вспоминать, каких знаменитых скрипачей он слышал на своем веку. Уверял, что у него есть грамофонные пластинки с записями известных скрипачей. Разговорились о моем брате. Литвинов тут же заявил, что "наши музыканты должны подтянуться до международного уровня, чтобы можно было их с гордостью показывать в капиталистических странах. Ведь они могут сыграть роль послов нашей державы. Сейчас у нас еще мало контактов с капиталистическими странами, они нас не признают, бойкотируют, обливают грязью. Но и они любят музыку и при помощи музыкантов можно найти с ними общий язык и добиться уважения к нашей стране". Вот в таком духе развивал свою мысль Литвинов. Вблизи стояла ожидавшая его машина самого роскошного класса. Но он не торопился. Литвинов открыл мне глаза на многое. Теперь мне понятна подлинная причина повышенной заинтересованности коммунистов в успехах советских музыкантов, а я-то думал, что она вызывалась беспокойством о судьбе русской музыкальной культуры, понесшей в СССР после революции непоправимый урон.

Итак, Моссовет молниеносно нашел квартиру для Буси. Она оказалась в новом, бетонного цвета, доме на Земляном валу

(ныне улица Чкалова), на седьмом этаже. Правда, без подъемного лифта. Излишняя буржуазная роскошь! Был выписан соответствующий ордер на вселение в новую квартиру, отдельную, без подозрительных соседей, со сравнительно нормальными бытовыми удобствами. Откровенно говоря, вдруг стало даже скучно без привычного зловонного керосинового примуса. Оставалось только написать благодарственное письмо товарищу Сталину, выразить восторженную признательность. И еще — теперь можно было пригласить товарища Сталина в гости на чашку чая. Кажется, такое письмо было написано. Но ответа не последовало.

Между тем, восторг по поводу советских вундеркиндов выражали как в прозе, так и в стихах. Особенно мне запомнились стихи Демьяна Бедного под названием "Первоцветы".

Ребята — им играть бы в фанты,
Меж тем недетская игра
Нам выявляет их таланты —
Какие чудо-мастера!
Какой в триумфе этом детском
Отпор для вражьей клеветы:
Смотрите вы — в саду советском
Какие брызнули цветы!
Звучат их соло и дуэты
И с замиранием в груди
Мы все — политики, поэты
Включаем свой восторг, приветы,
Ведь это наши первоцветы!
А то ли будет впереди!
Какая будет партитура,
Какие будут мастера!
Цвети советская культура,
Расти, родная детвора!

Так как газеты на все лады расхваливали малолетних музыкантов, да еще подчеркивали внимание к ним самого Сталина, Александру Борисовичу Гольденвейзеру было не так трудно узаконить малолетних виртуозов в стенах Московской консерватории. Возникла "особая группа талантливых детей".

Французский писатель Анри Барбюс сочинял тогда книгу о Сталине. Он жил в тесной гостинице "Балчуг" в Замоскворечье. Кто-то посоветовал Анри Барбюсу обратить внимание на сталинскую заботу о детях. Нужны были соответствующие краски, которые могли бы обелить кровавый облик тирана. Тут и подбросили Анри Барбюсу идею показать малолетних виртуозов. Организовали встречу с моим братом и с пианистом Арнольдом Капланом. Подобрали надежных переводчиков, которых снабдили инструкциями. Все было подготовлено и отрепетировано. И все же Барбюсу захотелось побеседовать с моим братом вполне откровенно. Барбюс сообщил, что в скором времени собирается поехать в Париж и спросил, какие будут желания, что оттуда привезти. Брат пожаловался на исключительно низкое качество советских скрипичных струн, которые не звучат даже на скрипке Страдивариуса. Барбюс обещал привезти самые лучшие скрипичные струны. Свое обещание он сдержал. Вскоре из печати вышла книга Барбюса о Сталине и там он припомнил о своей задушевной беседе "с двумя маленькими чародеями", по-своему пересказав текст беседы моего брата со Сталиным.

Газетная шумиха принесла свои результаты. Концерты юных музыкантов повсюду вызывали повышенный интерес. Школьницы сменили своих кумиров, вместо героев кинофильмов они теперь поклонялись вундеркиндам. Помню, на наш адрес приходило множество писем от влюбленных девочек.

Лиха беда начало. Раз уж в Москве узаконили "особую группу талантливых детей", почему бы не иметь подобную в Одессе? Тем более, что некоторые в этой группе москвичей были выходцами из Одессы. Профессор Столярский добился организации уже не группы, а целой детской музыкальной школы, в которой можно было совмещать музыкальные занятия с общеобразовательными. Так в Одессе родилась школа имени Столярского. Сам Столярский, в стиле одесского жаргона, называл ее "школа имени мене". Потом детские особые школы появились в Киеве, в Ленинграде. Целесообразность их существования была вне сомнения. Развивалась индустрия талантов, нужных для намечающегося экспорта идей. Да еще предстояли международные конкурсы.

Мне хорошо знакомы будни "особой детской группы", я видел, как организуется система занятий с будущими лауреатами. Прежде всего, приглашаются ведущие педагоги. Составляется план усиленных занятий, в котором предусматривают не только уроки профессоров, но также и ассистентов. Такому плану может позавидовать любой студент консерватории, даже из числа самых перспективных. Специально приглашенные педагоги в концентрированном виде излагают общеобразовательные предметы. Но основное внимание сосредоточено на музыкальных занятиях. За успехами москвичей особо следили не только А. С. Бубнов, но даже сам Яков Агранов. Помню, на одном концерте малышей в Большом зале консерватории к Гольденвейзеру подошел человек в военной форме в высоком чине. Стоявший возле профессора Генриха Густавовича Нейгауза Борис Пастернак неожиданно спросил, указывая на этого военного: "А знаете, кто с Александром Борисовичем беседует?" Нейгауз сказал: "Лицо знакомое, часто встречаю на концертах, но кто он, не знаю. Вижу, что в высоком чине, поговаривают, что он близок к Сталину". Пастернак усмехнулся: "Это сам Яков Агранов, собственной персоной. Когда-то был правой рукой Дзержинского, приближенным Ленина. Отправил на тот свет Николая Гумилева и множество выдающихся русских деятелей, а теперь играет роль доброй феи для музыкантов". Не ручаюсь за абсолютную точность пересказанных слов, но смысл их не искажен.

Об Агранове написано множество воспоминаний, его личность была хорошо известна и злопамятна. По отзывам некоторых моих знакомых, знавших его лично, Агранов отличался хорошими актерскими способностями, умел перевоплощаться. Агранов дарил вундеркиндам продукты питания, вручал граммофонные пластинки с исполнением Рахманинова, Хейфеца, Менухина, Горовица, Гофмана, Сигетти, Крейсlera. Пластинки были заграничного производства и простым смертным они были недоступны для приобретения. А если у юных музыкантов не было патефона, то, как по мановению волшебной палочки, он вдруг появлялся. Пластинки доставляли огромное наслаждение юным музыкантам. Собирались целыми группами и с гордостью демонстрировали подарки Агранова.

Говорили, что с особым усердием собирал граммофонные пластинки Ежов; они ему были необходимы для вдохновения.

Агранов носил на руке золотые часы с массивным золотым браслетом, пользовался золотым портсигаром и модной самопишущей ручкой Паркера с золотым пером. Увы, ничто не вечно под луной. Настал и его черед исчезнуть из поля зрения. Говорят, он был дважды женат. Одна из его жен, Сима Баркова была преуспевающей дамой. Оставив Агранова, она стала женой ответственного деятеля Комиссариата Иностранных Дел. Но и этого деятеля ликвидировали. От Агранова у нее была дочь Нора. Нору выдали замуж, она родила сына, которому дали имя дедушки, да еще сохранили и его фамилию Агранов. Так появился на свет новый Яков Агранов. Симу Баркову реабилитировали при Хрущеве, как реабилитировали и ее мужей. Вручили щедрую компенсацию, дали возможность отдохнуть на курорте. Она работала на ответственной должности в Московской Филармонии и устраивала множество концертов, общалась с выдающимися музыкантами и артистами. Став бабушкой, она проявляла удивительную заботу по отношению к своему внуку.

Но вернемся в 30-е годы. Кто же входил в "особую детскую группу"? Как сейчас я помню появление удивительного малыша по имени Йося Майстер. Кажется, он прибыл из Минска. Этот феноменальный мальчишка уже в пятилетнем возрасте удивлял своими способностями. Он удивительно быстро овладевал скрипичной техникой. Мальчика показали самому Жозефу Сигетти и великий маэстро скрипки был настолько очарован, что даже решился на каламбур и подписал маленькому Майстеру свой снимок: "Твое имя — твое будущее".

В Москве тогда установилась новая традиция: в Большом театре стали устраивать правительственные концерты, на которых присутствовал Сталин и его окружение. Это был своего рода смотр артистических сил, а также и случай представить "отца народов" ценителем музыкального искусства. В программу каждого правительственного концерта стали включать выступление очередного вундеркинда. В какой-то мере эти правительственные концерты напоминали развлечения восточных деспотов, чей слух услаждали пением, музыкой и танцами. А

очаровательные артистки после выступления на сцене отправлялись в специально оборудованные помещения. Из этого не делали особенного секрета. Как тогда говорили, "они пели в постели". Некоторые артистки даже бравировали своими связями, их боялись. Когда хотели намекнуть, что той или иной артистке предстоит свидание с высоким деятелем советского правительства, говорили, что ее пригласили на "арию Гремину". И все было понятно. Больше всего злословили те, конечно, кто им завидовал. В самом деле, получить лестное приглашение на "кормушку-пирушку", на "междусобойчик", было не так уж плохо для карьеры. Эти "междусобойчики" способствовали получению почетных званий заслуженных артисток, а то и народных. Да еще прикрепляли к закрытым распределителям.

Конечно, программы правительственных концертов не состояли только из выступлений наложниц. В них участвовали известные музыканты и певцы, восхищавшие своим искусством. Чаше других выступал тенор Иван Семенович Козловский, либо его соперник Сергей Яковлевич Лемешев. У обоих теноров было немислимое число поклонниц. Их разделяли званиями "козловитянки" и "лемешистки". Враждовали эти поклонницы между собой страшно.

Так как малолетних музыкантов расплодилось немало, то установили своеобразную очередь. После концерта семью малолетнего виртуоза прикрепляли к закрытым распределителям, давали ордера на приличную одежду, на продукты питания. А то еще предоставляли и квартиру. Уж раз малолетний виртуоз прибыл в Москву из провинции, то за ним тянулся целый хвост. Так в Москву прибыл из Минска малолетний Йося Майстер. Ему было всего пять лет, а он уже такое вытворял на скрипке, что "можно было сойти с ума" от удивления, как говорили бывалые меломаны. Профессор А. И. Ямпольский, к которому он поступил в класс, был настолько восхищен дарованием мальчика, что предсказывал ему славу Паганини. Как-то Йосю Майстера выпустили для участия в концерте в Большом зале консерватории. Когда он вышел на сцену, в зале раздался хохот. Действительно, на большой сцене оказался "клоп". Йося и от природы был удивительно маленьким. Но когда он взял в руки скрипку и заиграл "Пчелку" Шуберта, публика, действительно,

ошалела. После концерта подошла к мальчику некая товариш Коган, если не ошибаюсь, она была секретарем горкома партии в Москве. И начала свою беседу с мальчиком со слов: "Почему ты такой бледный, Йося?" Сразу последовал пулеметный ответ маленького виртуоза: "Мы живем в очень тесной комнатухе, у нас большая семья, кругом кровати, негде повернуться, ужасный воздух, нечем дышать, еда готовится в этой комнатухе". Это произвело соответствующее впечатление, и вскоре семья Йоси Майстера вселилась в новую квартиру. Пользуясь подобным методом, и другие дети, принимавшие участие в правительственных концертах, тараторили свои жалобы. Иногда это производило впечатление. Но бывали и осечки. В лучшем случае, присылали коробку конфет или плитку шоколада.

Йося Майстер был типичным вундеркиндом и при хорошем менеджере мог бы стать мировой знаменитостью, вторым Моцартом. Но, по-видимому, музыкальное воспитание мальчика шло неверным путем и, достигнув кульминации своих возможностей, Йося стал деградировать. Повзрослев, он уступил место очередному новому малышу. А этих очередных появлялось множество, словно грибов после дождя.

Я заметил, что не всякий вундеркинд способен сохранить свои способности, — иные увядают довольно рано. И школа одаренных детей при Московской консерватории доказала это довольно наглядно. То же случилось и в детских музыкальных школах в других городах. Но это уже проблема иного рода и требует особых рассуждений.

Можно было бы назвать много имен малолетних виртуозов, заблеставших, как звездочки, на музыкальном небосклоне. Прежде всего хочу сказать о Юлиане Ситковецком. Он был поистине большим музыкантом, но судьба даровала ему слишком мало лет жизни, он умер 32 лет от роду, в самом расцвете своих творческих возможностей. А мог бы сделать мировую карьеру. На международном конкурсе имени бельгийской королевы Елизаветы в 1955 г. он стал заметной фигурой, на него обратили внимание. Но в 1958 г. он неожиданно скончался.

Я познакомился с Юликом Ситковецким в 1933 г., когда был в Киеве. Известный там профессор скрипки Д. С. Бертье с гордостью показывал необычайно талантливого 8-летнего виртуо-

за. Мальчик играл сложные произведения с виртуозной легкостью. Красота его звука очаровывала. Спустя пару лет Юлик приехал в Москву на смотр юных талантов. Кажется, это было в 1936 г. Он играл скрипичный концерт Мендельсона и всех удивил своим мастерством. Вскоре он остался в Москве и попал в класс проф. Ямпольского. Но в то время у него нашлись сильные конкуренты. Прежде всего, — Леня Коган, приехавший из Днепропетровска. В те годы Леня Коган был блистательным скрипачом, виртуозом первого класса. И Юлику приходилось пробивать брешь в рядах поклонников таланта Когана.

Большой восторг вызвало появление в Москве девятилетнего пианиста из Ленинграда Лялика Бермана. Он учился у своей матери, пианистки Анны Маховер, в прошлом ученицы Изабеллы Венгеровой. Лялик блестяще исполнил ноктюрн Шопена и мазурку собственного сочинения. Говорят, что эта его игра в 9-летнем возрасте была записана на пластинку. Лялик поступил в класс профессора Гольденвейзера, где уже была удивительно талантливая пианистка Надя Рецкер.

Словно в калейдоскопе, мелькали имена одаренных детей. Правда, далеко не всем детям протежировали. В 30-е годы были сильны сословные различия. Если отец был слесарем или черноработчим, тогда его одаренному сыну было суждено взбираться по лестнице славы. Но если отец — бывший нэпман, или мелкий буржуй, да еще какой-нибудь прадедушка служил в царской армии, тут уж создавали искусственные преграды и к выдвижению не допускали. Слово "выдвиженец" звучало по-особому. Им пользовались вовсю. "Выдвиженец" — это лицо пролетарского происхождения. Это отпрыск члена компартии. Это отпрыск героя гражданской войны. Или отпрыск семьи чекистов. Помню, как старались сделать карьеру одному маленькому скрипачу. Его отец был чекистом, и ему покровительствовал кто-то из членов правительства. А у мальчика была плохая память, скверный слух и явное отсутствие музыкального ритма. Но мальчик всех критиковал и ставил себя в пример. Он доказывал, что только он имеет феноменальные способности, а все прочие — бездарности, на которые государство зря тратит деньги. Впрочем, настал день, когда профессор Гольденвейзер решительно объявил, что этот мальчик не имеет никаких музыкальных способностей. При-

говор Гольденвейзера произвел впечатление, и мальчик исчез с горизонта.

Среди прочих промелькнула очаровательная девчонка, показавшая свои пианистические способности. Несмотря на то, что ее отец занимал высокий пост в правительственных или военных учреждениях, она оказалась удивительно талантливой. Эта куколка садилась за огромный рояль и своими маленькими пальчиками уверенно играла сонату Моцарта, да еще по слуху воспроизводила отрывки из опер и подпевала своим тонким и высоким голосом. Конечно, на нее обратили внимание, наговорили много восторженных слов. Но вскоре выяснилось, что ее отец — “враг народа” и был репрессирован. От девочки отвернулись, словно от прокаженной. Девочку можно было спасти, если бы кто-то захотел ее удочерить. Но кто был настолько смел? Вся семья, в том числе и эта девчонка, были сосланы. После смерти Сталина семью реабилитировали.

1936-й год, особенно 1937-й, не прошли бесследно и для юных талантов. Стоило главе семьи попасть в сталинскую мясорубку, как это автоматически отражалось на всей семье, пошады не было. Я нет-нет и узнавал, что исчезали талантливые дети, — они должны были расплачиваться за необоснованные репрессии против их родителей. Помню злую шутку по отношению к одной маленькой виолончелистке, которая подавала большие надежды. Говорили, что она теперь занимается камерной музыкой, то есть имеет возможность играть в тюремной камере.

Но вернемся на несколько лет назад, к временам еще относительно безоблачным. Происходило соревнование между детьми из Москвы и Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы, Минска. Ленинградцы похвалялись пианистом и композитором Олегом Каравайчуком, девочкой-дирижером Маргаритой Хейфец, виолончелистом Даней Шафраном. Из Одессы доносились восторженные отзывы о Диме Тасине — юном пианисте, которому Москва рукоплескала на симфоническом концерте, где он уверенно сыграл сложный концерт Бетховена, а дирижировал сам Оскар Фрид. Заговорили о пианисте из Одессы Кадике Фельцмане, ставшем впоследствии Оскаром Фельцманом — маститым композитором, сочинившим множество шлягерных песен и кучу оперетт. Расхваливали маленького скрипача Лелю (Леню)

Фейгина. Он учился у Давида Ойстраха. Потом увлекся композиторской деятельностью, женился на одной из дочерей репрессированного чувашского композитора Степана Максимова.

Я хорошо помню Максимова, когда он учился в Московской консерватории по классу композиции у Р. М. Глиера. Он уже тогда считался классиком чувашской музыки. Еще с 1911 г. он занимался собиранием чувашского фольклора. Потом долго вел педагогическую деятельность. В 40-летнем возрасте он задумал усовершенствовать свои знания в области композиции и отправился в Москву. Очаровательные его дочки Галя и Вера были очень талантливыми пианистками. В 1937 г. Максимова арестовали. Леня Фейгин не побоялся жениться на дочери репрессированного композитора, очаровательной чувашке Гале.

Юные музыканты, практически, не знали детства. В первой половине дня они были заняты усвоением разнообразных общеобразовательных предметов, а потом, едва перекусив на ходу, брались за свои инструменты. Надо было разучивать сложные виртуозные произведения. И получалось, что дети ложились спать лишь к полуночи. Иные девочки удовлетворяли свои детские потребности ношением с собой куклы. Этих кукол ставили на рояль, и они были безмолвными свидетелями упражнений, символическими слушателями, на которых обычно не обращали внимания. Так и запомнились мне эти девочки с косичками и яркими бантами на голове, в стоптанных туфельках с рваными чулочками. На ходу они что-то жевали. А если в руках оказывались горячие московские пончики с повидлом, на их лицах выражалось блаженство. Они смело спорили о характере исполнения тех или иных произведений. Даже со своими педагогами вступали в спор. Они знали многое и могли взрослых заткнуть за пояс. Не всем повезло в жизни. Промаявшись у себя на родине многие годы и терпя унижения, иные видели свое спасение в эмиграции, где снова смогли блеснуть своим дарованием. Так, пианистка Надя Рецкер, одна из любимых А. Б. Гольденвейзера, оказалась на старости лет в Чикаго и должна была заново начинать свою музыкальную жизнь. Но ее здоровье было подорвано, и она скончалась на чужбине, оставив по себе добрую память и наиграв пластинку с отличным исполнением произведений русских композиторов.

Не хочется мне переходить границы 1937 г. Хочу лишь упомянуть малышей, которые так успешно начинали свой музыкальный путь. Заранее предвижу, что кое-кто упрекнет меня в том, что я не упомянул то или иное имя. А я и не стремлюсь к созданию некоего справочника, где следует всех перечислить, дабы не было обид. Интересна общая ситуация, самое явление советских "вундеркиндов". Некоторые имена больно произносить. Смешно говорить о торжестве справедливости, хотя повсюду кричали о "счастливом детстве". В то же время отовсюду слышалось и повелительное наклонение глагола "дать": "Даешь пятилетку в четыре года!" На производстве требовали перевыполнения норм. Специально натренированные пропагандисты орали: "Давай две нормы!" Детей, нацепивших на шею пионерские галстуки, тренировали на призыв "Будь готов!", механически отвечать "Всегда готов!" Не миновал пионерский галстук и юных музыкантов.

Музыкальная жизнь в СССР в 1937 г. в какой-то мере напоминала пир во время чумы. После беспощадного разгрома Дмитрия Шостаковича в 1936 г., в иностранной печати на все лады склоняли создавшуюся в СССР обстановку террора в области музыкального творчества. Газеты пестрели информацией о злодеяниях Ежова. Сталин искал возможность показать миру свои достижения. Спортсмены уже выигрывали международные соревнования. Русский императорский балет был провозглашен советским и демонстрировал миру остатки своей былой роскоши. Правда, в области балета удивить было нелегко, ибо лучшие силы оказались в эмиграции.

Балетоманов обворожила переехавшая из Ленинграда в Москву замечательная балерина Марина Тимофеевна Семенова. Поклонников ее таланта оказалось предостаточно и за пределами СССР. Поддерживали славу русского балета Софья Головкина, Наталия Дудинская, Татьяна Вечеслова, Суламифь и Асаф Месереры, Ольга Лепешинская, Вахтанг Чабукиани.

Хуже обстояло с певцами. Но большие надежды возлагались на музыкантов-виртуозов. Сталину доложили о конкурсах. Смогут ли принять в них участие представители СССР? Бывший в то время директором консерватории Генрих Густавович Нейгауз, мой сосед по улице Чкалова, доверительно рассказывал о своей беседе со Сталиным. Была ли это единственная

беседа, сказать трудно. Сталин твердо сказал ему, что советские музыканты должны получить первые премии. Об этом же беспрерывно напоминали Лазарь Каганович, разные железные наркомы и партийные чиновники. Генрих Нейгауз обладал чутьем истинного художника и большого музыканта. Он предложил в качестве претендента на первую премию Давида Ойстраха. Затем претендентов стали искать среди талантливых детей. Заметили Марину Козолупову, дочь известного виолончелиста проф. Семена Козолупова, у которого учился Мстислав Ростропович. Обратили внимание на моего брата Бусю. К тому времени переехали из Одессы в Москву Елизавета Гилельс и Михаил Фихтенгольц. Нейгауз поверил в них. В качестве члена жюри конкурса от СССР Нейгауз счел целесообразным направить проф. А. Ямпольского, отличавшегося неутомимостью в занятиях со своими питомцами. Наличие Ямпольского в Брюсселе могло помочь юным музыкантам уверенно подготовиться к своим выступлениям на конкурсе.

Давид Ойстрах получил первую премию. Лизе Гилельс досталась третья, моему брату — четвертая, Марине Козолуповой — пятая и Михаилу Фихтенгольцу — шестая. Давид Ойстрах в одном из своих интервью публично заявил, что "в связи с конкурсом колоссально вырос интерес к советской музыке и вообще к нашей культуре". Сочувствующие коммунистам зарубежные деятели культуры всячески подливали масла в огонь. Газеты взахлеб превозносили успехи советских музыкантов. Казалось, что позабыты убийства миллионов невинных людей, недавние преследования Шостаковича. Знаменитых советских скрипачей повезли демонстрировать в Париж.

В том же 1937 году был объявлен Международный Конкурс пианистов имени Шопена в Польше. Это был уже третий конкурс. На первом первую премию завоевал Лев Оборин. На втором конкурсе осечка. Теперь надо было взять реванш. Нейгаузу поручили подготовить советскую делегацию. Он остановил выбор на своем ученике Якове Заке, родом из Одессы. Я хорошо знал Зака, ныне покойного. Не раз с ним музицировал в детские годы. У него была полноватая фигура, несколько мешковатая. На внутреннем конкурсе в СССР в 1935 г. он завоевал лишь 3-ю премию. Но Нейгауз настоял на участии Якова Зака.

Помню, Яша Зак мне рассказывал, как ему трепали нервы перед конкурсом и требовали, чтобы он привез из Варшавы хоть какую-нибудь премию. А он получил первую премию! Конечно, в составе жюри конкурса был Генрих Нейгауз, которого хорошо знали в Польше. Ведь он — двоюродный брат гениального польского композитора Кароля Шимановского!

Готовя советских участников конкурса в Варшаве, искали наиболее вероятных кандидатов на получение премии. Остановили выбор на очаровательной 16-летней Розе Тамаркиной, родом из Киева. Она училась у Гольденвейзера и удивляла своими триумфальными концертными выступлениями. Гольденвейзер считал ее самым надежным кандидатом на первую премию. Но, несмотря на триумфальный успех ее выступлений на конкурсе, ей досталась только вторая премия.

Сталин был доволен и решил наградить победителей конкурса орденом "Знак Почета". Сталин удостоил Давида Ойстраха личной беседой и обещал исполнить любое его желание. Политическая цель этих конкурсов была достигнута. Профессор Генрих Нейгауз выполнил задание Сталина. Но Нейгауз очень тяготился обязанностями директора Консерватории. Он ушел с директорского поста уже в 1937 г.

Советские вундеркинды быстро выросли. Школа одаренных детей оказалась надежным резервуаром для подыскания претендентов на первые премии — со всеми вытекающими политическими последствиями.

Михаил Гольдштейн

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ О ХУДОЖНИКАХ*

Пять лет назад на 69-м году жизни умер Владимир Васильевич Стерлигов — художник, чье творчество почти неизвестно ни зрительской массе, ни в профессиональной среде. Некоторое представление о его направлении дают работы его учеников и последователей, известных как "Группа Стерлигова". Предлагаемая документальная запись дает некоторое представление о самом Владимире Васильевиче Стерлигове и его учителе К. С. Малевиче.

[...] Работали в ИНХУКе**, в доме Мятлевой на Исаакиевской площади. Там же был Музей Художественной Культуры. Всё, что теперь есть левого искусства в Русском Музее и в Третьяковской галерее — из этого музея***.

В ИНХУКе были отделения, которыми руководили Филонов, Малевич, Матюшин, Татлин и Мансуров. Пять отделений — и какое созвездие имен! Отношения между ними были не очень хорошими, но корректными. Спорили на диспутах, на собраниях, однако, друг друга уважали. Самый нетерпимый среди них был Филонов. С ним в хороших отношениях находился только Михаил Васильевич Матюшин. Рукописи Матюшина хранятся сейчас в Литературном музее****, их дают очень

*Воспоминания опубликованы в самиздатском альманахе "Санкт-Петербург". На Западе печатаются впервые. — РЕД.

**Институт Художественной Культуры.

***Неточно: в Москве — из Музея Живописной Культуры.

****В. В. имеет в виду Пушкинский Дом в Ленинграде.

неохотно, так как искусствоведы что-то оттуда позаимствовали.

Малевич жил в доме Мятлевой со стороны Почтамтской улицы, за воротами налево, на третьем этаже. Прихожая, узкий коридор, комната, удобств никаких. Окна выходили во двор. Там он и писал картины. Ниже жили Филонов и Татлин. У дверей Татлина дежурили два матроса, чтобы никто не входил. В ИНХУКе Татлин делал свою башню.*

Малевич просверлил в стене несколько отверстий, чтобы видеть, кто к нему идет.

В каждом из отделений были — руководитель, научные сотрудники, практиканты и, как называл их Казимир Северинович [Малевич], "попытные кролики". Правой рукой Малевича был Суетин. Вера Михайловна Ермолаева — научный сотрудник, я, Юдин, Лепорская и Рождественский — практиканты, Константин Николаевич Рождественский — ныне главный художник Советского Союза по выставкам. К нему уже не придешь так просто, как ко мне: завтракает он в Брюсселе, обедает в Калькутте, а ужинает в Токио, и лишь спит в Москве.

Малевич называл своё отделение УНОВИС (В. В. произносит с ударением на последнем слове). Главным, по мысли Казимира Севериновича, было "учение о прибавочном элементе". Мы под его руководством везде искали "прибавочный элемент" и составляли большие таблицы с иллюстрациями.

Первый "прибавочный элемент" — свет — внесли в искусство импрессионисты. Сезанн внес второй "прибавочный элемент" — объемно-плоскостную геометрию. До него в искусстве, как и в геометрии Эвклида, были простые фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. Лучше всего это выражено у Пуссена. У Сезанна эти формы приобретают цветовой объем: круг становится шаром, квадрат — кубом, треугольник — конусом, прямоугольник — цилиндром. Этим он нашел как бы основу форм природы.

Второе открытие Сезанна — протекающий цвет, цвет, кото-

* Башню Третьего Интернационала Татлин делал в Академии Художеств в 1919 году; В. В. Стерлигов работал в ИНХУКе позднее. Вероятно, делалась небольшая модель башни, которая одно время находилась в Русском Музее.

рый имеется всюду в природе и определяет форму предметов и расположение их по планам. У Сезанна три протекающих цвета — голубой, желтый и розовый. Посмотрите его пейзажи — эти цвета везде, они сближают и разделяют планы и предметы. Но иногда он брал синий протекающий цвет, как в "Автопортрете" в Музее Пушкина. Объемную геометрию Сезанна мы изображали кривой.

Кубизм дал сдвиг — время. Предмет изображается в кубизме с разных сторон и изнутри. Человек словно обходит предмет, разрезает его и смотрит внутрь. При этом тень от бутылки, например, становится бутылкой, а бутылка — тенью. "Прибавочный элемент" кубизма изображался золотым сечением.

Футуризм дал новый "прибавочный элемент" — движение. Кубофутуризм объединил кубизм и футуризм. Мы разбирали работы Боччони, Северини, "Велосипедиста" Гончаровой, "Точильщика" Малевича. Я копировал "Точильщика".

"Прибавочным элементом" супрематизма, как считал Казимир Северинович, является экономия. Этот "прибавочный элемент" изображался супрематической прямой.

В основе всех действий человека и жизни природы, по мнению Казимира Севериновича, лежит принцип экономии. Казимир Северинович называл его "мировая экономия" — с ударением на втором слоге. Филонов также делал ударение в этом слове на "о". Мне казалось это неверным. Однажды Малевич что-то нам объяснял и сказал — "мировая эконо́мия". Я перебил: "Казимир Северинович — мировая эконо́мия". Он остановился, помолчал и продолжил: "так вот, мировая экономия..."

Он считал, что начиная писать картину, художник не знает, сколько необходимо усилий, чтобы её выполнить. Только после всех переделок выясняется, что энергии на выполнение требовалось значительно меньше. Супрематизм призван развивать в людях способность к экономии.

Другой главной мыслью Казимира Севериновича была мысль о том, что человек постоянно испытывает гнет пространства и времени. Освобождение от них избавит человечество от старости, болезней и всего, что его угнетает, то есть даст то, что религия обещает в виде рая. Путь к этому

освобождению Малевич видел в искусстве. Он учил, что не надо изображать красоту и чувства. Красоту дает наука, в частности, математика, чувства изображает слабая живопись. Художник должен быть пророком, изображать не явление, а *проблему* — иначе искусство умирает.

Пространственный супрематизм — архитектоны и планиты. Архитектоны строились вверх, планиты — по горизонтали. Они должны были стать спутниками — новыми телами, в которых люди будут освобождаться от давления времени и пространства.

Всё это изложено Казимиром Севериновичем в книге "Введение в учение о прибавочном элементе", которая вышла в переводе на немецкий язык в Баухаузе. Сейчас с этого издания кто-то сделал обратный перевод (В. В. показывает машинописный экземпляр), но в нем многое потерялось. Рукопись Малевича хранится у нас так надежно, что получить её невозможно.

Казимир Северинович выезжал за границу с большой выставкой своих работ. Его картины остались у Гропиуса и ещё у кого-то в Баухаузе. Позднее их вывезли в Голландию и после войны продали в Амстердамский музей — там сейчас несколько залов Малевича. Недавно возник вопрос о наследстве. Наталья Андреевна (В. В. точно не помнит её отчества), последняя жена Малевича, отказалась; дочь Унка, Пушкарев и кто-то ещё стали хлопотать. Дело дошло до международного процесса. Чем он кончился и каково положение сейчас — я не знаю.

Мы делали части планитов из гипсовых отливок и обтачивали наждачной бумагой, наверху на дощечки. Повсюду — белая пыль, как на мельнице. Казимир Северинович сам собирал планиты, мелкие боковые элементы приклеивал. Сначала был чистый гипс, потом он стал подкрашивать отдельные стороны, позднее — врезать цветные стекла. Элементы мы обтачивали по эскизам Малевича, которые он делал на клочках бумаги и очерчивал рамкой.

Архитектоны и планиты размещались на больших столах в комнате ИНХУКа; в 1927 году их выставили в Русском музее. Как войдешь в комнату, посмотришь — тебя бросает сначала вверх, потом туда (В. В. показывает в сторону), потом сюда (В. В. показывает в противоположную сторону). Невероятное

впечатление! Когда закрыли ИНХУК, их уничтожили. Только недавно я увидел кое-какие фотографии.

Мы искали "прибавочный элемент" везде: в искусстве Египта, Греции, в русской иконописи. И обнаружили, что для каждого времени характерны определенные линии. Например, в барокко — это кривая линия, в ампире — гладкая, в модерне — снова кривая, в супрематизме, как считал Казимир Северинович, — прямая. Теперь мне кажется, что прямая линия разъединяет, а кривая — соединяет. В 1960-ом году мне, надеюсь, удалось найти новый прибавочный элемент — "чашечно-купольное пространство".

Малевич считал первоосновой всего — цвет. Не цветоформу, не формоцвет, а *цвет*. Первичной формой считал квадрат. Так, он написал свой первый квадрат, звездчатый квадрат — у него площадь равна площади белого окружения, а боковые стороны немного выгнуты, чтобы под давлением белого не казались вогнутыми — поэтому звездчатый. Когда квадрат был написан, Казимир Северинович четыре дня бегал по Москве, не зная, чем его заполнить. И тогда у него возникла мысль о беспредметности, о беспредметном мире. Беспредметность и абстракция — вещи разные.

Малевич ввел понятие массы, магнетизма, безвесия. Помните, в Эрмитаже на выставке картин из Лувра была картина Пуссена с белой драпировкой в углу, которая падает вверх? Так и Малевич соединял элементы в своих картинах, а "попытные кролики" должны были определять, как движутся элементы. Мы различали чувства и ощущения. Например, чувство боли, ощущение того, что элемент притягивается, вылетает из-за другого, отрывается, входит в другой, и так далее. Глубина пространства значения не имела — это было супрематическое пространство.

У Эренбурга где-то написано, что однажды он пришел к Малевичу и видит: тот сидит на стуле и бросает на пол бумажки. Эренбург сказал: "Всё играешь!" Где уж Эренбургу понять, что за игра была у Казимира Севериновича!

Малевич любил писать и всем ученикам говорил, чтобы писали не только кистью, но и пером. — "Перо вытаскивает мысли из извилин мозга". — Я с ним ходил в магазин на углу Невского и Мойки, не тот, что сейчас канцелярский, а напротив.

Брали по пачке бумаги "верже" и уходили. Я свои пачки складывал, а Казимир Северинович писал. Написано им много, напечатано мало. Главные работы — "Введение в учение о "прибавочном элементе" и "Бог не скинут". Не уверен, что их выдают в Публичной библиотеке. А рукописи... Найдется ли такой редактор, который сможет их отредактировать? Наверное, лучше не редактировать, а печатать так, как есть.

Казимир Северинович писал о том, что цвет распределяется по интенсивности от периферии к центру; от природы, где он наиболее интенсивен — к деревне, затем, ослабленный — к окраине города, в мешанские слои; и в центр города, совсем серый — к интеллигенции. Обратная интенсивность нарастает. Он поручил Вере Михайловне Ермолаевой составить такую диаграмму, но как она ни билась, у нее ничего не получалось. Я ей помогал и утешал. Малевич придет, посмотрит, скажет что-нибудь грубое и уйдет; Вера Михайловна в слезы, а я ее успокаиваю. Пробовали сферы, спираль, но увеличения цветовой интенсивности в обратную сторону не получалось. Так мы эту работу и не кончили.

Писал Малевич и о том, что развитие, прогресс порождается бесполезным, ненужным. Все, что появляется нового в искусстве, в науке, в технике, кажется ненужным и встречается руганью и издевательствами. Когда на кипящем чайнике прыгает крышка — это просто, привычно. Когда же Уайт изобретает паровую машину, а Стефенсон пароход — это не нужно и смешно, хотя каждый видел прыгающую крышку чайника. Стефенсон предложил Наполеону паровые суда, на которых можно переправиться через Ламанш и завоевать Англию, но гениальный полководец отказался — ему это было не нужно. Вот и получается, что прогресс "ненужное" движет. Так же и в искусстве: все новое встречается бранью и насмешками — оно *не* нужно. Импрессионизм, Сезанн, кубизм, футуризм, супрематизм — все встречалось одинаково насмешливо.

ИНХУК был закрыт в 1928 году. Формальным поводом послужила статья Серого — есть такой... не знаю, как назвать... он и сейчас жив... Вы знаете, в Ленинграде настоящее искусство держалось крепче, чем в Москве. Помню, когда АХР входил в силу, в Ленинград на диспут приехали Маца и Михайлов, они

первыми и начали обстрел. Михайлов позже был какое-то время министром культуры. Тогда мы поняли, что скоро всё должно измениться.

Статья Серого называлась "Монастырь на государственном обеспечении" и посвящалась выставке Мансурова в ИНХУКе. Мансуров был очень своеобразный, большой мастер. Вы, конечно, ничего из его вещей не видели. Тогда он делал доски. Брал березовую доску с корой по обеим сторонам и обрабатывал так, что оставалась кора, а древесина становилась гладкой, с ясным рисунком. Потом покрывал лаком, вводил цвета: в рисунке древесины появлялись пряники, народные ярмарочные игрушки, тёщин язык. Очень сильные вещи. Вскоре после статьи Серого Мансуров уехал за границу и, хотя не собирался оставаться, получилось так, что он и сейчас живет в Париже. Мы переписываемся. Он до сих пор хочет вернуться в Россию. Прислал цветные слайды своих работ. В Италии скоро должна открыться его большая выставка.

На выставке Мансурова в ИНХУКе одна вещь называлась — "Монахи", отсюда и название статьи: "Монастырь на государственном обеспечении". После неё ИНХУК закрыли.

Ещё раньше уехал в Москву Татлин. Веру Михайловну Ермолаеву и меня забрали. Вера Михайловна так и не вернулась...

Очень хорошо помню такой случай. Большой зал в Мятлевском особняке. Серенький осенний денек, слабый свет. Борис Владимирович Эндер показывает свои летние работы. (Мы, возвращаясь осенью в Ленинград, всегда показывали летние работы. Смотрели руководители и сотрудники других отделений). Очень хорошо помню: показывает Борис Владимирович небольшой пейзаж "Рожь" — небо, зелень и желтая выпуклая полоса. Малевич говорит: "Она должна быть прямой". И, после долгой паузы, Эндер тихо отвечает: "Нет, Казимир Северинович, по-моему, она должна быть кривой". Этот ответ Бориса Владимировича на всю жизнь запал мне в душу, я часто о нем думаю. И мне кажется, что он был прав.

А ещё как-то раз мы (я, Лепорская, Юдин, ещё кто-то) решили порисовать по новой методе. Голую тетю завернули в белую простыню наподобие Венеры Милосской и стоим, лихо

машем карандашами. Только шелест по бумаге. Позвали Казимира Севериновича. Он вошел. Стал у окна. Посмотрел на нас, на нашу натурщицу. Потом повернулся к нам спиной, нагнулся к подоконнику и стал что-то чиркать карандашом. Через несколько минут положил на стол рисунок. Недавно мне показывали фотографию с того рисунка — у кого-то он сохранился, наверное, у Лепорской.

Михаил Васильевич Матюшин — какой замечательный был художник! По-моему, импрессиокубист. А кто его сейчас знает? В городе дома красят по его таблицам — и никому неизвестен. Я уговорил искусствоведа Повелихину им заняться. Зорвед, теория расширенного смотрения — это очень большое явление в искусстве.

Борис Владимирович Эндер. Мы в Москве смотрели у вдовы его работы — нас попросили отобрать для выставки. Но это сложно: прежние ведь не выставляют, а поздние выставлять невыгодно.

Мария Владимировна Эндер. Тоже талантливый художник. У нас в ИНХУКе у неё было прозвище "Гагара", потому что голос у неё был резкий, крикливый.

Недавно в путеводителе Третьяковки напечатали цветную репродукцию Малевича — портрет Анжелики, сестры его жены Натальи. С белым лицом, поздняя работа. Потом хватились, изъяли из магазинов, но часть уже успела разойтись. У меня где-то была эта фотография.

Николай Николаевич Пунин часто бывал в ИНХУКе. Помню и то собрание в 1947-ом году, когда ругали Пунина. Когда Пунин попросил слова и ему не дали...

Поиск — что за бессмысленное слово. Сейчас в любой газете только и видишь: поиск да поиск. А что мне искать? Мне и картины-то писать времени не хватает. Прав Пикассо, и я подписываюсь обеими руками под его словами: "Я не ишу, я нахожу". В искусстве важно то, что есть, а не то, что кто-то чего-то ищет.

Раньше Малевич, Филонов, Татлин казались мне несовместимыми друг с другом. А теперь, спустя столько лет, я вижу, что все они работали вместе, рядом; да и не может один человек охватить всё, не дано ему.

Ленинград, декабрь 1970 г.
В. В. Стерлигов

ТОТАЛИТАРНАЯ АНАРХИЯ*

Это было очень давно, почти сорок лет тому назад. Наш каторжный транспорт, попав по ошибке в Освенцим (Аушвиц), где власти готовились к немедленному истреблению около двух тысяч французских евреев, отделался легким испугом, мелкими неприятностями и номерами на левой руке — но без отличительной буквы, поскольку "арийцам" почему-то не считали нужным ставить "А".

Поразмыслив, эсэсовцы решили отправить нас в Бухенвальд, в лагерь, который, за неимением в Германии "шарашек", считался, по тогдашним понятиям, чем-то вроде "Первого Круга" немецкого ада.

Оказавшись в этом "Первом Круге", я вскоре открыл, что настоящими его хозяевами или, скажем, "ответственными чертями", были не эсэсовцы, а советские коммунисты, находившиеся на положении заключенных. Несколько лет тому назад мне привелось подробно описать этот жизненный эксперимент на страницах "Русской Мысли". Сегодня же я ограничусь лишь одним эпизодом — встречей с первым в моей жизни "номенклатурным работником".

В Совдепии он был каким-то районным чином, а в Красной Армии служил политруком. Попав в плен, он сумел выдать себя за простого красноармейца, но затем за антивласовскую пропа-

*Автор этой статьи, Михаил Васильевич Гардер, сын русского эмигранта, офицера-артиллериста, сделал во Франции блестящую карьеру. Он — бывший офицер Генштаба французской армии и профессор французских академий, советник при французском Институте Стратегических Исследований и вице-председатель Центра по изучению Западно-Восточных отношений. Эта статья написана до смерти Андропова, но суть ее от этого не меняется.РЕД.

ганду был переведен из военлагеря в Бухенвальд. В "чертовско-лагерной" иерархии он занимал довольно скромную должность, будучи "Stubendienst Älteste" нашего барака, т. е. чем-то средним между английским "butler"ом, русским управляющим и советским "придурком". Находясь год под его непосредственным начальством в качестве "блокового переводчика", я имел честь переводить на французский язык его приказания и слушать, время от времени, его политвешания.

Однажды мой упитанный держиморда — от голода он, конечно, не страдал, соизволил объяснить мне большевистское толкование русской революции. "Мы заменили, — сказал он мне, — царскую анархию крепкой народной властью". О крепости последней в особенности свидетельствовали ряшка и кулаки моего "учителя". Но, как никак, меня смушало выражение "царская анархия". Воспитанный в монархической среде — и дома и в русском приюте в Каннах, — я с детства привык к таким понятиям, как "самодержавие", "неограниченная власть русских царей", царствующих "на славу нам" и "на страх врагам", — что, конечно, не совсем вязалось с легкостью крушения монархического строя в феврале 1917 года.

В конечном итоге, в изречении моего "номенклатуриста" была какая-то доля правды, и впоследствии, изучая предпосылки и развязку русской катастрофы, я часто его вспоминал.

Говорят, что история не повторяется, а заикается, и, как мне кажется, за последние семь лет "крепкая народная власть" моего бухенвальдского начальника превратилась в некую оригинальную форму *безвластья*, которую я бы назвал *тоталитарной анархией*.

На самом деле процесс этой деградации "крепкой народной власти" начался еще после смерти Сталина в 1953 году, когда наследники "Отца Народов" оказались неспособны его заменить в трех его ипостасях — божества, советского императора и верховного жреца собственной религии.

Затем, после совершенного Хрушевым на XX съезде партии в феврале 1956 года "богоубийства", началась секуляризация бывшей идолократии, несмотря на то, что Хрушев, захватив окончательно власть, и пытался как-то ее укрепить. 14 октября 1964 года сами же помощники нового горе-монарха низложили

его, как какого-то обыкновенного буржуазного премьер-министра, тем самым положив конец тоталитарной монархии.

ПАРТОКРАТИЧЕСКАЯ ОЛИГАРХИЯ (1964-1968)

Первые четыре года так называемой "Брежневской эры" можно определить как период *партократической олигархии*, когда вся власть принадлежала высшему слою партаппарата, иными словами, — духовенству без божества. В состав этой олигархии входила добрая сотня членов высших партийных инстанций — Политбюро, Секретариата ЦК, начальники и зам. начальников отделов ЦК. Таким образом, на решающем уровне создавалась огромная головка, напоминающая Боярскую думу времен Смуты — интригами, местничеством и низким умственным уровнем.

Очень быстро стало ясно, что эта необоярская дума неспособна принимать немедленные решения. Так, в июне 1967 года наблюдатели были поражены пассивностью Кремля, когда Израиль за пять дней разгромил Египет, Иорданию и нанес крупное поражение Сирии, а Румыния позволила себе вольность сохранить дипломатические отношения с Израилем, несмотря на давление советских "друзей". Но еще более явно выявилось это отсутствие немедленной реакции в 1968 году, когда Москва более восьми месяцев терпела процесс либерализации в Чехословакии, тогда как всякому "нормальному" коммунисту было как день ясно, что чехословацкую "контрреволюцию" нужно немедленно пресечь.

ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (1969-1977)

После чехословацких событий КГБ предпринял сложный маневр с целью проникновения в партократию и захвата в ней ключевых позиций. Маневр этот начался с покушения на Брежнева 23 января 1969 года, исполнитель которого, лейтенант Ильин, был явной жертвой чекистской провокации. Для КГБ это покушение было беспроигрышной лотереей. При всех вариан-

тах, можно было объяснить олигархам, что, для их безопасности, необходимо вернуть чекистам их бывшие привилегии.

Поскольку Брежнев благополучно выскочил из этого опасного происшествия, то он сам же и помог гебистам, чья оперативная группа во главе с генералом Цвигуном была прикомандирована к его личному штабу. Благодаря этому своему "передовому отряду", Управление Госбезопасности оказалось в непосредственной связи с Политбюро и занялось "колонизацией" различных эшелонов власти. Так, например, уже в 1969 году ему удалось продвинуть на посты Первых секретарей Компартии Азербайджана, Грузии и Украины своих людей в лице Алиева, Шеварднадзе и Щербицкого.

Высшее военное командование реагировало на этот маневр. И благодаря своим организациям, вроде сети Главного Политуправления, через офицеров запаса или Гражданской Обороны, также начало пропихивать внутрь олигархии своих людей.

В 1973 году министр обороны маршал Гречко, глава КГБ Юрий Андропов и министр иностранных дел Андрей Громыко, чье министерство давно уже превратилось в чекистскую колонию, стали членами Политбюро, благодаря чему их ведомства частично вышли из-под опеки аппарата ЦК. Поскольку военные — в лице маршала Гречко — два года подряд не сходили с авансены, некоторые западные специалисты стали говорить о милитаризации советского режима, или даже о "стратократии".

Но в 1976 году маршал Гречко и его Первый заместитель — маршал Якубовский неожиданно, и можно сказать — таинственно, умирают. Согласно нормальному порядку вещей, на место Гречко должен был быть назначен Куликов, но Политбюро предпочло ему штатского Устинова, до того занимавшегося вопросами вооружения в ЦК. А Начальником Генерального Штаба выдвигается "сапер" Огарков, произведенный в маршалы Советского Союза, т. е. в звание, на которое в принципе имеют право лишь общевоинские генералы. Таким образом, во главе Вооруженных Сил оказались два лже-маршала. В кулисах же Боярской Думы чекисты взяли тем временем верх, и в апреле 1977 года главе КГБ Андропову была оказана честь выступить с докладом по случаю 107-й годов-

шины со дня рождения "великого гуманиста" Ленина. Олигархия стала принимать курьезную форму коллективного управления трех столпов большевизма, т. е. авторхановское определение "партократии" заменяется "чекисто-страто-партократией".

КОНЕЦ БРЕЖНЕВСКОЙ ЭРЫ (1978-1982)

Последние четыре с лишним года царствования Ильича II-го представляются куда менее победоносными, чем это считают на Западе. Напомним лишь несколько основных фактов.

С начала 1978 года становится ясным, что наступление на Африканском континенте никакой пользы Москве не принесло. Советчики и кубинцы завязли в Анголе и Мозамбике, эфиопская "революция" никак не может справиться с эритрейскими повстанцами, "союзник" Каддафи делает, что он хочет.

А в это время в Азии произошли или готовятся крупные события. В Китае в свое время, в 1976 году, КГБ прозевал наследие Мао Цзе Дуна и к власти пришел злейший и хитрейший враг СССР Дэн Сяо Пин. В Индии Москва не поддержала в нужный момент Индиру Ганди и та, проиграв на выборах, едва не угодила в тюрьму. Естественно, что дочь Неру никогда теперь не простит "советским друзьям" их измену 1977 года. В апреле 1978 года в Кабуле КГБ удачно провел дворцовый переворот, но вместо того, чтобы оставить у власти генерала авиации, ликвидировавшего принца Мохаммеда Дауда, советский посол-узбек, сам чекистский генерал, пропихнул своего ставленника, коммуниста Тараки. Эта крупнейшая ошибка привела к массовому дезертирству из афганской армии и к неизбежности советского вмешательства впоследствии* — в декабре 1979 года.

Наконец, 13 августа 1978 года произошло *самое крупное, с 1945 года, событие на мировой сцене — Китайско-Японское*

*10 мая 1978 г. автор этих строк, анализируя положение в своем Центре Стратегических исследований, пришел к заключению, что через год-полтора СССР будет вынужден послать войска в Афганистан, чтобы справиться с повстанцами.

сближение, т. е. то, чего больше всего боялись в Москве и что недостаточно оценили на Западе. С этого момента московские стратеги, как в поэме Кюхельбекера, "не знают, что им предпринять" — то ли сблизиться с азиатами против Запада, то ли с Западом против "желтой опасности". И, как часто бывает в таких случаях, они сами же сближают потенциальных врагов. Из-за этой позиции Буриданова осла, Москва оказалась не в состоянии использовать Иранскую революцию и, потерпев двойную неудачу на Дальнем Востоке (сближение Китая с США и удар, нанесенный Китаем Вьетнаму), попыталась в апреле 1979 года сделать шаг в сторону некоторого сближения с Вашингтоном. Наивный президент Картер немедленно отреагировал. Договор СОЛТ-2 представлялся ему личной дипломатической победой. Но, увы, после "исторических" поцелуев в Вене, Картер вдруг обнаружил, что его "друг" Брежнев уже нацелил на Западную Европу несколько сот ракет СС-20.

В ноябре 1979 года иранские фанатики захватили американское посольство в Тегеране. Картер надеялся на моральную поддержку своего "друга" Брежнева, но советская олигархия оценила положение иначе. Считая американскую операцию в Тегеране неизбежной (она и была проведена, но... в 1980 году и, увы, из рук вон плохо), московские стратеги решили опередить ее в Афганистане. Афганская операция проводится, как известно, с декабря 1979 года, а советский воз и ныне там.

В 1980 году начались польские события... и, вопреки советским надеждам, в ноябре того же года американцы проголосовали за Рейгана. Москве пришлось менять свои стратегические планы, что и произошло на 26-м съезде партии в марте 1981 года.

"Африканский театр" становится теперь второстепенным. Главное усилие направлено на Азию с целью разъединить Китайско-Японский бином и, опираясь на союзников — Вьетнам и Индию, — постараться вернуть Китай в советский лагерь. А заодно — поставить под угрозу Персидский залив. На западном же театре решено проводить серию "мирных наступлений", основанных на страхе перед атомной войной и на разных пацифистских движениях, с тем, чтобы отколоть Европу от США и ее раздробить. Отметим, что с этого момента Афганистан на

”азиатском театре” и Польша — на ”западном” становятся ”досадными занозами”, с которыми советским желательно бы было справиться как можно быстрее. В Афганистане советское командование не в силах добиться замирения. В Польше ”грязная работа” поручена генералу Ярузельскому, но его победа лишь временная; ушедшие в подполье члены ”Солидарности” с первых месяцев 1982 года начали ”психо-политическую партизанскую войну”.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В КРЕМЛЕ

(январь-ноябрь 1982)

С января 1982 года борьба за власть в Кремле приняла особо острую форму, скорее напоминающую сведение счетов в гангстерской шайке, нежели классическую политическую игру.

В этой поножовщине обращают на себя внимание пять тайн, которые предстоит разгадать будущим историкам Советского Союза.

Первая — скоропостижная кончина в конце января 1982 года генерала безопасности С. Цвигуна, естественного преемника Андропова во главе КГБ. Официально его смерть приписывалась ”длительной болезни”, как и в случаях с маршалами Гречко и Якубовским, но т. н. ”осведомленные круги” вскоре дали понять, что генерал покончил жизнь самоубийством и намекали, что к этому его принудил Суслов.

Вскоре после этой таинственной смерти умер и сам ”товарищ” Суслов, также после ”длительной болезни”, и *второй тайной* является замена Суслова на посту Секретаря ЦК партии Юрием Андроповым и назначение главой КГБ второстепенного чекиста Федорчука, тогда как нормально эта должность должна была перейти к первому заместителю Андропова — Циневу.

Третья тайна — малоизвестный на Западе инцидент, происшедший 24 сентября 1982 года в Баку, куда Брежнев приехал награждать Азербайджан орденом Ленина. Выступая с речью перед местными властями и миллионами советских телезрителей, покойный ”монарх” начал читать не тот текст и заметил свою ошибку только тогда, когда его секретарь подсунул ему настоящую версию речи. Нужно сказать, что эта ”курьезная

ошибка”, недопустимая при тоталитарном режиме, вполне совпадала с анекдотом о том же Брежневе, приветствующем М. Тэтчер речью, предназначенной для Индиры Ганди. Этот промах, конечно, произвел соответствующее впечатление на советских телезрителей. После чего местный сатрап, бывший чекист Алиев обратился к полуживому генсеку с исключительно подхалимской речью, в которой “товарищ Брежнев” поминался двадцать три раза.

Четвертая тайна — прием в Кремле, 25 октября того же года, тем же Брежневым всего советского генералитета, т. е. более 500 маршалов, адмиралов и генералов во главе с министром обороны Устиновым. Судя по речи покойного главара, он старался как польстить генералитету, так заодно и укрепить среди военных престиж навязанного им партией министра. Эта тайна частично объясняется двумя тревожными для советского командования событиями: новой ориентацией американской военной мысли в области освоения космоса и разгромом сирийских вооруженных сил израильской авиацией. И то и другое более чем встревожило советский Генеральный Штаб, но на Западе, во всяком случае, в журналистских кругах, этого никто не заметил.

Наконец, *пятая тайна* — это краткое междуцарствие 10-го и 11 ноября 1982 года после смерти Брежнева, во время которого “таинственный некто” сумел убедить официального наследника Черненко отречься в пользу Андропова и даже выставить кандидатуру последнего на советский трон. Добавим к этому, что физическая кончина Брежнева повлекла за собой политическую смерть одного из его приверженцев — Андрея Кириленко.

Дворцовая мини-революция. В свое время, подобно профессору Авторханову, я назвал эту пятую тайну дворцовой мини-революцией. “Таинственный некто” или “Deus ex machina” этой тайны — коллективная личность: активная группа заговорщиков, включающая приверженцев Суслова внутри чекисто-стратопартократической олигархии. Поскольку с 1957 года Суслов играл в большевистской идолократии роль Самуила во Израили, благословив на царство сперва Хрущева, а затем Брежнева, вероятно, его окружение сумело ему доказать недостойнство

Черненко и прочих "днепропетровцев" и необходимость "помазания на царство" Юрия Андропова, верного сына "сусловского племени". Находясь во главе КГБ, последний тоже, конечно, не сидел сложа руки. Отделавшись от Цвигуна, заговорщики повели наступление на престиж самого Брежнева как вождя и на позиции его ближайшего окружения, скомпрометированного крупными финансовыми скандалами. После смерти Суслова* заговорщики пропихнули на его место Андропова, а на должность главы КГБ поставили второразрядного чекиста Федорчука, что, вероятно, не очень понравилось многим старым чекистам.

Отметим, наконец, что победа Андропова 11 ноября 1982 года была далеко не полной. Ему и его "шайке" пришлось сделать две крупные уступки противникам: оставить Черненко на втором месте в иерархии и взять в Политбюро Алиева.

ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ В 1983 ГОДУ

Восшествие на престол Андропова не положило конец борьбе за власть между его сторонниками и "днепропетровцами". Схематически это "соствязание" можно разделить на три фазы.

Первая — наступление "андроповцев" с декабря 1982 по май 1983 года. Наступление велось под лозунгом борьбы со взяточничеством, паразитизмом и т. п. и конечной целью имело достать самого Черненко. Вначале были достигнуты кое-какие результаты: пали министр внутренних дел Н. Щелоков, несколько второстепенных министров, директор "Елисеевского" гастронома № 1 и ряд вельмож "днепропетровской" юрисдикции. Андроповские опричники травили спекулянтов, пьяниц, бездельников, иными словами — подавляющее большинство населения Советского Союза, и благодаря своему непродуманному масштабу, наступление захлебнулось.

Проведя заключительную часть этого наступления в Кремлевской клинике, что породило у его противников ложные надежды, Черненко вдруг чудотворно выздоровел и "днепро-

*Естественной или неестественной — мы не знаем, что в конце концов и не имеет значения, поскольку в Советском Союзе все неестественно.

петровцы” перешли в контрнаступление. Подготовкой последнего явился ловкий шаг старых чекистов, которым Федорчук был неприемлем. Воспользовавшись падением Щелокова, “кто-то” предложил заменить его на посту министра внутренних дел его победителем Федорчуком. Федорчук стал министром внутренних дел и... потерял КГБ, главой которого “кто-то” помог назначить старого днепропетровца Чебрикова.

На Июньском пленуме ЦК Черненко выглядел отлично, тогда как Андропов стал, пока что только с точки зрения внешности физической, удивительно похож на покойного Брежнева. При этом, как и с Брежневым в 1982 году, официальное телевидение не потрудились затушевать недуги Андропова.

Наконец, третья и последняя фаза исчезновения Андропова с 18-го августа 1983 года. Во время этого таинственного исчезновения произошло много событий. Первым была трагедия корейского пассажирского самолета, сбитого над Сахалином советским истребителем по инициативе главнокомандующего ПВО, или вернее, его начштаба генерала Романова. Принимая решение об уничтожении корейского пассажирского самолета, штаб ПВО сделал это не только без ведома Андропова и Политбюро, но, по-видимому, не потрудились обратиться за директивами в Генштаб Вооруженных Сил. Таким образом, ни начальник Главного Оперативного Управления, маршал Ахrameев, ни начальник Генерального Штаба, маршал Огарков, ни министр обороны Устинов не были в курсе дела, хотя им и пришлось покрывать инициативу подчиненных! Только этим фактом можно объяснить все “перебои” в освещении этого события советской прессой. Этот факт еще раз подчеркивает и то анархическое состояние, которое сложилось в Москве. Обстановка на внешних театрах тем временем быстро менялась, а на Западе специалисты интересовались только лишь здоровьем “господина Андропова”, не задаваясь единственно важным вопросом: а кто же правит в Кремле?

ТОТАЛИТАРНАЯ АНАРХИЯ

”Решающий уровень” возглавляемой полуживым монархом “чекисто-страто-партократической” московской олигархии —

около 120 аппаратчиков в возрасте в среднем около 71 года — лишь частично контролируют КГБ и вооруженные силы через посредство аппарата ЦК партии.

Около трех тысяч "трудоустроенных", распределяющихся между 22-мя управлениями аппарата ЦК, и несколько тысяч таких же образованных бездельников, составляющих штаты научных институтов типа МИМО или Института по изучению Америки ежедневно производят тонны докладных записок для начальства и директив для "исполнительного уровня", главным образом ради оправдания своего существования, а не в целях управления. Тем временем чекисты и военные все больше и больше выходят из-под контроля этого "генерального штаба всеобъемлющей стратегии", созданного в свое время Сталиным и теперь лишь вздыхающего о добром старом времени.

Мы уже отметили роль военных в деле с корейским самолетом. Для нас также ясно, что крупные террористические акции в Ливане против американцев, французов и израильтян, или в Рангуне (покушение на южнокорейских министров) — дело рук чекистов, действовавших без ведома Политбюро или даже аппарата ЦК.

Аппарат ЦК, стараясь опять прибрать систему к рукам, делает упор на пропаганду и главным образом на военный психоз, что порождает во всей советской империи истерический страх перед неизбежностью атомной войны, якобы запланированной американцами.

1984 ГОД

Мы вступили в 1984 год, столь судьбоносный у Орвелла и Амальрика. Советский режим в этом пресловутом году, несмотря на всю свою тоталитарную сущность, все более и более напоминает судно без капитана и без руля. Опасная деградация советского режима сочетается с возрастающим числом проблем, стоящих перед кремлевскими стратегами.

На внутреннем театре коммунистической империи отметим в первую очередь "польскую головоломку" и "афганский нарыв". В Польше не только ничего не решено, но в 1984 году нужно ожидать еще более крупных событий. Подпольная

организация "Солидарности" окрепла; Церковь, не добившись компромисса с властями, находится в оппозиции; население еще сильнее настроено против власти, и, что еще опаснее, — настроения в армии резко ухудшаются. Нельзя упускать из виду, что "плохой пример" поляков оказывает свое воздействие на население Прибалтики, Белоруссии и Западной Украины.

То же самое можно сказать и про "афганский нарыв" и мета-стазы, которые он дает в мусульманских республиках советской Средней Азии. В самом Афганистане советский экспедиционный корпус глубоко завяз в колониальной войне, а его рядовой состав и младшие командиры гниют, так сказать, на корню. Пьянство, наркотики, продажа оружия и патронов местным жителям, полное отсутствие веры губят там десятки тысяч советских молодых людей.

Помимо этих двух коренных вопросов, Кремлю в 1984 году предстоит, как и раньше, решать проблему народного хозяйства, национальные проблемы и проблему усиливающейся тяги населения к религии.

На *"внешнем театре"*, несмотря на мощные вооруженные силы и на отсутствие единства у противника, положение советской империи далеко не столь блестяще, как себе его представляют многие западные обозреватели.

На Дальнем Востоке Москве не только не удалось разъединить Японо-Китайский бином, но последний еще более сплотился в конце ноября 1983 года. А поскольку Япония связана, с точки зрения обороны, с США и Южной Кореей, то постепенно создается мощная оборонительная система, о которой давно мечтали в Вашингтоне.

Единственный верный союзник Москвы в этой части света — Вьетнам — не может справиться с Камбоджийским вопросом, переживает внутренний экономический и политический кризис и находится под прямой угрозой Китая. Тем временем Индия играет свою личную игру — и не всегда на руку СССР. На Ближнем Востоке Ирако-Иранская война не принесла никакой пользы Советскому Союзу, окончательно поссорившемуся с Тегераном и потерявшему влияние в Багдаде. Несмотря на все усилия КГБ и военных советников, полной уверенности в сирийских союзниках у Москвы нет, и советский престиж сильно упал

в остальных арабских странах.

В Африке, где, как уже было сказано, Москва заняла оборонительную позицию с 1981 года, просоветские режимы в Анголе и Мозамбике находятся все в более трудном положении. Эфиопские коммунисты стоят Советскому Союзу весьма дорого и при этом не приносят никакой пользы, и лишь Ливия Каддафи порой кое-что предпринимает. Так или иначе, от африканских успехов прошлого десятилетия остались одни воспоминания.

Наконец, на "западном театре", несмотря на все "мирные наступления" Кремля, первые евроракеты прибыли из Америки в назначенное время и советская делегация демонстративно покинула Женеву в надежде повлиять на общественное мнение в США.

Теперь Москва находится в преддверии новой фазы в гонке вооружений по всем видам: условному, ядерному и космическому. В настоящий момент СССР еще временно лидирует в двух первых видах, но к концу настоящего десятилетия, особенно если Рейган будет переизбран, положение может радикально измениться в пользу США по всем трем видам вооружений.

Один только этот краткий перечень проблем, прибавляемых к тем анархическим тенденциям внутри верхних эшелонов власти, о которых мы говорили выше, приводит к заключению, что мы находимся накануне крупных событий в Кремле. Царствование Андропова подходит к концу и мы приближаемся или к настоящей дворцовой революции с арестами и ликвидациями, победителем которой может быть хотя бы Алиев, или к захвату власти военными. 1984 год откроет, возможно, начало новой эры, штатской или военной, в истории СССР. После всего того, что пережила многострадальная Россия, эта "эра" вряд ли будет хуже предыдущих!

М. В. Гардер

ПРЕДТЕЧИ АВГУСТА*

Я закончил эту статью 17 ноября 1981 г., меньше чем за месяц до введения в Польше военного положения. Я тогда писал: "Конечной целью (советского режима и его варшавского отделения) является либо уничтожение движения свободных профсоюзов, либо их укрощение и подчинение себе". В то время я не предвидел, что политбюрократы в Варшаве выступят столь быстро и столь массивно, стремясь полностью уничтожить свободное профсоюзное движение.

Акт советского вице-короля Ярузельского 13 декабря 1981 г. явился как бы завершением параллели между Кронштадтом и Польским Августом. Но это — всего лишь одна из ярких сходных черт, которая, в числе многих прочих, бросается в глаза, когда мы обращаемся к этим двум революционным выступлениям.

В своей книге "Кронштадт, 1917-1921. Судьба советской демократии" (1983) проф. И. Гетцлер так описывает общие настроения, имевшие место непосредственно после свержения большевистской власти в Кронштадте: "Безмятежное спокойствие, приподнятость духа и неоправданный оптимизм... объясняются и всеподавляющим чувством внезапного и неожиданного освобождения от жестокой и несправедливой системы, и ощущением равенства всех участников и их ответственности за сохранение и защиту вновь обретенной свободы". Один молодой кронштадский рабо-

*Автор этой статьи — Ричард Т. Дэвис — до своей отставки в 1980 г. в продолжение 33 лет находился на американской дипломатической службе, при этом — дважды на ответственных постах в Москве. С 1973 по 1977 г. он занимал пост посла США в Варшаве. В настоящее время Р. Т. Дэвис — глава Нью-Йоркского исследовательского центра по вопросам религии и прав человека в закрытых обществах.

чий вспоминал, что тогда "каждый делился с другими своим последним, охотно выполнял любую порученную ему работу". Все заговорили свободно, "даже коммунисты". Те же "безмятежное спокойствие, приподнятость духа и неоправданный оптимизм" были предвестниками "повышенно радостного настроения польских рабочих в течение пятнадцати с половиной месяцев законного существования "Солидарности".

После подавления Кронштадтского восстания большевистская газета "Красный Кронштадт" так определила в своей периодической от 6 мая 1921 г. основные черты "диктатуры пролетариата", имеющей быть примененной на острове Котлине: "Ограничение политической свободы, террор, военный централизм и дисциплина, переброска всех средств и ресурсов на создание наступательно-оборонительного государственного аппарата". — Прекрасное определение того, о чем мечтает польская военная хунта и что она хотела бы ввести одновременно с объявлением военного положения, через шестьдесят лет после Кронштадта!

В обстоятельной статье "Вся власть Советам, а не партиям. К шестидесятилетию Кронштадтского восстания" ("Новый Журнал", кн. 144, сент. 1981 г.) Н. В. Моравский пишет: "Кронштадт был изолирован. Вопреки утверждениям советской пропаганды, никакой поддержки от европейских держав Кронштадт не получил. Напротив, некоторые западные страны в какой-то мере содействовали большевикам в тот момент, когда Кронштадт погибал. Так, 16 марта 1921 г. Великобритания заключила торговый договор с Советской Россией, в тот же день в Москве был подписан договор дружбы с Турцией, а 18 марта большевики заключили мирный договор с Польшей" (стр. 229).

Подобным же образом, как я отметил в своей лекции в Оттаве в мае 1982 г., "в течение 16 месяцев, вплоть до 13 декабря 1981 г., Запад поддерживал польских коммунистов, предоставив им более пяти миллиардов долларов новых кредитов, сверх тех 20 миллиардов долларов, которые уже были даны Польше в период между 1971 и 1980 годами". Не упоминая уже об отмене президентом Рейганом введенного Картером эмбарго на поставки пшеницы — и это сразу же после зловещей провокации в Быдгоще и крупных маневров стран Варшавского Пакта на польской территории в марте-апреле 1981 г. Здесь стоит упомянуть и о новых кредитах в 12

миллиардов долларов, которые западноевропейские страны были готовы предоставить СССР на строительство Ямальского трубопровода для доставки природного газа — в результате соглашения, последовавшего во время Брежневского визита в Бонн 18 ноября 1981 г.

Итак, и через шестьдесят лет после подавления Кронштадтского восстания *Запад не научился ничему*.

Параллели и сходство между Польским Августом и Кронштадтом многочисленны и поразительны. Однако, "самоограничивающейся" революции "Солидарности" присуще и коренное отличие от Кронштадта.

Кронштадт, как пишет проф. И. Гетцлер, охватывает собою нечто значительно большее, чем те 18 дней, которые начались 28 февраля 1921 г. Кронштадтская демократия зарождалась стихийно, в народной гуще; с первого же дня Февральской революции 1917 г. Кронштадт стал тем самым "самоуправляющимся обществом", к созданию которого 7 октября 1981 г. призывала программа "Солидарности". В конечном итоге, Ленинской реакцией на Кронштадтскую демократию было, как отмечает И. Гетцлер, "уничтожение последних следов открытой неограниченности русской революции, завершение создания полностью централизованной и бюрократизированной однопартийной диктатуры, проложившей в России путь к сталинизму". Ленин "позаботился о том, чтобы поверженный Кронштадт никогда больше не смог подняться, чтобы демократия так и осталась невыполненным обещанием Русской революции" (там же, стр. 258).

По своей природе Кронштадт был изолированным событием, которое могло иметь место в 1921 г. лишь в скромном масштабе Балтийской военно-морской базы, событием, в котором принимало участие самое большое восемьдесят тысяч человек.

В событиях же Польского Августа участвовало чуть ли не все взрослое население Польши — что-то около 25 миллионов. И если Ленин, Троцкий, Тухачевский и Дзержинский были в состоянии ликвидировать Кронштадтскую ересь с помощью массовых расстрелов, ухода ее вождей в эмиграцию, ссылки уцелевших кронштадтцев за тысячи километров в глубь страны, то Ярузельский оказался всего лишь в состоянии избавиться от небольшой кучки активистов "Солидарности", которых он вынуждал просить права

политического убежища за рубежом. В данное время, по тактическим соображениям, ему даже приходится предоставлять Валенсе "свободу" — пусть и сомнительную.

Однако, самое большое различие между Польским Августом и Кронштадтом в том, что революционный дух "Солидарности" пустил корни в душах всей многомиллионной польской молодежи, в душах тех, кто начал эту революцию и поныне остался ее преданным приверженцем.

"Репрессии против польского народа, "Солидарности" и Валенсы могут задержать свершение их надежд на годы, — пишет французский философ Жак Элюль. — Но идея и надежды выжили. Они живут в вере и помыслах польского народа. Это — не смутная надежда на свободу. Это — твердое убеждение в том, что внедренный Советами режим не уникален, ибо существует другая альтернатива, известная и уже испробованная польским народом".

И все же кое-чего не хватает, чтобы реально осуществить это убеждение, эту альтернативу — не хватает понимания и помощи со стороны Запада. Поэтому-то, кажется мне, большое значение имеет книга Е. Петрова-Скитальца "Кронштадтский тезис". Прежде, чем Запад захочет оказать помощь, он должен осознать границы возможного, *что* ему следует делать, а чего — не следует. Петров-Скиталец пытался поведать об этом Западу, но то был глас вопиющего в пустыне.

Кронштадт разоблачает псевдоисторическую гипотезу о том, что столетия автократии удушают стремление к свободе. Явление "Солидарности" — свидетельство того, что 35 лет тоталитарного режима не могут убить стремления к самоуправлению. Точно так же, как этого не смогли сделать и 65 лет подобного же режима на территории СССР.

Но до тех пор, пока все те, кто верит в то, что Запад должен *понять и помочь*, не сплотятся и пока их голоса не будут отчетливо слышны в шумном сонме противоречивых утверждений, бесценное наследие Кронштадта и Гданьска, жертвы, принесенные миллионами мучеников нашего столетия и чаяния уцелевших страждущих будут оставаться в небрежении и забвении, подобно мудрым словам Евгения Степановича Петрова-Скитальца, чьей светлой памяти я и посвящаю эту статью.

Р.Т.Д. 12 мая 1983 г.



Прежде всего я хочу остановиться на некоторых теоретических и исторических предпосылках Августа 1980 г. в Польше. Революция 1980-81 гг., зачинщиками которой были рабочие и шахтеры, явилась результатом того опыта, который им дала история, опыта их отцов и дедов. Теоретическую основу движения можно проследить в учении католической церкви, в польском Самиздате, во взглядах оппозиционной интеллигенции, особенно в период с 1977 по 1980 годы. Эта основа была довольно узкой, прагматичной, всецело направленной на разрешение вопроса, дотоле никогда в подобной форме не стоявшего: как совершить революцию в тоталитарном обществе?

Дискуссии привели к теоретическому выводу, который можно выразить коротким лозунгом: "Не жгите комитетов — создавайте собственные!". Так, рабочим советовали не подвергать себя преследованиям, выходя на улицы и демонстрируя у местных парткомитетов, что дало бы властям повод утверждать, будто, подавляя демонстрации, они лишь поддерживают законность и порядок. Рабочим советовали создавать свои постоянные представительные организации для ведения переговоров с властями. Генеральными репетициями Августа для польских трудящихся были события декабря 1970 г. и начала 1971-го, приведшие кустранению правительства Гомулки и отмене объявленного незадолго перед тем повышения цен. Стихийные выступления в послеобеденные и вечерние часы 24 июня и утром 25 июня 1976 г. привели к общенациональной забастовке, не ставшей всеобщей только потому, что правительство пошло на попятный, отменив объявленное за 24 часа до того повышение цен.

Вне сомнения, представители интеллигенции, публиковавшие свои статьи в Самиздате, были знакомы с рядом теоретических трудов, о которых я здесь упомяну. Но польские рабочие не готовились к возникновению гипотетической ситуации; они, скорее, ожидали встретить ситуацию, хорошо им знакомую по польской истории послевоенного периода. Такая ситуация возникала неоднократно: в июне 1956 г., в декабре 1970 г. и в июне 1976 г. — когда коммунистический режим тайно принимал решения, непосредственно касавшиеся повседневной жизни трудящихся без

малейших попыток учитывать интересы этих самых трудящихся.

Идеи, подготовившие почву для зарождения движения свободных профсоюзов, можно найти в первую очередь на страницах "Роботника" ("Рабочего"), издававшегося под эгидой Комитета Защиты Рабочих (КЗР)* и редактировавшегося Яном Литыньским, а также в деятельности интеллигенции и церкви по рабочему вопросу за четыре года, предшествовавшие Августу. Многие можно почерпнуть из посланий Польского епископата, из выступлений и посланий кардинала Стефана Вышиньского и кардинала Кароля Войтылы, будущего Папы Римского. До 1939 г. кардинал Вышиньский, будучи ксендзом-рабочим, основал и возглавил Университет Христианских Рабочих, писал труды о социализме и тред-юнионах, активно участвовал в организации католических профсоюзов. В середине 1970-х годов кардинал Вышиньский представил правительству свои обширные замечания к проекту трудового законодательства, замечания, которые, как он сетовал, были, в основном, оставлены без внимания.

Наконец, следует отметить и внешние влияния. Укажу лишь на некоторые из них:

— Результаты сравнения поляками жизни в Польше и в странах, откуда в большом количестве приезжали к ним в гости бывшие соотечественники и родственники.

— Влияние непрекращающегося обсуждения будущего Польши, которое велось и ведется поляками, живущими как в диаспоре, так и в самой стране.

— Влияние на поляков движения советских диссидентов, их пример, их идеи. Ведь именно в Москве родилась идея *гласности* — открытых политических обсуждений, — вопреки вечно присутствующей угрозе преследований, равно как и идея предъявления властям требований точно, до буквы следовать законам. Эти идеи были весьма успешно воплощены в жизнь в Польше уже после того, как голоса, поднявшие их на шит в Советском Союзе, были подавлены мощной волной репрессивных мер КГБ, последовавших вслед за подписанием Заключительного Акта Хельсинкской Конференции.

*По-польски — KOP — *P.T.D.*

— Влияние самого Заключительного Акта, полностью опубликованного официальной прессой всех социалистических стран, тех перспектив, которые он сулил, а также отклика на него в других странах Восточной Европы (особенно ярким примером здесь может служить "Хартия-77" в Чехословакии).

— Влияние зарубежного радиовещания на польском и других языках, благодаря которому широкие круги слушателей в Польше имели представление о дискуссиях и развитии событий.

Наконец, одним из наиболее интересных аспектов событий конца 1970-х годов было усвоение польским рабочим классом общенациональных идеалов интеллигенции, которая, в свою очередь, в значительной мере унаследовала их от польской шляхты прошлого века. Того представления о миссии Польши, что было столь бережно сохранено и взлелеяно церковью в период долгих сумерек Раздела. Именно этим объясняется такой смелый шаг, как обращение Гданьского Конгресса "Солидарности" в начале сентября 1981 г. к рабочим других стран Варшавского Договора. Подобно польским социалистам середины XIX века и А. Герцену, гданьские рабочие обратились к своим товарищам в России и других странах Варшавского Пакта с призывом — "За нашу и вашу свободу!".

Здесь надлежит внести поправку в утверждение, согласно которому Август следовал классическому марксистскому образцу революции. Совершенно очевидно, что он *ему не следовал*. Уж если и искать связи с теориями, сложившимися в 1917 г., то Август, скорее, сродни движению анархистов и анархо-синдикалистов, этих заклятых врагов и презираемых соперников марксизма. Даже самое беглое знакомство с программой "Солидарности", принятой в октябре 1981 г., подтверждает такое мнение.

Сейчас много говорится о чисто польском характере Августа. То, что такое развитие событий — именно тогда и именно так — могло иметь место только в Польше — неоспоримо. Но было бы ошибочно абсолютизировать это утверждение, а тем более прийти к заключению, что подобные события не могут иметь места еще где-либо в коммунистическом мире. В этом смысле, как мне кажется, весьма знаменательно удивительное сходство между Кронштадтской Резолюцией и 21-м требованием Гданьского соглашения, подписанного 31 августа 1980 г. (см. приложение).

Менее чем через четыре года после октябрьского переворота коммунистическая автократия создала в разоренной стране такие условия, которые принудили к восстанию ее собственную "преторианскую гвардию". Несмотря на весь 60-летний опыт коммунистического правления, польские вожди оказались не в состоянии опознать и предотвратить развитие событий, приведших к Августу. Марксизм-ленинизм утверждает, что дает своим приверженцам знание "законов истории" и "безошибочных" истин, успешно применяя которые можно создать "общество нового типа" и "нового человека". Но Август в Польше — и Кронштадт в России — показывают, сколь беспочвенны эти претензии, делают очевидной ту истину, что у коммунистических вождей не больше прав пользоваться государственной властью, чем у политиков любого другого толка.

Вместе с тем следует указать, что чисто польский эгалитаризм и индивидуализм, в свое время приведшие к "либерум вето", живут и здравствуют в индустриализованной Третьей республике точно так же, как они процветали в Первой, Дворянской республике.

Социализм, очевидно, в каком-то виде в Польше останется. Характер и содержание этого социализма определит ведущая сейчас борьба.

Начиная с Августа, никто в Польше не предлагал передать промышленные предприятия и шахты в частные руки. Наибольший упор в сегодняшней борьбе делается на вопросе управления крупными предприятиями. И тут мы снова оказываемся в сфере, характерной для теоретиков анархизма и анархо-синдикализма. Вспоминая поражения своих предшественников в России после 1917 г., Италии до 1922 г. и в Испании после 1936 г., немногие уцелевшие приверженцы анархических идеалов могут испытывать чувство горького удовлетворения от того, что вопросы, поставленные в духе их традиции, оказались злободневными — несмотря ни на что. Так, сторонники идеи "Единого Великого Профсоюза", того, чем так и не смог стать профсоюз "Индустриальных Рабочих Мира", могут найти в "Солидарности" весомое подтверждение своей правоты.

В конце своего сборника выдержек из трудов классиков анархизма Ирвинг Л. Горовиц пишет: "Анархисты — это романтич-

ная, абсурдная порода людей, которые, слава Богу, не могут примириться с излишним гнетом цивилизации” (The Anarchists, N.Y., 1964, p. 603).

Кому дано разрешить загадку человеческой судьбы в пост-индустриальном обществе? Пожалуй — никому. Но польские рабочие романтики, индивидуалисты, вольнодумцы, донкихоты, — отнюдь не герои абсурда, — не пытаются ли они ее разрешить во имя своей свободы — и нашей тоже?

Август

16 августа 1980 г. рабочие верфи им. Ленина в Гданьске отказались принять условия экономического соглашения, предложенные управлением верфи, и решили продолжать забастовку до тех пор, пока не будут удовлетворены требования их товарищей на других предприятиях. В тот же вечер делегаты 20 других предприятий собрались на верфи им. Ленина и образовали Межзаводской Стаечный Комитет (МСК) для согласования действий всех бастующих в районе Трехградья — Гданьске, Сопоте и Гдыне, а также для того, чтобы представлять бастующих в переговорах с властями.

Так родилось уникальное движение, движение, стихийно возникшее среди промышленных рабочих, находящееся под их контролем до сегодняшнего дня и добившееся исторической победы над тоталитарным государством, против которого оно выступило. Эта победа была достигнута в результате восьмидневных лихорадочных переговоров и скреплена подписанием 31 августа Гданьского соглашения, второго соглашения, заключенного между коммунистическим правительством и независимым профсоюзом. Первое такое соглашение было подписано накануне в Щецине, другом промышленном центре польского Балтийского побережья.

С подписанием 3 сентября в Ястжембе-Здруе соглашения с силезским Межзаводским Стаечным Комитетом, представлявшим шахтеров Силезско-Домбровского угольного бассейна, блестящей победой трудящихся в общенациональном масштабе закончился первый этап борьбы. Коммунистическое правительство Польши дало согласие на организацию свободных проф-

союзов и признало за ними право на забастовку.

За 19 дней Польского Августа никто не был убит или ранен. В отличие от прошлых забастовок — в июне 1956 г., декабре 1970 г., июне 1976 г., — ни коммунистические власти, ни бастующие не прибегали к насилию.

Профсоюзное движение или революция?

Можно ли найти в истории другой пример того, как рабочий класс мирным путем заставил внести столь радикальные перемены в политическую структуру государства? Вряд ли.

Августовское стачечное движение было в определенной степени вдохновлено посещением, за год до этого, Папой Иоанном-Павлом II его родной Польши; участники движения поставили себя под духовную защиту мощной Польской католической церкви. Но никто из них не воображал, что забастовочное движение приведет к земному раю или подготовит Второе пришествие, как, например, надеялись участники Мюнстерской коммуны 1534 г. В статье "Записки с Побережья" Рышард Капушиньский дал описание событий и обстановки в Гданьске в конце августа 1980 г. В качестве примера "осторожности и благоразумия" бастующих он приводит рассказ о посещении верфи двумя троцкистами из Испании: "Мы хотим познакомиться с вашей революцией, — заявил один из троцкистов. — "Вы ошибаетесь, — возразил ему представитель Межзаводского Стаечного Комитета, — мы тут революции не делаем. Мы просто приводим в порядок наши собственные дела. Не обижайтесь, но вам придется немедленно покинуть верфь. И больше сюда не возвращайтесь!"

Делегаты МСК, действительно, не намеревались совершать революции. Они не хотели свергать Варшавское правительство, упразднить существующую в стране экономическую систему или требовать перемен в составе Политбюро Польской Объединенной Рабочей Партии — как официально называется польская компартия. Они только требовали организации свободных профсоюзов и создания условий, при которых такие профсоюзы могли бы функционировать. Эти требования были ничем иным, как синдикализмом, или "экономизмом", как его называли большевики.

Как на обоснование права на организацию свободных профсоюзов, первое из 21-го требования гданьских рабочих ссылается на Конвенцию № 87 Международной Организации Труда, ратифицированную Польским правительством в 1956 г. В своих дальнейших переговорах с правительством об утверждении устава, руководство "Солидарности" настаивало на том, чтобы туда был включен текст этой Конвенции, где подтверждается право трудящихся создавать свои организации без предварительного разрешения властей, а также текст Конвенции № 98, также ратифицированной Польским правительством в 1956 г., где говорится о "защите членов профсоюзов против любых дискриминационных актов со стороны правительства или работодателя".

Однако, только слово "революция" подходит для описания тех перемен, которые повлекло за собой принятие рабочих требований о создании свободных профсоюзов в Польше, где почти 35 лет господствовало ленинское понятие о профсоюзах как о "приводных ремнях" партии, призванных мобилизовать лишенных всякой возможности критики трудящихся на поддержку политики однопартийного коммунистического государства. Как только появилась "Солидарность" — независимый самоуправляющийся профсоюз, рабочие стали выходить из официальных "профсоюзов", которые через несколько месяцев после Августа вообще прекратили свое существование как общенациональная организация.

Польский Август был революцией не потому, что рабочие задались целью ее совершить, но потому, что свободным профсоюзам нет места в системе коммунистической идеологии.

Судя по противоречивой реакции на создание "Солидарности" и вызванный этим кризис, руководителям Западных государств было еще труднее, чем вождям Восточноевропейских стран, осознать значение происходящего и внести соответствующие коррективы в свой политический курс. Поначалу многие политические деятели Запада ожидали, что СССР, не будучи в состоянии смириться со столь радикальными переменами во внутренней жизни своего крупнейшего и наиболее стратегически выгодно расположенного европейского сателлита, не преминет вторгнуться в Польшу на самом раннем этапе. Кое-кто даже явно рассчитывал на это, надеясь, что советское вторжение в Польшу поможет

вновь сплотить страны Атлантического союза, убедит западное общественное мнение в желательности увеличения расходов на оборону и покончит, наконец, с политикой "разрядки", расширения торговли Западом с Востоком и с попытками путем переговоров добиться соглашения с СССР о контроле над вооружениями, — то есть приведет к тому, к чему не привело вторжение советских войск в Афганистан.

Вероятно, СССР вторгся бы в Польшу, если бы тамошние события угрожали лишить компартию ее "руководящей политической роли в обществе, строящем социализм", роли, которую она присвоила себе поправкой к Конституции от 10 февраля 1976 г., или же если бы польское правительство попыталось вывести страну из Варшавского Пакта, как это сделало правительство Имре Надя в Венгрии в октябре 1956 г. Многие официальные и неофициальные наблюдатели на Западе были уверены в том, что СССР скорее вторгнется в Польшу, нежели разрешит слабой и растерявшейся Польской компартии произвести перетряску в своих рядах после катастрофических событий лета 1980 г. с тем, чтобы вернуть в свои руки власть политическим путем. Эти наблюдатели не учли в полной мере, во что могло обойтись СССР такое вторжение, начиная с фатального ущерба даже тому немногому, что осталось от политики "разрядки" (все еще представлявшейся советскому руководству, по политическим и экономическим соображениям, крайне важной), и кончая перспективой ведения длительной, изнурительной борьбы с городскими партизанами в европейской стране, спокон века славящейся своей традицией упорного сопротивления захватчикам. Западные политики были так увлечены своими ошибочными прогнозами, что оказались не в состоянии разработать единой политики помощи в деле стабилизации создавшегося в Польше положения.

Если бы "Солидарность" смогла удержать завоеванные позиции и стать постоянной частью социально-политической жизни Польши, мы бы имели дело с совершенно новым феноменом, по меньшей мере такого же значения, как выход Югославии из советского блока, могущим стать ферментом подобных же событий в других странах Восточной Европы. Поэтому Советское правительство и его варшавский филиал в создавшейся обстановке старались из всех сил ограничить и сдержать дальнейшее укрепление

”Солидарности”. Конечно, целью действий правительства было либо уничтожение движения свободных профсоюзов, либо их укрощение и подчинение себе.

За первые пять послевоенных лет своего правления польские коммунисты накопили достаточный опыт в укрощении и подчинении себе организаций, фундаментально отличавшихся от коммунистических, таких, например, как Крестьянская партия, наиболее популярная и представительная партия в стране, или польские профсоюзы, возглавлявшиеся социал-демократическими ветеранами Польской Социалистической партии. Теперь, в борьбе с ”Солидарностью”, коммунисты стали использовать этот свой опыт.

И на Востоке и на Западе неправильное толкование польского свободного профсоюзного движения возникло из-за ошибочного или ложного понимания того, чем были движимы те или иные участники событий, из-за принятия возможного за действительное. Так, советские, восточногерманские и чехословацкие газеты, радио и телевидение с самого начала затянувшегося кризиса в Польше называли ”Солидарность” ”детисшем контрреволюционеров” или, в лучшем случае, — ”манипулируемой контрреволюционерами и экстремистами”. На деле, ни один из связанных с ”Солидарностью” ведущих деятелей никогда серьезно не намеревался уничтожить существующий государственный строй или нарушить существующие отношения Польши с другими государствами. Но так как *самое существование* свободного профсоюзного движения в Польше могло одним своим примером воодушевить тех, кто стал бы требовать таких же перемен у себя, Советский Союз и его сатрапы безо всяких угрызений совести бросались ярлыками.

Западные политические деятели также прекрасно понимали, какую угрозу советские и польские коммунисты видят в подъеме ”Солидарности”. Отчасти введенные в заблуждение еще свежими воспоминаниями о двух недавних примерах реакции СССР на возникновение угрозы коммунистической монополии власти, воспоминаниями о вторжении в Чехословакию и Афганистан, западные политики воспринимали происходившие на их глазах события в неправильной перспективе и поэтому пришли к поспешному заключению о том, что точно такой же будет советская реак-

ция и в Польше.

Целый ряд западных политических деятелей убедил себя в том, что советское руководство считает свою военную машину столь могучей, что дерзнет к ней прибегнуть сейчас с еще большей готовностью, чем прежде. Как доказательство своей точки зрения, они приводили пример Афганистана, забывая, что толчком к вторжению было неизбежное поражение коммунистов в гражданской войне, а совсем не возросшая Кремлевская смелость. На основании других случаев — Югославия 1948-1950 годов, Польша 1956 г., Румыния начала 1960-х годов, коммунистический Китай 1969-1970 годов — мы знаем, что со времен Финской войны 1939 г. СССР никогда не нападал на другую страну, если имел веские основания считать, что встретит упорное и длительное сопротивление. И тут, как и во многом другом, СССР заслуживает характеристики Аверелла Гарримана, который в 1944 г. предупредил Вашингтон, что СССР подготавливает себя к роли "всемирного задиры", нападающего лишь на слабых.

Что такое "Солидарность" и чего она добивается?

Пытаясь понять это единственное в своем роде движение, мы должны начать с рассмотрения его целей, провозглашенных в Гданьском соглашении, а также вспомнить историю свободного профсоюзного движения в Польше.

Из 21 требования — эти требования Гданьский МСК сформулировал между 16 и 23 августа 1980 г. — четырнадцать носят экономический характер и семь — политический. Политические требования сводились к следующим:

1. признание свободных профессиональных союзов согласно Конвенции № 87 МОТ;
2. гарантия права на забастовку;
3. соблюдение свободы слова, печати и печатных изданий;
4. восстановление на рабочих местах уволенных участников забастовок, освобождение политических заключенных и прекращение преследований за убеждения;
5. распространение средствами массовой информации сообщения о создании Межзаводского Стаечного Комитета и опубликование его требований;

6. опубликование полной информации о социально-экономическом положении страны и предоставление возможности всем слоям населения участвовать в обсуждении программы реформ, необходимых для исправления существующего положения;

13. введение принципа подбора руководящих кадров не по партийной принадлежности, а на основе их квалификации; ликвидация всех привилегий для милиции, госбезопасности и парт-аппарата.

Остальные 14 требований касались мер по устранению несправедливостей и неравенства, существующих в экономическом и социальном положении рабочих.

Так, кроме требования о повышении зарплаты в виде компенсации за введенное 1 июля повышение цен, были выдвинуты требования о снижении пенсионного возраста для женщин до 50 лет и до 55 лет для мужчин, об улучшении медицинского обслуживания, о введении всеобщей нерабочей субботы, об ограничении экспорта продуктов питания лишь излишками, остающимися после полного обеспечения внутреннего рынка и т. п.

Но именно политические требования и, в первую очередь, требование о создании свободных профсоюзов, придали Польскому Августу его революционный характер.

Движение за свободные профсоюзы началось в Польше в конце 1977 г., после года всё возрастающей диссидентской деятельности, охватившей всю страну. Оживление политической деятельности началось с быстро распространившейся всеобщей забастовки 24 и 25 июня 1976 г. 24 июня 1976 г. премьер-министр П. Ярошевич объявил о резком повышении цен на основные продукты питания. В ту же ночь и на следующий день по всей стране начались сидячие забастовки. Эти забастовки приняли столь массовый и единодушный характер, что на следующий же день, 25 июня 1976 г., Ярошевич, выступая по национальному телевидению, сообщил об отмене повышения цен. Лишь кое-где демонстрации произошли за пределами стен предприятий. Арест некоторых участников демонстраций и увольнение с работы других привели к созданию КЗР, который стал собирать средства для юридической защиты арестованных рабочих и материальной поддержки их семей, а также для проведения кампании по восстановлению

уволенных на работе. Деятельность КЗР оказалась крайне успешной. К лету 1977 г. почти все арестованные были освобождены и почти все уволенные приняты обратно на работу.

Тем временем стали создаваться другие диссидентские организации, представлявшие самый широкий спектр политических убеждений — от явно антисоветских правых до социал-демократических левых. Стали циркулировать и самые различные публикации Самиздата, такие, например, как "Роботник", названный по имени печатного органа Польской Социалистической партии, поглощенной коммунистами в 1948 г. На страницах "Роботника", издававшегося активистами, связанными с КОР, была разработана стратегия действий, подготовившая путь для создания свободных профсоюзов. В основу этой стратегии легла та точка зрения, согласно которой выход на улицу с протестами даст властям повод переключить внимание с социально-экономических условий, против которых демонстрируют бастующие, на официальные утверждения о нарушении законности и порядка. "Роботник" выдвинул лозунг: "Не жгите комитетов — создавайте собственные!" (здания парткомитетов были подожжены в Гданьске в декабре 1970 г. и в Радоме в июне 1976 г.).

Первый из таких комитетов, за создание которых ратовал "Роботник", был организован в Радоме 4 ноября 1977 г. Комитеты затем появились в Катовицах (февраль 1978 г.), Гданьске (май 1978 г.) и Щецине (октябрь 1979 г.). Основатели этих комитетов и стали в августе-сентябре 1980 г. лидерами той организации, которая образовалась 17 сентября в Гданьске под названием "Независимого Самоуправляющегося Профессионального Союза 'Солидарность'". Среди членов Учредительного комитета свободных трудовых союзов на Балтийском побережье был Лех Валенса, возглавивший в декабре 1970 г. забастовку на верфи им. Ленина — одну из серии стачек на Побережье, приведших к падению правительства Владислава Гомулки, точно так же, как десять лет спустя, в августе 1980 г., забастовки привели к падению его преемника Эдварда Герека.

Таким образом, нельзя считать, что "Солидарность" зародилась самопроизвольно в результате августовских забастовок 1980 г., как и неправильно полагать (это делают некоторые западные наблюдатели), будто "Солидарность" явилась результатом

конспиративной подпольной деятельности, направленной против коммунистической власти и ставящей своей целью ее свержение. Подготовка и организация "Солидарности" велась сознательно и открыто, деятельность эта не скрывалась от коммунистических властей. Более того, активисты свободных профсоюзов добивались гласности и старались распространять свои документы настолько широко, насколько это было возможно при существующей системе. На страницах "Работника" и местных печатных органов (например, "Работник Выбжежа") мужчины и женщины, в августе и сентябре 1980 г. возглавившие местные отделы "Солидарности", занимались пропагандой, разъясняя трудящимся, какой стратегии следует придерживаться для успешного создания первых в коммунистическом мире свободных профсоюзов. Со своей стороны, правительство стремилось, правда, безуспешно, загнать активистов в подполье, в опасную для них обстановку конспирации и молчания.

Но как бы ни называлось движение, приведшее к созданию "Солидарности", оно — уникально. Никогда еще промышленные рабочие не сплывались столь единодушно, да еще под руководством своих же товарищей-рабочих, а не интеллигенции или либеральных теоретиков, сплывались вопреки всем препятствиям, чинимым тоталитарным государством, для создания свободной профессиональной организации.

26 августа 1980 г. корреспондент Би-Би-Си задал Леху Валенсе такой вопрос: "Сможет ли коммунистическое правительство в Польше уцелеть, если оно пойдет на ваши требования? Возможно ли сосуществование коммунизма со свободными профсоюзами?". На это Валенса ответил: "Я не придаю значения терминам. Называйте, как хотите. Но оно [правительство] должно быть эффективным. Оно должно функционировать. Если что-то застопорится, ломается, мы должны это выкинуть или создать что-то другое. По моему опыту 1956, 1968, 1970, 1976 и нынешнего, 1980 года, я знаю, что подобные поломки случаются все чаще и чаще. Мало смысла **продолжать починки. Уж лучше приобрести новую машину**".

Классический марксизм

Кое-кто сравнивает события 1980-1981 гг. с марксистской

революцией. Действительно, с определенной точки зрения, зарождение "Солидарности" — *первая* революция, соответствующая предсказаниям Маркса и Энгельса о том, что пролетариат — класс промышленных рабочих — вынудят к революции противоречия между "материальными производительными силами в обществе" и "существующими производственными отношениями". С этой точки зрения, правящий аппарат компартии ("новый класс" Джиласа, "бюрократическая диктатура" Хиршовича, или "политбюрократическая диктатура" Р. Баро) занял место, отведенное в классической теории Маркса буржуазии.

Так, Троцкий, отрицая, что сталинизм является логическим продолжением большевизма и ленинизма, объяснял триумф сталинизма "буржуазной реставрацией". В "Трех концепциях русской революции" Троцкий писал: "Без содействия пролетарской революции на Западе, как неоднократно повторял [Ленин], в России неизбежна реставрация. И он не ошибался: сталинская бюрократия — не что иное, как первая стадия буржуазной реставрации".

Действительно, некоторые вожди польских коммунистов ощущали себя буржуа в марксистской карикатуре капиталистического общества. Эдвард Герек, например, не устал повторять западным банкирам, посещавшим Польшу: "Наша фирма — надежная!". Как будто вся страна, в которой его партия играла "ведущую роль", являлась одной большой акционерной компанией. В такой компании рядовые коммунисты были для Герек обычными пайщиками, актив партии — держателями привилегированных акций, Политбюро — советом директоров, а самого себя Герек считал главным директором-распорядителем. Что до рабочих и крестьян, простых служащих этой компании, то Герек сетовал, что они строптивы и неблагодарны. К ним он относился с раздраженным самосожалением. "Если им не нравится наша политика, — говорил Герек, — для меня это не имеет никакого значения. Я всегда могу уйти и вернуться к себе в Катовице". В конце-концов его и вынудили уйти.

Можно привести целый ряд марксистских тезисов, на примере Польского Августа подтверждающих теорию Маркса. Так, в "Коммунистическом Манифесте" Маркс и Энгельс писали: "Накопец, в те периоды, когда борьба классов близится к развязке, про-

цесс разложения в среде господствующего класса, внутри всего старого общества принимает такой сильный, такой **резкий** характер, что некоторая часть господствующего класса отделяется от него и примыкает к революционному классу, несущему знамя будущего. Как часть дворянства соединилась некогда с буржуазией, так переходит теперь к пролетариату часть буржуазии, именно, буржуа-идеологи, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения”.

Членов КОР можно причислить к этой “некоторой части господствующего класса”. Лешек Колаковский, Яцек Куронь, Адам Михник и другие лидеры КОР’а в прошлом были коммунистами (а кое-кто вышел из семей видных коммунистических деятелей, впоследствии исключенных из партии). И именно в рядах КОР’а можно встретить ведущих идеологов-диссидентов, после 1976 г. выступивших против партийного государства.

Но есть и веский противовес марксистской интерпретации этих событий. Во-первых, классический марксизм считает постоянно возрастающую нужду пролетариата причиной его растущей революционности и, в конечном счете, причиной будущего свержения пролетариатом господствующего класса. Польский опыт показывает, что волнениям промышленных рабочих непосредственно предшествовал период больших ожиданий, а не годы неуклонно возрастающих невзгод. Эти ожидания родились в 1971 г., когда Герек обещал повысить жизненный уровень, улучшить продовольственное положение, увеличить жилищное строительство и даже предоставить частным лицам возможность приобретать легковые машины. Между 1971 и 1975 годами эти ожидания, как будто, начали сбываться: реальная заработная плата возросла на 40%. Но в 1976 г. рост реальной зарплаты упал в среднем почти на 5% и это подготовило почву для разразившейся драмы, ускоренной попыткой правительства повысить 24 июня цены на основные продукты питания.

Поэтому в марксистскую теорию следует внести поправку в духе следующего наблюдения де Токвиля: “Ни за один период, последующий за [Французской] революцией, страна так быстро не процветала, как за двадцать лет, предшествовавших революции... Далеко не всегда общество прибегает к революции из-за перехода от плохого к худшему”. Так оно было и в Польше в 1976 и 1980

годах.

Трудящиеся Гданьска и Щецина чьи воинственные выступления в 1970 и 1980 годах выдвинули их в качестве лидеров стачечного движения, были в числе наиболее хорошо оплачиваемых и привилегированных рабочих в стране. И здесь мы опять отметим, что Польский Август следовал, скорее, путем де Токвиля, чем Маркса: "Части Франции, ставшие главными очагами революции, были именно теми, чей прогресс был наиболее заметен".

Если польский "новый класс" (который польские рабочие называют "красной буржуазией") считать эквивалентом марксистского понятия буржуазии, а польских промышленных рабочих уподобить марксистскому пролетариату, какое из требований польских трудящихся можно рассматривать в качестве эквивалента "вопроса о собственности" у Маркса? И какое из 21 требования может хотя бы отдаленно напоминать звучную концовку "Коммунистического Манифеста": "Коммунисты... открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего современного общественного строя"?

Если уж и пытаться втиснуть Польский Август в прокрустово ложе марксистской теории, то у него, пожалуй, окажется больше общего с тем, что "Манифест" называет "консервативным" или "буржуазным социализмом", одной из трех разновидностей, на которые Маркс и Энгельс столь ожесточенно нападали — "Консервативные или буржуазные социалисты" — это "экономисты... реформаторы, улучшатели положения рабочего класса", те, кто хочет не "уничтожения буржуазных условий производства, возможного только путем революции, но административных улучшений", "изменений в материальных условиях жизни, в экономических отношениях".

Как мне кажется, сказанного достаточно для того, чтобы убедиться, что в случае Польского Августа марксистская теория может быть полезна не как инструмент, объясняющий эти события, но всего лишь — как метафора.

Анархизм и анархо-синдикализм

Самое название "Солидарность" воскрешает в памяти название другой организации — "Solidaridad Obrera", основанной в

начале нашего века каталонскими националистами, чей национализм был столь же сильным, как и у их польских тезок. Но связь эта — чисто случайная. В своем стремлении избежать насилия и откровенных заявлений, что она находится в долгу перед папой Иоанном-Павлом II и Польской католической церковью, "Солидарность" коренным образом отличается от "Solidaridad Obrera" и ее преемника — анархистской Национальной Конфедерации Труда, организаций, известных своим антиклерикализмом и воинственностью. Но в двух других отношениях Польский Август воскрешает в памяти именно анархическую традицию.

Во-первых, начатое и возглавленное рабочими движение в Польше напоминает движение мятюалистов, рабочих, сплотившихся в Лионе в начале 1840-х годов и воодушевивших Пьера-Жозефа Прюдона отказаться от политической революции в пользу идеи общественных перемен, осуществляемых с помощью промышленных мер. "Социальная революция серьезно себя компрометирует, — писал Прюдон, — если к ней идти через политическую революцию. Новое социалистическое движение начнется как война мастерских, воодушевляя всех силой своих принципов". Неудивительно, что Маркс и Энгельс зачислили Прюдона в "консервативные и буржуазные социалисты".

Хотя Лех Валенса и часть руководства "Солидарности" продолжают подчеркивать, что их организация носит чисто профсоюзный характер, другая часть руководства считает, что для осуществления выдвинутых рабочими требований нужны Польская Рабочая партия и активные политические действия.

Во-вторых, самый факт появления "Солидарности" являет собою живой протест против диктатуры бюрократии и ее поклонения интересам государства, которые она отождествляет с народными интересами. Именно такое обожествление государства, предсказанное анархистами, обратило коллективистский социализм в тиранию куда более свирепую, нежели любая из тех, что когда-либо осуществлялись мифической буржуазией марксистской теории.

В 1870 г. Михаил Бакунин писал: "...природа человека, всякого человека, такова, что, дайте ему власть над собою, он вас притеснит непременно, поставьте его в положение исключительное, вырвите его из равенства, он делается негодяем... Возьмите

самого яростного революционера и посадите его на Всероссийский престол, или дайте ему власть диктаторскую, о которой так много мечтают наши зеленые революционеры, и он через год сделается хуже самого Александра Николаевича”.

Анархисты, как известно, ставили своей целью уничтожение государства. Будучи далека от требований об упразднении государства, “Солидарность” признает за ним дальнейшее существование и даже необходимость в нем, как в партнере, который должен гарантировать и проводить в жизнь ее нужды. Полагаясь на забастовку как на единственное оружие, “Солидарность” по своему характеру приближается к анархо-синдикалистам, тред-юнионистскому варианту анархизма. Но это родство сводится лишь к методам борьбы, а не к их задачам. Для анархо-синдикалистов и частичные забастовки и их апогей — всеобщая забастовка — были лишь частью общей стратегии, конечной целью которой являлась революция, свержение капиталистического государства, его замена рабочими объединениями. Требования и амбиции “Солидарности” куда скромнее.

Критикуя в 1873 г. марксизм, Бакунин указывал, что это — “ложь, за которою кроется деспотизм управляющего меньшинства, ложь тем более опасная, что она подается как выражение мнимой народной воли”.

До Первой Мировой войны Роберт Мишельс, изучая практику немецкой социал-демократической партии, сформулировал свой “железный закон олигархии”, гласящий: “Классовая борьба неизбежно увенчивается созданием новой олигархии, которая затем подвергается процессу смешения со старой олигархией” (R. A. Michels, *Political Parties*, 1915 (1949), p. 390).

Еще до Брюссельского раскола РСДРП в 1903 г. на большевиков и меньшевиков, Роза Люксембург так характеризовала опасности, таящиеся в идее ленинского централизма: “Ультрацентрализм, требуемый Лениным, насыщен стерильным духом надсмотрщика. Дух этот не положительный и не творческий. Ленин озабочен не столько тем, как сделать действия партии более плодотворными, сколько тем, как контролировать партию, тем, как сузить движение, а не развить его, связать его, а не объединить”.

Роза Люксембург приводит заявление Ленина из его статьи

”Шаг вперед, два шага назад”: ”Бюрократизм versus демократизм... это и есть организационный принцип революционной социал-демократии по отношению к организационному принципу оппортунистов социал-демократии”. По этому поводу Роза Люксембург замечает: ”Это — безжалостный, деспотичный централизм, которому оппортунисты-интеллектуалы отдают предпочтение, пока революционным элементам среди рабочих все еще не хватает сплоченности и движение наощупь ищет свою дорогу, как это имеет место сейчас в России... *Ничто с большим успехом не превратит молодое рабочее движение в раба жаждущей власти интеллектуальной элиты, чем эта бюрократическая смиренная рубашка, которая парализует рабочее движение, превратив его в автомат, манипулируемый Центральным Комитетом*”. ”Давайте говорить прямо, — пишет она в заключение, — исторические ошибки, допущенные подлинным революционным движением, бесконечно более плодотворны, чем непогрешимость мудрейшего Центрального Комитета” (R. Luxemburg, *The Russian Revolution and Leninism or Marxism*, Ann Arbor, 1961, pp. 94, 96, 101-102, 108).

Троцкий тоже предвидел результаты того, что он называл ”ленинским эгоцентрализмом”: ”Партийная организация занимает место самой партии, Центральный Комитет становится на место организации, и, наконец, диктатор занимает место Центрального Комитета”. То, что мы узнали после августа 1980 г. о безобразиях в руководстве и о коррупции, характерных для эпохи Герека, не добавляет ничего нового к описанию процесса того бюрократического вырождения, о котором говорили Троцкий и его сторонники.

В 1928 г. Христиан Раковский, один из самых красноречивых апологетов троцкистской оппозиции в те годы, писал: ”Когда тот или иной класс захватывает власть, какая-то его часть становится представителем этой власти. Таким образом, вперед выдвигается бюрократия. В социалистическом государстве, где членам правящей партии запрещено делать капиталистические накопления, различие начинается с функционального, а затем приобретает и социальный характер. Я имею в виду общественное положение коммуниста, который распоряжается автомобилем, хорошей квартирой, регулярно ездит в отпуск, получает максимальную зар-

плату, утвержденную партией, — положение, отличное от положения коммуниста, работающего на угольной шахте и зарабатывающего пятьдесят-шестьдесят рублей в месяц”.

В 1930 г. Раковский высказывался еще более откровенно: “Из “рабочего государства с буржуазным уклоном”, как определил наш строй Ленин, мы превратились в *бюрократическое государство с пролетарско-коммунистическими пережитками*. На наших глазах *формируется огромный класс правителей*, и он продолжает развиваться... Объединяющим фактором для этого уникального класса является уникальная форма частной собственности — государственная власть. “Бюрократия владеет государством в порядке частной собственности”, — писал Маркс” (Essential Works of Socialism, p. 371-373).

В “Преданной революции” (1937 г.) Троцкий развивает такую мысль: “Средства производства принадлежат государству. Но государство, так сказать, “принадлежит” бюрократии... В своей посреднической и регулирующей функции, в своей заботе сохранить социальные ранги и в эксплуатации государственного аппарата в личных целях советская бюрократия похожа на любую другую бюрократию, особенно фашистскую. Но есть и существенное отличие. Ни при каком другом режиме бюрократия никогда не достигала такой степени независимости от господствующего класса (т. е. пролетариата)”. Там же, словно предвидя условия, толкнувшие польских трудящихся на выступления в 1956-1980 годах, Троцкий писал: “В основе бюрократического управления лежит нужда общества в предметах потребления, что приводит к борьбе каждого против всех. Когда в магазине достаточно товаров, покупатели приходят туда, когда им вздумается. Когда товаров мало, покупатели вынуждены стоять в очереди. Когда очереди становятся слишком длинными, для поддержания порядка надо ставить полицейского. Вот с чего начинается власть советской бюрократии. Она “знает”, кому следует получить, а кому — надо подождать”.

Троцкий и его последователи утверждали, что диктатура бюрократии является искажением подлинного коммунизма в результате сталинской замены законно созданных руководящих органов партии — ЦК и Политбюро — партийно-государственной бюрократией, аппаратом, руководимым собственным бюро-

кратическим уделом Сталина — его Секретариатом. Такое искажение, утверждали троцкисты, произошло в силу ряда обстоятельств, но отнюдь не является неизбежным следствием большевизма и не сможет просуществовать долгое время. Конечно, заверяли они, под руководством Троцкого подобной дегенерации произойти бы не могло.

Но Сталин продолжал оставаться у кормила власти, а бюрократическая диктатура укоренилась не только в СССР, но и в странах "народной демократии", созданных советским руководством в Восточной Европе после Второй Мировой войны.

"Новый класс"

Большинству стран "народной демократии" сталинизм был навязан извне. Лишь в Албании и Югославии его построили местные кадры. Однако, во всех этих странах в той или иной мере существовали традиции парламентарной системы. Их интеллигенция обращала свои взоры в сторону Франции (и чуть меньше — Англии) как на образцовую страну с "цивилизованной государственной системой". Борьба, раздиравшая Германию и приведшая к захвату власти нацистами, была для этой интеллигенции не предметом одного только сугубо академического интереса; она на себе испытала сначала немецкую оккупацию, а затем оккупацию советскую.

С другой стороны, особенно с начала 1930-х годов, советские граждане были уже полностью изолированы от внешнего мира и не имели никакой возможности сравнивать, что, быть может, позволило бы им увидеть свою государственную систему как некое чудовище. Тех же, кто все еще видел в этом строе чудовище, из советского общества элиминировали. Только лишь в начале 1960-х годов, спустя несколько лет после освобождения уцелевших узников сталинских лагерей, в Советском Союзе появилось диссидентское движение.

Тем временем в Восточной Европе семена возмущения были посеяны сталинскими попытками принудить вождей "народных демократий" к единомыслию прямо-таки методами физиолога Павлова. Эти попытки привели в 1948 г. к разрыву между Югославией и СССР, а в других Восточноевропейских странах — к

клеймению одного коммунистического вождя за другим как "титоистов". После смерти Сталина семена возмущения стали давать ростки — сперва в Чехословакии и Восточной Германии (1953 г.), затем — более сильные — в Польше и Венгрии (1956 г.). Во время Польского Октября 1956 г. "титоист" Гомулка, оказавшийся в немилости в 1948-1949 годах, вернулся к власти, заняв пост Первого секретаря компартии. В атмосфере процветавших тогда "откровенности и самокритики" печатный орган польских студентов-марксистов "По просту" ("Откровенно говоря") так описывал опасность, грозившую превратить Польшу в бюрократическую диктатуру: "Этот новый [правлящий] класс... мог лишить рабочий класс всего, даже не восстанавливая в каком бы то ни было виде частную собственность на средства производства. Этот класс знал, как создавать себе привилегии, как отделять себя ото всех остальных стеной изолированных "элитарных" институтов, другого образа жизни, другого типа культуры, других жилищных условий... все тем, что обуславливалось их экономическими и политическими привилегиями". Эта опасность, наивно считала редакция "По Просту", была предотвращена Польским Октябрем, повернувшим страну с тропы сталинизма на "польский путь к социализму".

Год спустя Милован Джилас, один из вождей Югославской компартии, порвавший с Тито, опубликовал на Западе книгу, в которой утверждал, что страны Советского блока управляются "новым классом". "Собственность, — писал Джилас, — не что иное, как право на прибыль и право на контроль. Если определять классовые преимущества этими правами, коммунистические государства в конце концов стали колыбелью зарождения новой формы собственности, или появления нового правящего и эксплуатирующего класса. Фактически, коммунисты действовали точно так же, как любой другой им предшествовавший правящий класс". На возражения, что такая форма правления вытекает из попыток за короткий срок индустриализовать отсталые аграрные общества, Джилас возражал: "Даже там, где индустриализация не является причиной или условием для создания тоталитарного контроля, как, скажем, в Чехословакии или Венгрии, коммунистическая бюрократия неизбежно бывает вынуждена установить такие же формы власти, какие установились в Советском Союзе. Проис-

ходит это не просто потому, что СССР навязал подобную систему этим странам, но потому, что это заложено в самой природе коммунистических партий и их идеологии. Партийный контроль над обществом, отождествление правительства и правительственного аппарата с партией, право высказываться, зависящее от степени власти и положения в партийной иерархии, — все это основные и неизбежные свойства каждой коммунистической бюрократии, лишь только она приходит к власти”.

Среди коммунистических вождей, заключает Джилас, “неизбежны карьеризм, экстравагантность, властолюбие, не говоря уже о коррупции. Это не всем знакомая коррупция государственных чиновников, она даже может среди них встречаться реже, чем при их предшественниках. Это — особый вид коррупции, вызванный тем фактом, что государство находится в руках одной-единственной политической группировки и является источником всех привилегий... То обстоятельство, что правительство и партия отождествляют себя с государством и с фактическим владением всем в стране, заставляет коммунистическое государство коррумпировать самого себя и тем самым неизбежно создавать привилегии и паразитические функции”.

В отличие от Троцкого и его последователей, Джилас признает, что зарождение “нового класса” не является чем-то случайным и исключительным, какой-то “бюрократической дегенерацией” или “буржуазной реставрацией”, вызванными политикой Сталина или русской отсталостью. Джилас считает такое развитие естественным следствием монополии политической власти, заложенной в самой основе ленинской теории и практики.

Для того, чтобы повернуть такой процесс вспять в Югославии, Джилас предложил компартии согласиться на создание еще одной политической партии, тем самым дав Тито еще один повод для заключения в тюрьму своего старого товарища по оружию.

Два польских теоретика

Здесь следует упомянуть о двух сравнительно малоизвестных польских теоретиках, чьи работы в какой-то степени проливают свет на то, что происходит сегодня в Польше.

Первый из них — *Ян Вацлав Махайский* (1866-1926), склонившийся к анархизму агитатор и пропагандист, всю свою жизнь участвовавший в русском революционном движении. Махайский выдвинул теорию, согласно которой "интеллигенция — это экономический класс, в чьих интересах продолжать эксплуатацию пролетариата. Социализм в целом, а марксизм в частности, возник для охраны и пропаганды интересов этого класса. Обобществление средств производства нацелено на передачу власти интеллигенции, никак не меняя положения рабочих".

"В каждой стране, в каждом государстве, — писал Махайский, — существует огромный класс людей, не владеющих ни промышленным, ни торговым капиталом, и все же представители этого класса живут как настоящие господа. Им не принадлежит ни земля, ни фабрики, ни мастерские, но они получают грабительские доходы, не уступающие доходам средних и крупных капиталистов. У них нет своих предприятий, но они такие же белоручки, как средние и крупные капиталисты. Всю свою жизнь они также не занимаются физическим трудом, а если и участвуют в производственном процессе, то всегда на положении управляющих, директоров, инженеров. То есть, по отношению к трудящимся, к рабам физического труда, они являются такими же командирами и хозяевами, как и собственники-капиталисты".

Эти "интеллектуальные работники", как их называл Махайский, взяли на вооружение марксистскую идеологию с тем, чтобы уничтожить капиталистов и внедрить "государственный социализм", контролируемый ими в своих собственных интересах. "Махайский считал, — замечает М. Шац, — что общественное владение средствами производства предвещает конец частного капитала, но вовсе не конец той экономической системы, для которой характерно строго иерархическое разделение труда, глубокое неравенство в доходах и низкооплачиваемый труд рабочих — все эти причины рабочего недовольства".

Махайский предлагал рабочим отвергнуть политику и организовать перманентные забастовки, добиваясь все более высоких ставок до тех пор, пока доходы рабочих не сравняются с доходами интеллигенции. Вот когда рабочие смогут дать своим детям хорошее образование и достичь, наконец, махайской утопии, в которой каждый превратится в "интеллектуального работника".

Теория Махайского, указывает М. Шац, была предвестником "революции менеджеров" Джеймса Бэрнхема и "нового класса" Милована Джиласа. Вполне очевидно, что эта теория была предвестником эгалитаризма и уравнилельных тенденций, столь отчетливо проявившихся в Польше 1980-1981 годов. Однако, характеристика Махайским интеллигенции как правящего класса государственного социализма не нашла своего подтверждения в период Польского Августа. Как раз наоборот, представители польской интеллигенции сразу же отождествили себя с рабочими и продолжают оставаться под руководством "Солидарности".

В своем "Несовершенном обществе" (1959) Джилас описал расхождение общества в Восточной Европе, приведшее к созданию "особого среднего класса, вышедшего из всех существующих слоев населения — от верхушки партийной олигархии и вплоть до квалифицированных рабочих и зажиточных крестьян, представителей мира искусства, инженеров, учителей, техников, управляющих и опытных политиков. Эта новая прослойка образует класс аполитичных или даже враждебных официальной идеологии людей, стремящихся поднять свой собственный жизненный уровень и заинтересованных в техническом прогрессе и прибыльном бизнесе... Среди представителей этого класса все чаще и чаще встречаются независимо мыслящие теоретики и приверженцы демократии. Партийная бюрократия оказалась не в состоянии предотвратить появление этого класса, потому что без него бюрократия не может выжить... Уже тот факт, что сдержать все растущую силу этого класса невозможно, а также то, что увеличение его привилегий в обществе может привести к улучшению жизненных условий всего общества, означает, что это — класс будущего". События в Польше, начиная с августа 1980 г., соответствуют, скорее, выводам Джиласа, чем Махайского. Но интересной польской особенностью было то, что старый класс — пролетариат — возглавил движение, а "особый средний класс" Джиласа пошел за рабочим авангардом.

Иной точки зрения придерживался доктор *Эдвард Юзеф Абрамовский* (1868-1918), польский социолог и психолог, начавший, как и Махайский, с марксизма, но вскоре повернувший в сторону синдикализма и анархизма. Абрамовский, в частности,

известен как один из основателей польского кооперативного движения, едва ли не самого активного в Европе в период между Первой и Второй Мировыми войнами. В 1905 г. Абрамовский опубликовал революционную брошюру "Общий заговор против правительства". Внимание Абрамовского было обращено не на классовую борьбу и другие аспекты социалистической теории, но на нечто другое. "Мы объявляем русскому правительству войну за свободу Польши и за свободу каждого человека в Польше", — писал он.

Воодушевленный поражением царского правительства в войне с Японией и в борьбе с революционным движением в России, Абрамовский взял за образец пример крестьян-униатов Западной Украины, отказавшихся слиться с Православной церковью и оставшихся верными Риму; пример польских рабочих, в частности, в Лодзи — крупном текстильном центре, чьи массовые забастовки воодушевили их товарищей на стачки по всей Российской империи; пример учащихся, отказывающихся посещать учебные заведения, где преподавание велось только на русском языке.

Абрамовский сформулировал 9 "необходимых условий" свободы:

1. Необходимость существования польского Сейма.
2. Необходимость неограниченной свободы слова, печати, собраний, забастовок и гражданских объединений.
3. Необходимость свободы вероисповедания.
4. Необходимость существования неприкосновенности личности и жилища.
5. Необходимость существования свободных учебных заведений.
6. Необходимость отмены существования армии.
7. Необходимость полной независимости сельских общин от правительства и полного равенства в правах всех их членов.
8. Необходимость городского самоуправления.
9. Необходимость равенства.

Д-р Абрамовский писал, что необходимо "полное равенство для всего населения страны, безо всяких различий по религиозному или национальному принципу, для женщин и мужчин, с тем, чтобы ни один житель польских земель, будь то поляк, украинец, литовец или еврей, не испытывал каких бы то ни было ущемлений

или ограничений своих прав гражданина и человека”.

Абрамовский призывал поляков не признавать царских учреждений, отдавая “кесарю кесарево” — и не больше, не прибегая к их сотрудничеству или помощи. “Вот когда, — писал Абрамовский, — императорская власть в Польше станет властью проклятой, никем не признаваемой, всеми покинутой”. Вместо официальных царских учреждений Абрамовский предлагал создавать их тайные “заменители”, управляемые польскими патриотами. Впоследствии, в период нацистской оккупации, поляки и организовали такое “тайное государство”, имевшее собственные учебные заведения, суды, вооруженные силы. Но тогда, в 1905 г., почти никто не откликнулся на призыв Абрамовского.

В трех аспектах брошюра Абрамовского является до некоторой степени предвестником Польского Августа.

Во-первых, она рекомендует создавать в каждом городе и в каждой деревне “союзы конспирации”, т. е. общенациональную сеть организаций. Создание “Солидарности”, “Сельской Солидарности”, “Независимого Студенческого Союза” в какой-то мере следует этой рекомендации.

Во-вторых, брошюра призывает всех участников этой конспиративной сети дать “торжественную клятву, что они будут помогать друг другу не только в борьбе, которую они объявили правительству, но и в личных нуждах и жизненных бедствиях”. — Деятельность “Солидарности” охватывает широкий спектр общественных вопросов.

Наконец, “конспиративная система” Абрамовского основывается на христианском учении. “Лишь тот, кто не знает учения Христа, или тот, кто его ложно толкует, может утверждать, что наша конспиративная система противна Его учению. *Конспирация против правительства — подлинное проявление Христова учения*, долг каждого, признающего Его учение, для кого оно — не пустые слова, но часть жизни... Христос сказал: “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так вы да любите друг друга” (Иоанн, XIII 34). И мы исполняем эту заповедь, строя нашу собственную общественную жизнь, основанную на справедливости и братстве, на взаимопомощи и уважении свободы каждого человеческого существа. Христос сказал: “Итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу” (Матф. XXII 21). Мы

это и исполняем, ибо не жертвуем ради императора нашей совестью, нашей волей, нашей жизнью или нашим трудом. Наша совесть, наша воля, наша жизнь и наш труд — от Бога и принадлежат одному Богу”.

Кронштадт

Но оставим теории и попробуем поискать предшественников Августа в истории. И тут перед нами возникает казалось бы непреодолимая преграда — мирный характер Польского Августа. К какому бы историческому событию мы не обращались, все они не соответствуют Августу из-за его мирного характера. Тем не менее, хотя Кронштадтское восстание (1-18 марта 1921 года) и кончилось чудовишным кровопусканием, оно одно имеет ряд черт, весьма схожих с Польским Августом.

Кронштадтскому восстанию предшествовало массовое сопротивление крестьян, вызванное насильственной реквизицией продовольствия, а также забастовки Питерских рабочих. Историки-анархисты не без основания считают, что кронштадтцы пошли их путем. Пункт второй Кронштадтской резолюции (принятой 1 марта) требовал свободы слова и печати для “рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий”.

В помещенном в конце статьи списке можно сравнить 15 требований Кронштадтской резолюции с 21 требованием Гданьского Межзаводского Стаечного Комитета. Как я уже отметил выше, семь Гданьских требований были политическими. А из этих семи пять весьма близки к шести (из 15) требованиям кронштадтцев.

Кроме того, пункт 11-ый Кронштадтской резолюции, требующий “дать полное право крестьянам распоряжаться всею землею, как им желательно”, весьма схож с одним из требований Гданьского соглашения. В целом, крестьянство упоминается во многих пунктах Кронштадтской резолюции (1, 2, 3, 5, 8, 11), что объясняется крестьянским происхождением большинства балтийских моряков.

Пункт 14 Кронштадтской резолюции касается создания Разъездной Контрольной комиссии — очевидно, с целью обеспечения выполнения требований резолюции, относящихся к

народному хозяйству и политическим свободам. Этот пункт может быть приравнен к пятому пункту Гданьского соглашения, ибо они обуславливаются недоверием к коммунистическим властям и имеют в виду создание средств контроля над выполнением выдвигаемых требований.

Из 14-ти экономических требований Гданьского соглашения лишь одно соответствует пункту Кронштадтской резолюции. Уравнительное пожелание равного распределения продуктов в 9-ом пункте Кронштадтской резолюции ("Уравнять пайки для всех трудящихся") точно повторяется в 13-ом пункте Гданьского соглашения — "Введение карточек на мясо и мясопродукты...".

Совпадений на редкость много: девять из пятнадцати требований Кронштадтской резолюции соответствуют шести из 21-го требования Гданьского соглашения, плюс еще два дополнительных требования, включенные в Протокол Гданьского соглашения. Следует обратить внимание и еще на одно сходство. Как и инициаторы Польского Августа, кронштадтцы хотели урегулировать свои расхождения с правительством мирным путем.

Кронштадтские моряки, "краса и гордость революции", были в авангарде борьбы большевиков за власть. Теперь, когда они сами восстали против большевиков, офицеры уговаривали их перейти в наступление. "Второго марта 1921 года восставшие организовали Временный революционный комитет, — пишет Леонард Шапиро. — Все они были из рабочих и крестьян, возглавил его Петриченко, морской писарь с линкора "Петропавловск". Не будучи допущенными к руководству восстанием, немногие бывшие царские офицеры, его поддерживавшие и в нем участвовавшие, постоянно пререкались с Временным революционным комитетом. Офицеры хотели немедленно создать плацдарм на побережье и тем самым создать условия для подъема восстания в Петрограде. Комитет, наивно уверенный в том, что его правое дело восторжествует, пренебрег офицерскими советами, отказавшись прибегнуть к оружию за исключением самообороны в случае штурма крепости". "Моряки говорили, что зря крови проливать не будут".

Восставшие моряки — "контрреволюционеры" и "белогвардейские мятежники" — по определению Ленина и Троцкого, были безжалостно раздавлены войсками под командованием бывшего царского офицера М. Тухачевского. "Мы вас пере-

стреляем, как куропаток!” — угрожал морякам Троцкий, и его страшная угроза сбылась. Тысячи солдат и матросов погибли, когда Красная Армия, двинувшись по льду Финского залива, штурмовала и затем захватила крепость. Тысячи кронштадтцев были расстреляны ЧЕКА, остальных отправили в далекие лагеря.

От Кронштадта Гданьск отделяют шестьсот миль и почти шестьдесят лет. Но и там и тут с протестом выступили именно те, от чьего имени управлялось государство, выступили против небольшой олигархии партийных вождей — тех, кто, якобы, выражал их волю и защищал их интересы, а на самом деле игнорировал и то и другое.

Советское правительство срочно направило в Кронштадт председателя ВЦИК'а М. Калинина после принятия Резолюции моряками "Петропавловска". Там он выступил с речью перед собравшимися на Якорной площади. "Почему в деревнях расстреливают наших отцов и братьев? — кричали ему моряки. — Вы себе сыты и тепло одеты. Комиссары во дворцах живут". Один из моряков обратился к собравшейся толпе: "Товарищи! Посмотрите вокруг себя! Вы увидите, мы сидим в зыбкой трясины, куда нас затянула кучка коммунистических бюрократов. Под маской коммунизма они выют себе теплые гнездышки в нашей республике. Я сам был коммунистом, я призываю вас, товарищи, выгнать этих лже-коммунистов, что натравляют рабочих на крестьян, а крестьян на рабочих. Довольно стрелять нашего брата!".

Но в одном важном вопросе Кронштадтская резолюция отличается от Гданьских требований. В 1921 г. кронштадтцы требовали провести "перевыборы Советов путем тайного голосования, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян". В 1980 г. Межзаводской Стачечный Комитет признал, что из-за "специфики Польши", продиктованной географическим положением страны, необходимо, чтобы коммунистическая партия продолжала возглавлять польское общество.

Поэтому главные требования Гданьского Соглашения куда скромнее требований кронштадтцев. Два первых требования — право организации свободных профсоюзов и право на забастовку — соответствуют третьему пункту Кронштадтской резолюции. Но в Гданьском Соглашении отсутствует политическое требование

кронштадтцев о свободных и тайных выборах.

Обе программы требуют свободы слова и печати. Кронштадтская резолюция требует предоставления этих прав анархистам и левым социалистам — главным противникам большевиков в России 1921 года. Гданьское соглашение, с другой стороны, требует обеспечения представителям всех вероисповеданий доступа к средствам массовой информации, включая и Католическую церковь — эту антитезу польских коммунистов в течение всего послевоенного периода.

Беседуя с зам. премьер-министра Ягельским на верфи им. Ленина 26 августа 1980 г., три представителя забастовщиков высказали такие мысли: "Каждая организация может разложиться. Ею можно манипулировать и извне, и изнутри. Существуют бесчисленные примеры... Единственный путь противодействовать разложению — это право создания профсоюзов"; "Чтобы завоевать доверие рабочих, а значит, и всего рабочего класса, нужно создать новые профсоюзы"; "Так накаляются раздражение и напряженность, и тем самым вызывается следующая цепочка событий. Полякам надоело слушать разговоры об ошибках и заблуждениях, которые все время повторяются. Так что стране фактически нужна революция. Если прислушиваться к народному голосу, если его не заглушать, мы сможем избежать общих ошибок. Но чтобы этот голос был услышан, обществу нужна собственная организация. Рабочие должны иметь свободу слова — правы они или нет. Дебаты возможны лишь тогда, когда разрешается говорить тем, кто без прикрас говорит о положении на своем предприятии. Потому-то я еще раз подчеркиваю, что рабочие Побережья хотят создать новые профсоюзы, независимые и свободные".

"Кронштадтский тезис" Петрова-Скитальца

В 1964 г. эмигрант из Советского Союза Евгений Степанович Петров-Скиталец опубликовал книгу — "Кронштадтский тезис для свободного Русского правительства".*

*См. "Кронштадтский тезис сегодня" — "Н. Ж." № 59, март 1960, стр. 230-242.

“Основная идея Кронштадтского тезиса, — писал автор, — заключается в том, чтобы сохранить то хорошее, что есть в советской системе и отвергнуть все плохое, содействовать социальным улучшениям, отвергнуть диктатуру, стремиться к выполнению обещаний коммунистов, отказываясь в то же время от их методов и средств, от их безбожной материалистической философии, на которой эти средства базируются. Нужно смотреть в лицо тому факту, что, хотя большинство советских людей ненавидит коммунизм, народ твердо поддерживает основные завоевания революции — так сказать, основные причины революции, провозглашенные ею идеалы и обещанные преимущества, осуществленные и неосуществленные — равноправие, всеобщее обучение, бесплатную систему здравоохранения, права национальных меньшинств. И если под “советской властью” понимать это, тогда трудно будет найти человека, сознательно желающего свержения такого строя — просто во имя отмены этих нововведений. Для правильного понимания этого тезиса нужно подчеркнуть, то эти нововведения не являлись и не являются коммунизмом. Они были важной частью программы почти всех российских политических партий до захвата власти большевиками. То, что коммунистическая партия добавила — коммунистический вклад в жизнь страны, — атмосфера террора, казенная идеология, безжалостный колхозный эксперимент, двоедушие в быту всего общества и, наконец, сосредоточение государственной мощи на внешней агрессии — все это начисто отвергается народом.

В основном, чаяния советских рабочих — ревизионистские: превращение профессиональных союзов из средства защиты государства в средство защиты интересов рабочих, повышение жизненного уровня, участие рабочих в прибылях предприятий, пересмотр поощрительных мер при установлении ставок и рабочих условий, уравнивание прав партийных и беспартийных”.

“Исходя из той предпосылки, что русская революция была, по сути, революцией социалистической, но избравшей неправильный путь, путь ложных обещаний, насилия и террора, мы считаем, что Кронштадтский тезис стремился исправить эту историческую ошибку, возвращая революцию на путь мирного, демократического достижения общественных целей — реальных и народом желаемых”.

Пытаясь набросать "новую политическую систему" для России в соответствии с Кронштадтским тезисом, Петров-Скиталец писал: "Сила общественного мнения поначалу сосредоточится, как мне кажется, не в политических партиях, а в профессиональных союзах. Это будет естественным результатом многолетней ненависти народа к коммунистической партии — ненависти, которая неизбежно будет перенесена на любую другую правительственную партию, если таковая и будет создана".

Будучи свидетелями Польского Августа, мы можем по достоинству отметить, сколь многие из возможных черт новой революции предвидел Петров-Скиталец. Профсоюзы как проводник требований и чаяний трудящихся; рост крестьянских союзов и независимого студенческого движения; "ревизионистский", или "экономический" характер требований рабочих; твердое намерение изменить экономическую и общественную систему с помощью требования проведения в жизнь невыполненных коммунистами обещаний — все это и многое другое, характерное для Польского Августа, было частью видения Петрова-Скитальца.

В программе "Солидарности", принятой в октябре 1981 года, есть такие слова: "В основе всех действий должно лежать уважение к человеку. Социалистическое государство должно *служить* человеку, а не *управлять* им. Государство должно служить всему обществу, а не отождествляться только с одной политической партией. Государство должно действительно представлять общие интересы всего народа".

Нелепая романтика, или новое начало? Поживем — увидим.

Ричард Т. Дэвис

Сравнительная таблица политических платформ матросов Кронштадта в 1921 г. и рабочих Гданьска в 1980 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОМАНД ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ БРИГАД ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ, состоявшегося 1 марта 1921 г.

Заслушав доклад представителей команд, посылаемых Общим Собранием с кораблей в Петроград для выяснения дел в Петрограде, постановили:

1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян.

2. Свободу слова и печати для рабочих, анархистов и левых социалистических партий.

3. Свободу собраний и профессиональных союзов, и

21 ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ ГДАНЬСКИМ МЕЖЗАВОДСКИМ СТАЧЕЧНЫМ КОМИТЕТОМ

3. Соблюдение свободы слова и печати, гарантированных Конституцией ПНР, недопущение репрессий по отношению к независимым печатным изданиям; обеспечение представителям всех вероисповеданий доступа к средствам массовой информации.

1. Признание свободных, независимых от партии и от работодателей профсоюзов со-

крестьянских объединений.

4. Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную Конференцию рабочих, красноармейцев и матросов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии.

5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.

6. Выбрать Комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях.

7. Упразднить всякие Политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Вместо них должны быть учреждены с мест выбранные

гласно ратифицированной Польшей Конвенции № 87 МОТ относительно свободы ассоциаций.

2. Гарантия права на забастовку, а также безопасности бастующих и поддерживающих их лиц.

4. а) Восстановление на рабочих местах лиц, уволенных за защиту прав трудящихся, прежде всего — участников забастовок 1970 г. и 1976 г.; восстановление на местах учебы студентов, исключенных из вузов за их убеждения.

б) Освобождение политических заключенных, в том числе Э. Задрожиньского, Я. Козловского и М. Козловского.

в) Прекращение любых преследований за убеждения.

культурно-просветительные комиссии, для которых средства должны отпускаться государством.

8. Немедленно снять все заградительные отряды.

9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.

10. Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских частях, а также на фабриках и заводах разные дежурства со стороны коммунистов, а если таковые дежурства или отряды понадобятся, то можно назначить в воинских частях с рот, а на фабриках и заводах по усмотрению рабочих.

11. Дать полное право действия крестьянам над всею землею так, как им желательно, а также иметь скот, который содержаться должен, и управлять своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

13. Введение карточек на мясо и мясопродукты до нормализации продовольственного положения.

Из V главы Протокола Гданьского Соглашения:

..Необходимо создать действительные условия для развития односемейных сельских хозяйств — этой основы всего сельского хозяйства Польши. Все секторы сельского хозяйства должны иметь равный доступ ко всем средствам производства, включая и землю... надо создать условия, при которых могло бы возобновиться самоуправление в сельских районах.

12. Просим все воинские части, а также товарищей военных курсантов присоединиться к нашей резолюции.

13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.

14. Назначить Разъездное бюро для контроля.

5. Распространение средствами массовой информации сообщения о создании Межзаводского Стаечного Комитета и опубликование его требований.

Из I главы Протокола Гданьского Соглашения:

5. Новые профсоюзы должны иметь реальные возможности открыто высказывать свое мнение относительно важнейших решений, влияющих на условия жизни трудящихся, таких, как принципы распределения национального дохода, соотношение между потреблением и накоплением, принципы распределения общественных фондов потребления на разные цели (здравоохранение, просвещение, культура), принципы вознаграждения за труд и политика в области заработной платы, а в особенности, принципы автоматического увеличения зарплаты в условиях инфляции, принципы долгосрочного экономического планирования, направленности капиталовложений и изменения цен.

15. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом.

Резолюция принята Бригадным собранием единогласно при двух воздержавшихся.

Председатель Бригадного собрания

Петриченко

Секретарь

Перепелкин

Резолюция принята подавляющим большинством Кронштадтского гарнизона.

Председатель

Васильев

Правительство должно обеспечить условия для выполнения этих функций.

6. Принятие действенных мер, чтобы вывести страну из кризисной ситуации, для чего нужно:

а) публиковать без утаивания полную информацию,

б) предоставить возможность всем социальным слоям населения участвовать в обсуждении программы реформ.

7. Выплата бастующим рабочим зарплаты за все дни за-

бастовки в размере отпуска из фондов ЦСПС.

8. Повышение зарплаты всем рабочим на 2000 злотых в месяц как компенсация за все предыдущие повышения цен.

9. Гарантия автоматического повышения зарплаты соответственно повышению цен и инфляции денег.

10. Полное обеспечение рынка продовольствием — на экспорт могут идти только излишки.

11. Отмена "коммерческих цен" и прекращение продажи товаров внутри страны на иностранную валюту.

12. Введение принципа подбора руководящих кадров не по партийной принадлежности, а на основе их квалификации. Ликвидация всех привилегий для милиции, госбезопасности и партаппарата посредством уравнивания семейных пособий и прекращения продажи товаров через закрытые распределители.

14. Снижение пенсионного возраста до 50 лет для женщин и до 55 лет для мужчин, а также снижение необходимого для получения пенсии трудового стажа до 30 лет для жен-

шин и до 35 лет для мужчин, независимо от возраста.

15. Поднятие старых пенсионных тарифов до уровня действующих сегодня.

16. Улучшение условий работы органов здравоохранения, что обеспечит полное медицинское обслуживание для всего работающего населения.

17. Создание достаточного количества мест в детских садах и яслях для детей работающих матерей.

18. Предоставление матерям оплачиваемого декретного отпуска продолжительностью в три года для воспитания детей.

19. Сокращение срока ожидания квартир.

20. Увеличение суточных с 40 до 100 злотых и введение доплаты за работу в отрыве от семьи.

21. Введение всеобщей нерабочей субботы; работающим по сменному графику на круглосуточном производстве и в четырехбригадной системе отсутствие свободных суббот компенсировать увеличенным размером отпуска или другими оплачиваемыми, свободными от работы днями.

Б. Н. ЧИЧЕРИН

В своей книге, посвященной истории русских революционных идеологий в 1840-1895 годах, немецкий исследователь П. Шейберт говорит: "В этой книге мы едва ли найдем хоть один подлинно образованный ум, но зато встретим множество интересных журналистов, убежденных проповедников, а также немало скучных писак, напыщенных посредственностей, жалких, поучающих мелких буржуа. Независимые большие умы, как это было впоследствии, будут находиться на другой стороне и сопровождать судьбоносное течение событий своими предостережениями и предупреждениями"¹.

Одним из подлинно образованных и независимых умов России был государствовед и политический мыслитель Б. Н. Чичерин, убежденный противник революционных потрясений, в то же время ратовавший за постепенное преобразование государственного строя России в направлении конституционной монархии. О его заслугах напомнил Марк Раев в недавно опубликованной статье "На пути к революции в России". Отмечая, что в среде русской революционной интеллигенции, где было много ожесточенной полемики между приверженцами разных мировоззрений и революционных идеологий, мало кто занимался обсуждением таких основных вопросов, как "сущность политической власти, возможные последствия той или иной формы ее организации, соотношения между личностью, ее правами и обязанностями, задачи государственного аппарата", Раев считает, что "чуть ли не единственными, кто четко поставил эти вопросы, подчеркивая их жизненную важность, были Б. Н. Чичерин и П. Б. Струве, но они не пользовались ни популярностью, ни влиянием"².

Что касается Чичерина, то все же следует отметить, что он

хотя и не пользовался популярностью в широких кругах интеллигенции, но был хорошо известен и ценим в академических кругах дореволюционной России. Об этом свидетельствуют подробные отзывы и критические статьи, посвящавшиеся рассмотрению богатого научного наследства Б. Н. Чичерина. На юридических факультетах университетов в новообразовавшихся после 1917 г. окраинных государствах (где продолжало действовать русское право и русское судопроизводство) Чичерин обычно упоминался в соответствующих курсах как выдающийся русский юрист-государствовед.

Уважение, с которым в этих нерусских академических кругах относились к русскому ученому, нашло свое отражение в высказывании известного польского профессора и ректора Виленского Университета Мариана Здзеховского. В речи, произнесенной им в 1930 г. на праздновании юбилея Московского Университета в Виленском Кружке Русских Студентов, он говорил: "Младшим товарищем первых славянофилов и западников был Б. Н. Чичерин, впоследствии многолетний профессор Московского Университета, великий мыслитель и борец за конституционную Россию. Он последним из славного поколения сошел в могилу в 1904 г., не предчувствуя, что светлое его имя осквернит племянник, продавший себя большевикам"³. В той же речи Здзеховский упомянул о следующем малоизвестном факте. Когда пришло известие о смерти Чичерина, то в Кракове (тогда еще в пределах Австро-Венгрии), где, по словам польского профессора, "брошюры на русском языке печатались только в исключительных случаях", была издана брошюра, заглавие которой гласило: "*Чествование памяти Б. Н. Чичерина в Славянском Клубе в Кракове 28 февраля 1904 года*".

Другим указанием на известность Чичерина в кругах интеллигенции славянских народов Австро-Венгрии и на проявление интереса к его трудам служит тот факт, что книга Чичерина "*Россия накануне Двадцатого столетия*", вышедшая в Берлине незадолго до его смерти, была затем издана также и в чешском переводе.

Высказывалось мнение, что на Западе Чичерин остался неизвестным. Так, например, Е. В. Спекторский в своей статье 1934 г. о Чичерине на немецком языке заметил: "Об этом Несторе рус-

ского государствоведения иностранцы ничего не знают"⁴. Однако, это утверждение нуждается в существенной поправке. Уже в 1899 г., т. е. еще при жизни Чичерина, два его труда "*Положительная философия и единство науки*" и "*Основания логики и метафизики*" были изданы в Гейдельберге на немецком языке, а в 1922 г. на немецком же языке было напечатано обстоятельное исследование Г. Гурвича о Борисе Чичерине и Владимире Соловьеве как о наиболее видных русских философах права⁵. На английском языке статья того же автора о Чичерине была помещена в многотомной американской Энциклопедии Социальных Наук⁶.

В наше время на неизвестность Чичерина не приходится сетовать. В связи с усилившимся после Второй Мировой войны интересом к философской и общественно-политической мысли в дореволюционной России появился ряд подробных исследований на английском, немецком и других языках. Ныне выдающийся вклад Б. Н. Чичерина в философию права, государствоведение, вообще в круг знаний, обозначаемых как политические науки, или политология, получает достойную оценку не только со стороны русских, но и иностранных ученых. Так, например, американский профессор Дж. Т. Робинсон отмечает, что Чичерина иногда называют "отцом русской политической науки"⁷. Английский профессор Леонард Шапиро говорит, что "Чичерин был одним из наиболее выдающихся умов русского 19 столетия"⁸. Немецкий исследователь П. Шейберт называет Чичерина "наиболее образованным русским своего времени", а другой немецкий автор, К. Д. Гротхузен, находит, что труд Чичерина "*История политических течений*" относится "к ряду больших обобщающих трудов, которые дала русская наука второй половины прошлого века"⁹.

Уже этот ограниченный перечень отзывов иностранных ученых позволяет сделать заключение, что их оценка Чичерина вполне совпадает с оценкой выдающихся русских дореволюционных и зарубежных исследователей, которые, подобно П. Б. Струве, называли его "великим русским ученым и общественно-государственным деятелем".

Эта сводка мнений говорит об исключительном месте, кото-

рое Б. Н. Чичерин занимает в истории русской научной и общественно-политической мысли.

Жизнь и деятельность Б. Н. Чичерина

Борис Николаевич Чичерин родился 25 мая 1828 г. в Тамбовской губернии, в старинной дворянской семье, происходящей, по сказанию, от выехавшего из Италии в свите Софии Палеолог в 1472 г. Афанасия Чичерини. В возрасте 16 лет Борис Николаевич поступил в Московский Университет, который кончил в 1849 г. по юридическому факультету. В 1853 г. он защитил магистерскую диссертацию на тему *"Областные учреждения России в 17-ом веке"*. Будучи на юридическом факультете, он, вместе с тем, горячо интересовался философией, а также естественными науками и даже математикой. Вспоминая свои студенческие годы, Чичерин говорит: "В это же время развилась у меня другая умственная страсть — увлечение политикой", вследствие чего он усердно следил за революционными событиями 1848 г. во Франции, систематически читая французские и немецкие газеты. Осмысливая ход этих событий, Чичерин, по его словам, "остался пылким приверженцем идей свободы и равенства", но, вместе с тем, "перестал думать, что исторические начала могут осуществляться скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания, прежде, нежели достигнуть прочных учреждений [...]. Разочаровавшись в жизненной силе демократии, я разочаровался и в теоретическом значении социализма". Продолжая изучение этого направления политической мысли, Чичерин "понял, что социализм — не что иное, как доведенный до нелепой крайности идеализм".

Тогда же сделал Чичерин и первые шаги на поприще публицистики. "Успех первого опыта в публицистике меня ободрил, и я страстно предался новому делу", — писал он в своих воспоминаниях. Но через несколько лет Чичерин убедился в том, что "журналистика имеет смысл и может принести пользу только там, где существует серьезная литература, которая служит ей основанием, пищею и сдержкою". Отсюда — его решение посвятить себя главным образом научному труду, "чтобы вложить

свою лепту в основной капитал будущего русского просвещения”.

В 1858 г., получив предложение занять в Московском Университете кафедру государственного права, Чичерин решает предварительно совершить путешествие за границу: “Цель моей поездки состояла в том, чтобы поближе узнать Европу и вместе с тем подготовиться к ученой деятельности” (“*Москва сороковых годов*”). Путешествие продолжалось три года. О своих наблюдениях и впечатлениях от встреч с представителями ученых кругов западноевропейских стран, с общественно-политическими деятелями Италии, Германии, Франции и Англии, от знакомства с постановкой преподавания в зарубежных университетах и с практикой политических и судебных учреждений Чичерин подробно повествует в своих воспоминаниях (“*Путешествие за границу*”).

Будучи в начале 1861 г. в Париже, он получает весть об акте освобождения крестьян в России и весной того же года возвращается домой. Заканчивая записи об этом периоде своей жизни, он упоминает о чувствах, с которыми пускался в обратный путь: “Европой я мог любоваться, но жить и действовать я мог только в России. Насмотревшись чудес, познакомившись с европейской жизнью и людьми, я мог уже с полным сознанием и созревшею мыслью посвятить себя служению отечеству в новую, открывающуюся для него историческую эпоху”.

28 октября 1861 г. Чичерин читает в Московском Университете свою вступительную лекцию к курсу государственного права. В 1866 г. он заканчивает свою книгу “*О народном представительстве*”, которая в то же время была его докторской диссертацией. Еще за год до этого Санкт-Петербургский Университет присуждает ему степень почетного доктора права. Свою деятельность на кафедре государственного права Чичерин продолжал до 1868 г., когда большинство Совета университета допустило, по его мнению, ряд незаконных действий. Не добившись пересмотра дела, он подал в отставку и уехал в свое имение Караул Тамбовской губернии, где принял деятельное участие в работе земства. Об этом времени он впоследствии писал: “В продолжение более двадцати лет моего пребывания в земстве я видел недостаток сил, небрежность, легкомыслие,

иногда мелкие раздоры, но не видел ни безобразий, ни гнусных интриг; в собраниях всегда господствовало чувство приличия и нравственного достоинства, я видел себя среди равных и не чувствовал себя униженным [...]. Это — лучшее, что я видел в России. Провинция есть та нетронутая среда, из которой может выйти для нас обновление” (*“Земство и Московская Дума”*).

В 1882 г. Чичерин избирается городским головой города Москвы, но недолго остается на этом посту. В 1883 г., в связи с коронационными торжествами, он произносит, по словам П. Б. Струве, “замечательную речь, сдержанную, умеренную, консервативную, но не понравившуюся реакционным силам, тогда возобладавшим”¹⁰. Чичерин уходит в отставку и окончательно удаляется в частную жизнь, продолжая научную работу и публикацию своих академических и публицистических трудов. В 1893 г. Императорская Академия Наук избрала Чичерина в свои почетные члены. Не дожив до введения в России конституционного строя, он скончался в Москве 3 февраля 1904 г.

Литературное наследие и политические воззрения Б. Н. Чичерина

Решение Чичерина внести свой вклад в “капитал” русской науки не осталось одним только благим намерением, о чем свидетельствует внушительная библиография его трудов, из которых приведем наиболее значительные.

К его сочинениям, по своей главной тематике посвященным вопросам философии, относятся: *“Мистицизм в науке”* (1880), *“Положительная философия и единство науки”* (1892), *“Основания логики и метафизики”* (1894), *“Наука и религия”* (1897) и *“Философия права”* (1901). В одном из вышедших еще при жизни Чичерина томов Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона (полумом 76) помещен обстоятельный критический обзор философии Чичерина. Его автор, Э. Радлов, отмечает, что “оценка философии Чичерина отчасти уже сделана в русской литературе”. Он считает, что в заслугу Чичерина следует поставить “громадную эрудицию, цельность мировоззрения и логическую стройность дедукции”.

Из появившихся уже после революции исследований, кроме

упомянутого сочинения Г. Гурвича, следует указать на оценки философии Чичерина в работах Д. Чижевского, В. В. Зеньковского, Е. В. Спекторского и Н. О. Лосского; последний считал Чичерина "выдающимся мыслителем, в свое время недостаточно оцененным"¹¹.

К сочинениям Чичерина по истории права, государствоведения и политики относятся как две его диссертации "*Областные учреждения в России в 17 веке*" и "*О народном представительстве*", так и его книги: "*Опыты по истории русского права*" (1859), "*Очерки Англии и Франции*" (1859), "*Собственность и государство*" (2 т. 1882-83), "*Курс государственной науки*" (3 т. 1894-98), "*Вопросы политики*" (1903) и "*История политических учреждений*" (последний, 5-й т. — 1892), о которой Гурвич писал, что этот труд — "гордость русской науки, пока что непревзойденный по своей полноте и достоверности в европейской литературе"¹².

Как политический мыслитель и практический деятель, а не как теоретик права и государствоведения, Б. Н. Чичерин выступает в своих публицистических работах и воспоминаниях. К главным его опубликованным публицистическим произведениям относятся: 1) сборник статей "*Несколько современных вопросов*" (1862), 2) вышедшая на правах рукописи брошюра "*Конституционный вопрос в России*" (1878) и 3) вышедшая в Берлине незадолго до его смерти под псевдонимом "Русский патриот" книга "*Россия накануне Двадцатого столетия*" (1901).

Что касается воспоминаний Б. Н. Чичерина, то они увидели свет уже только после революции в советском издании (1929-1934), в четырех томах под общим названием "*Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина*", причем отдельные тома носят подзаголовки: "*Москва сороковых годов*" (1845-1857), "*Московский университет*" (1861-1868), "*Путешествие за границу*" (1858-1861) и "*Земство и Московская Дума*".

Следует отметить, что первая часть воспоминаний ("*Москва сороковых годов*") в 1973 г. была переиздана в оригинале англо-американским издательством в мемуарной серии под главной редакцией Марка Раева и со вступительной статьей Д. П. Хаммера. Д. П. Хаммер ссылается на ряд неопубликованных статей и писем Чичерина, хранящихся в советских архивах. Чичерин, по мнению Хаммера, "определенно был человеком

девятнадцатого века, и все же его политической философии присущ современный оттенок"¹³.

Воспоминания Чичерина, как отмечает В. В. Зеньковский, исключительно интересны для характеристики их автора как человека, так как в них выступает с полной силой его "широта ума, внутренняя серьезность, живая отзывчивость на все светлое и ценное"¹⁴.

Похвальный отзыв о "*Воспоминаниях*" мы находим и у советского автора в одном из последних по времени исследований о Чичерине: воспоминания отличаются "богатством фактологического материала и мастерством стиля, близкого к художественному"¹⁵.

В книге Чичерина "*Несколько современных вопросов*", в числе других его публицистических статей напечатана также статья "Что такое охранительное начало", слова из которой звучат, по мнению Струве, "как подлинное историческое пророчество". В этой статье 1862 года Чичерин писал: "В руках консерваторов-рутинистов существующий порядок обречен на падение... Насилие производит раздражение или равнодушие. Только мысль, созревшая в самом человеке, дает ту силу воли, то самообладание, которые необходимы для разумной деятельности. Поэтому в настоящее время в том положении, в котором находится Россия, дело первостепенной важности — возникновение в обществе независимых сил, которые бы поставили себе задачу охранение порядка и противодействие безрассудным требованиям и анархическому брожению умов. Только энергия *разумного и либерального консерватизма* (курсив мой, — Д. Л.) может спасти русское общество от бесконечного шатания. Если эта энергия появится не только в правительстве, но и в самом народе, Россия может без опасения глядеть в свое будущее"¹⁶.

Характеризуя сам свои политические взгляды как "особое политическое направление в русской политической литературе", Чичерин отклонял утверждения своих противников, что это "несчастливая доктрина", которая все приносит в жертву государству и согласно которой "все исходит от власти и все возвращается к ней". Такая критика была направлена против него как со стороны "*Современника*" (Чернышевский), так и из среды славянофилов. Так, например, Иван Аксаков считал, что, с точки зрения Чичерина, "нет места, вне порядка государственности,

никакому свободному творчеству народного духа". По этому поводу Чичерин писал: "Общественное мнение — не бюрократия, обязанная исполнять и поддерживать данные ей предписания; это — самостоятельная сила, выражение свободной общественной мысли. Охранительная партия в обществе может выражать одобрение только тому, что согласно с ее собственными началами. В ней не найдут сочувствия ни реакция, ни заискивание популярности, ни подавление свободы, ни скороспелые нововведения. Но она не станет легкомысленно ополчаться на власть, подрывать ее кредит, глумиться над мелочами, упуская из вида существенное, поднимать вопль во имя частных интересов, забывая общую пользу. Охранительная партия, преимущественно перед другими, должна быть готова поддерживать власть, когда это только возможно, потому что сила власти — первое условие общественного порядка"¹⁷.

В брошюре *"Конституционный вопрос в России"* Чичерин высказывает мысли, к которым он пришел постепенно. Как пишет В. В. Леонтович, "Чичерин был убежден в том, что конституционная монархия — наилучшая форма правления, и что каждый цивилизованный народ неизбежно стремится к представительной системе"¹⁸. Но не всегда и не везде введение такого строя желательно и возможно, т. к. для этого необходимо наличие определенных условий, о чем Чичерин подробно писал в своей работе *"О народном представительстве"*. В первые годы царствования Александра II предпосылок для введения конституционного строя не было. Чичерин вспоминает, что "о перемене образа правления никто в то время не думал. Все понимали, что при крепостном праве и при вековом принижении общества это — дело несбыточное". В то время, по его словам, требовалось: уничтожение крепостного права, свобода совести, общественного мнения, печати, преподавания и публичность правительственных действий и судопроизводства (*"Москва сороковых годов"*).

Преобразования царствования Александра II, как пишет Чичерин, приготовили разрешение вопроса о представительстве общественного элемента.

Его соображения можно свести к следующим главным положениям. Исходя из прошлого России, идеалом ее представительного устройства может быть только конституционная

монархия. Пока живо было крепостное право, невозможно было думать о свободных учреждениях. Но и эпоха переживаемых глубоких гражданских преобразований неблагоприятна для введения политической свободы. До сих пор единственной средой, в которой вырабатывались чувства права, свободы, чести и человеческого достоинства, было дворянство. И хотя уже началось сближение сословий, полного слияния их еще нет, и поэтому невозможно говорить о демократическом равенстве. Необходима среда, в которой вырабатывались бы государственные люди. Государственные способности развиваются только основательным теоретическим и практическим занятием государственными вопросами, а в русском обществе даже теоретическое изучение этих вопросов составляет величайшую редкость. Выход из положения Чичерин видит в приобщении выборных от губернских земских собраний к Государственному Совету и публичность заседаний последнего.

Цареубийство 1881 года заставило Чичерина пересмотреть свои взгляды на введение конституционного образа правления. В записке "*Задачи нового царствования*", которую он роздал своим московским друзьям и послал в Петербург, он так охарактеризовал создавшееся положение: "Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. Россия представляет какой-то хаос, среди которого решимость проявляют одни разрушительные элементы [...]. Лекарство заключается не в прославленной ныне свободе слова. В России периодическая печать в огромном большинстве своих представителей явилась элементом разрушающим: она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей [...]. Большинство читающей публики именно потому пробавляется журналами и газетами, что оно само не хочет ни думать, ни работать. При таких условиях громкая фраза и беззастенчивая брань всегда будут иметь перевес [...]. Пока существует социалистическая пропаганда, стремящаяся к ниспровержению всего общественного строя, до тех пор чрезвычайные меры будут необходимы" ("*Земство и Московская Дума*").

Исходя из этих соображений, Чичерин приходит к выводу: "Всякое коренное преобразование при нынешних условиях провинциального быта немыслимо". Далее он говорит в

записке, что "единственной разумной мерой могло бы быть лишь освобождение крестьян от общины и круговой поруки, с присвоением им в собственность той земли, на которую они имеют неотъемлемое право", предвосхищая, таким образом, то направление аграрной политики, которую впоследствии стал проводить Столыпин. Но, замечает Чичерин, "против этого возопят не только социалистическая, но и значительная часть консерваторов, увлекающихся славянофильскими идеями или пугающихся призраком пролетариата".

Насущная потребность, по мнению Чичерина, — создание органа, в котором могла бы вырабатываться общественная мысль и общественная воля. Это содействовало бы установлению живой связи между правительством и обществом для отпора разлагающим элементам и для внесения порядка в русскую жизнь. Чичерин считал, что этой цели можно было бы достичь приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному Совету.

Последовавшая после убийства императора Александра II эпоха царствований императоров Александра III и Николая II ознаменовалась политическим курсом, который противоречил глубокому убеждению Чичерина в необходимости политических реформ путем постепенной мирной эволюции. Против этого курса, который он называл повторением политики дореформенного времени, он выступил с резкой критикой в книге *"Россия накануне Двадцатого столетия"*, названной политическим завещанием Чичерина, привлечшей к себе внимание европейского общества и в короткий срок выдержавшей несколько изданий.

В этой книге Чичерин дает исторический обзор внутриполитического развития России, начиная с царствования императрицы Екатерины II, и затем критически разбирает отдельные мероприятия последних двух царствований, в результате которых, по его мнению, "из всех созданий эпохи реформ одни общие суды остались нетронутыми". Он осуждает политику правительства в отношении Польши, Финляндии и Прибалтийского края и высказывается за отмену ограничительных постановлений против евреев: "единственная рациональная мера состоит в дозволении им селиться где угодно и заниматься чем угодно".

Что касается необходимого, по его убеждению, ограничения самодержавия, то он отвечает на вопрос о готовности русского общества к такой перемене словами: "Если бы дело шло о замене неограниченной монархии парламентским правлением, то, конечно, об этом, при настоящих условиях, не может быть и речи. Парламентское правление требует политической опытности, образования, сложившихся партий. Всего этого у нас нет. Но вопрос ставится гораздо проще. Требуется положить предел неограниченной власти и вырвать монарха из развращенного влияния господствующей бюрократии". Выход из положения Чичерин видит в том, чтобы созвать в столице собрание выборных по два или три человека от каждого губернского земства и дать ему обсуждение законов и бюджета. Одновременно необходимо преобразовать Государственный Совет в Верхнюю Палату, "очистив его от тех элементов, которые находятся там только по чину". Тогда, по мысли Чичерина, "конституционное устройство готово".

Б. Н. Чичерин, А. И. Герцен и П. Б. Струве

В работах, посвященных истории развития русской политической мысли второй половины прошлого века, нередко значительное внимание уделяется расхождениям между Чичериным и Герценом и противоположности их политических позиций. Эти расхождения во взглядах, а потом и полный разрыв личных отношений между ними имели своим основанием противоположность склада ума, темперамента, убеждений и отношения к политической действительности.

О себе Чичерин говорит: "По своему характеру, по своим убеждениям я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал [...]. Но идти рука об руку с властью не значит поступать своими правами, а еще менее отречься от независимости суждений". ("*Земство и Московская Дума*"). И свои суждения и политические воззрения Чичерин тщательно продумывал и затем четко и ясно формулировал, основывая их на серьезном изучении истории и развития политических установлений и учений.

У Герцена, с другой стороны, был, по выражению Л. Шапира, "богатый и обворожительный ум и литературный талант, граничащий с гением. Пожалуй, это дарование нередко служило ему для того, чтобы скрыть неточность его всегда чрезвычайно эмоциональной политической мысли"¹⁹. К тому же он, по свидетельству историка С. М. Соловьева, отличался "колючестью, нетерпимостью и односторонностью". Соловьев пишет в своих записках: "Меня постоянно отталкивала от него эта резкость в высказывании собственных убеждений, неделикатность относительно чужих убеждений [...]. Нетерпимость была страшная в этом человеке"²⁰.

Расхождения в политических воззрениях между Чичериным и Герценом обнаружили рано. Уже в 1853 г. Чичерин упрекал Герцена за пропаганду революции: "Вы мечтаете о низвержении существующего порядка, о разрушении исторически сложившегося тела, о государстве низших классов, призываемых революционной партией к обновлению мира буйной силой" ("*Голоса из России*". Лондон, 1853).

Когда Герцен в Лондоне стал издавать свой "*Колокол*", Чичерин оценил значение журнала, который он называл первой русской газетой, не стесненной никакой цензурой. Но направление журнала его огорчало: "Он скорее мог сбить с толку правительство и общество, нежели указать какой-либо определенный путь". Будучи за границей, Чичерин решил специально съездить в Лондон, чтобы встретиться с Герценом: "Мне хотелось основательно с ним переговорить о современном положении и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле, полезном для России". Но эта попытка оказалась безрезультатной. ("*Путешествие за границу*").

Из разговоров с Герценом Чичерин вынес убеждение, что "за ослепительным фейерверком", какими были блестящие и разнообразные разговоры Герцена, "скрывалось полное отсутствие серьезного содержания". Все политические вопросы, как пишет Чичерин, "разрешались у него остроумными сближениями, юмористическими выходками"... "И демократия, и социализм, в который он верил как в новую религию, оказались несостоятельными. Герцен совершенно растерялся и не знал, где искать точки опоры". Убедившись в том, что "никакая проповедь умеренности не могла на него подействовать", Чичерин по-

дружески расстался с Герценом и уехал из Лондона. Полный разрыв между ними произошел позже, когда Чичерин написал письмо из Парижа, которое, по его словам, было "первым протестом русского человека против политического направления лондонской эмиграции". В этом знаменитом письме, напечатанном в "Колоколе" 1 декабря 1858 г. (и позже перепечатанном в сборнике "Несколько современных вопросов") Чичерин писал: "В обществе юном, которое не привыкло еще выдерживать внутренние бури и не успело приобрести мужественных добродетелей гражданской жизни, страстная политическая пропаганда вреднее, нежели где-либо. У нас общество должно купить себе право на свободу разумным самообладанием, а вы к чему его приучаете? К раздражительности, к нетерпению, к неустойчивым требованиям, к неразборчивости средств. Своими желчными выходками, своими не знающими меры шутками и сарказмами, которые носят на себе заманчивый покров независимости суждений, вы потакаете тому легкомысленному отношению к политическим вопросам, которое и так уже слишком у нас в ходу. Нам нужно независимое общественное мнение — это едва ли не первая наша потребность; но общественное мнение умудренное, стойкое, с серьезным взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, общественное мнение, которое могло бы служить правительству и опорой в благих начинаниях, и благоразумною задержкою при ложном направлении"²¹.

Не только Чичерина — убежденного западника, но и славянофила Юрия Самарина отталкивала установка Герцена на революцию во что бы то ни стало. После встречи с Герценом в Лондоне Самарин отправил ему письмо, в котором писал: "Почвы под вами нет ... остались одни революционные приемы, один революционный навык, какая-то болезнь, которую я иначе назвать не могу, как *революционной чесоткой*... Осталось одно средство: революция как цель для самой себя"²².

То, что революционный радикализм, отталкивающий от Герцена государственно-мыслящих русских его современников, ими приписывался ему не без основания, в ретроспективе подтверждается современными суждениями о нем и о последствиях его, оказавшейся разрушительной, публицистической деятельности.

Так, например, Зеньковский считает, что "Герцен рано начал

склоняться к политическому и социальному радикализму"; "социально-политический радикализм стал единственным выражением этического идеализма Герцена"²³. А Шапиро находит, что Герцен, вместе со своим другом Огаревым, за несколько лет своего влияния на русское общество "сделал больше, чем кто-либо для возникновения революционного движения в России"; Герцен предпочитал "давать свое благословение на разрушение, вместо того, чтобы прилежно разрабатывать план того, что должно занять место разрушенного". Тот же автор находит, что Герцен был не в состоянии осознать важность законного порядка, в то время как водворение такого порядка как раз было первой необходимостью для тогдашней России.²⁴

Именно эту необходимость прочного законного порядка, как предпосылки для проведения преобразований, Чичерин выразил в формуле "Либеральные меры и сильная власть". Отсюда его непрестанные выступления против разрушительных тенденций радикальной части интеллигенции и пропаганды революции со стороны Герцена, о котором Чичерин говорил, что "он погибает в бесновании, которое только могло сбить с толку неприготовленные и некрепкие умы" (*"Путешествие за границу"*).

О воззрении Чичерина на личность и государство говорят два выдающихся русских философа. П. И. Новгородцев, считавший Чичерина самым выдающимся представителем идеалистического направления в русской философии права, ссылаясь на его формулу в книге *"Философия права"* (стр. 224-225), говорит об его учении: "Как высоко он ни ставил государство, мы не находим у него Гегелевского западного обожествления государства. В истории главное, по его убеждению, не учреждения, а лица, живые носители нравственного закона, и от них зависит совершенствование учреждений"²⁵. В. В. Зеньковский, со своей стороны, отмечает: "Система либерализма у Чичерина была глубоко связана с учением об абсолютной ценности личности. Но твердо и неуступчиво защищая права личности, Чичерин связывал с этим идею "порядка" — он очень сознательно стоял за твердую власть, решительно и резко осуждал все проявления революционного духа"²⁶.

Под конец жизни (припоминая, может быть, Герценовскую

кличку "гуверnementалиста") Чичерин записал: "Озираясь назад, нельзя без некоторой усмешки вспомнить, что самая умеренная защита какой бы то ни было правительственной деятельности считалась чем-то чудовишным, а название государственника означало нечто реакционное и тлетворное" ("*Земство и Московская Дума*"). Это отталкивание от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции, Струве впоследствии назвал "безрелигиозным отщепенством от государства", которое, по его мнению, порождало моральное легкомыслие и неделовитость интеллигенции в политике.

Что касается упрека Герцена, приписывавшего Чичерину какую-то особую "философию бюрократии", то вряд ли можно отыскать хотя бы частичное подтверждение этому в воззрениях Чичерина. Чичерин как раз был убежденным сторонником необходимости участия общественного элемента в управлении, как сдерживающего произвол бюрократии. Он был безусловным противником чисто бюрократического управления государством. В этой связи представляет интерес мнение Чичерина о К. Победоносцеве, с которым он был знаком и переписывался. В своих воспоминаниях он говорит о Победоносцеве: "Государственного права он никогда не изучал, политического смысла не имел никакого, не ведал ни общественных собраний, ни общественной жизни и не годился не только в государственные люди, но и в администраторы" ("*Земство и Московская Дума*").

Нельзя не прийти к заключению, что отзывы Герцена о Чичерине сводились к поверхностным и упрощенным выпадам демагогического характера против умного и серьезного противника — политического мыслителя и государствоведа.

Наконец, нельзя обойти молчанием одно важное обстоятельство, которое следует принять во внимание, когда речь идет об отзывах Герцена о Чичерине. Герцен, фактически, не мог иметь суждения о совокупности научных и политических воззрений Чичерина и о том, как окончательно сложится политическое мировоззрение Чичерина, который пережил его больше, чем на 30 лет. Как известно, Герцен умер в 1870 году, а Чичерин — в 1904-ом. Последнее тридцатилетие жизненного пути Чичерина ознаменовалось появлением ряда монументальных научных и важных публицистических работ, а также — некоторой эволюцией его взглядов на насущные вопросы государ-

ственной жизни России. Поэтому, не касаясь общего вопроса о способности Герцена быть беспристрастным критиком учения и воззрений своего политического противника, фактом остается то, что все отзывы Герцена касаются лишь трудов и деятельности Чичерина за ограниченный, первый период его жизни и не охватывают всего богатого научного и публицистического наследия Б. Н. Чичерина.

П. Б. Струве в начале своей публицистической деятельности, по собственному выражению, "скрестил шпаги" с Чичериным, полемизируя с ним в 1897 г. в *"Новом Слове"*. Но в своем дальнейшем развитии П. Б. Струве "пришел в своих собственных путях к общественно-политическому мировоззрению, близкому ко взглядам покойного московского ученого"²⁷.

В речи, произнесенной в Белграде по случаю столетия со дня рождения Б. Н. Чичерина, Струве подчеркнул свое уважение к нему, предпослав своему докладу слова Владимира Соловьева, сказанные в 1897 г.: "Б. Н. Чичерин предстает мне самым многосторонне образованным и многозначущим из всех русских, а, может быть, и европейских ученых настоящего времени".

В ходе своей речи Струве высказал мнение, что формула "либеральный консерватизм", которую в свое время кн. Вяземский применил к Пушкину, как нельзя больше подходит к Чичерину, которым владела основная мысль: "сочетание порядка и свободы в применении к историческому развитию и к современным потребностям".

По мнению Струве, перед русской общественной мыслью с первых времен ее зарождения встали: 1) проблема освобождения лица и 2) упорядочения государственного властвования и введения его в рамки правомерности и соответствия с потребностями и желаниями населения. Суть либерализма, как идейного мотива, заключается в утверждении свободы лица. Суть консерватизма, как идейного мотива, состоит в сознательном утверждении исторически данного порядка вещей как драгоценного наследия и предания. И тем, что Чичерин представлял, по словам Струве, "самое законченное, самое яркое выражение гармоничного сочетания в одном лице идейных мотивов либерализма и консерватизма", определяется его особое место в истории русской культуры и общественности.²⁸

Струве приводит слова Чичерина о том, что "исторические

начала изнашиваются, слабеют, теряют прежнее свое значение" и что поэтому "держаться их во что бы то ни стало, при изменившихся обстоятельствах, при новом строении жизни, значит лишать себя надежды на успех..." и прекрасно формулирует историческую позицию Чичерина. Привожу эту формулировку полностью: "Поскольку он верил в реформаторскую роль исторической власти, т. е. в эпоху великих реформ, в 50-х и 60-х годах, Чичерин выступал как либеральный консерватор, решительно борясь с крайностями либерального и радикального общественного мнения. Поскольку же власть стала упорствовать в реакции, Чичерин выступал как консервативный либерал против реакционной власти, в интересах власти отстаивал либеральные начала, защищая уже осуществленные либеральные реформы и требуя в царствование Александра III и, особенно энергично и последовательно в царствование Николая II, коренного преобразования нашего государственного строя"²⁹.

На этом я и закончу очерк о выдающемся русском мыслителе и государствоведе — Б. Н. Чичерине.

Дмитрий Левицкий

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Peter Scheibert. Von Bakunin zu Lenin. Leiden 1970, I. Band, S. 2.
2. Марк Раев. "На путях к революции в России". — *Аналитический журнал Русской Мысли*, № 4, апрель 1983, стр. 31.
3. Мариан Эдзеховский. Речь, сказанная на праздновании юбилея Московского Университета в Вильно. — *Сборник памяти кн. Гр. И. Трубецкого*. Париж, 1930, стр. 45.
4. Eugen Spektorskij. "Die Staatsphilosophie B. N. Tschitscherins". *Festschrift N. O. Losskij zum 60. Geburtstage*. Bonn, 1934, S. 125.
5. Georg Gurwitsch. "Die zwei groessten russischen Rechtsphilosophen, Boris Tschitscherin und Wladimir Ssolowjew". — *Philosophie und Recht*, September 1922, SS. 80-87.
6. *Encyclopaedia of the Social Sciences*, Vol. 15, New York, 1935, p. 372.
7. G. T. Robinson. *Continuity and Change in Russian and Soviet Thought*, Cambridge, Mass., 1955, p. 361.
8. Leonard Shapiro. *Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth-Century Political Thought*, New Haven and London, 1967, pp. 89-90.

9. К.-D. Grothusen. *Die historische Rechtsschule Russlands*, Giessen, 1962, S. 128.
10. П. Б. Струве. "Б. Н. Чичерин и его место в истории русской образованности и общественности". — Сб. *Социальная и экономическая история России*, Париж, 1952, стр. 324.
11. N. O. Lossky. *History of Russian Philosophy*, New York, 1951, p. 143.
12. Gurwitsch, op. cit., S. 81.
13. Darrell P. Hammer. *Introduction: Chicherin and Russian Liberalism*, p. XI
Воспоминания Б. Н. Чичерина: Москва сороковых годов, Москва, 1929. — 1973 Reprint by Oriental Research Partners.
14. В. В. Зеньковский. *История русской философии*, т. II, Париж, стр. 153.
15. В. Д. Зорькин. *Из истории буржуазно-либеральной политической мысли России второй половины XIX — начала XX в. (Б. Н. Чичерин)*, Москва, 1975, стр. 16.
16. Струве, ук. соч., стр. 330.
17. Там же, стр. 229.
18. В. В. Леонтович. *История либерализма в России 1762-1914*, Париж, 1980, стр. 318.
19. Scharigo, op. cit., p. 99.
20. *Записки Сергея Михайловича Соловьева*. 1915, стр. 102.
21. Струве, ук. соч., стр. 331.
22. Б. Э. Нольде. *Юрий Самарин и его время*. Париж, 1978, стр. 183-184.
23. Зеньковский, ук. соч., т. I, стр. 279-280.
24. Scharigo, op. cit., p. 99.
25. Paul Nowgorodzeff. "Ueber die eigentuemlichen Elemente der russischen Rechtsphilosophie". — *Philosophie und Recht*. 1922, Heft 11. S. 60.
26. Зеньковский, ук. соч., т. II, стр. 150.
27. Струве, ук. соч., стр. 326.
28. Там же, стр. 327.
29. Там же, стр. 329-330.

ОСЕНЬ 1905 ГОДА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДВУХ ГАЗЕТ

ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ.

Бурные и трагические события осени 1905 года, ознаменовавшие собой период высшего накала революции, нашли яркое отражение на страницах русской печати того времени. И в этом отражении видно, сколь противоположными были подходы к оценке этих событий и само освещение их. Примером тут могут служить две московские газеты — "Русские Ведомости" и "Московские Ведомости". "Русские Ведомости", основанные в эпоху Великих Реформ в 1863 году, проводили линию либеральной оппозиции правительству и пропагандировали демократические реформы. Прозванная "профессорской", потому что в ней сотрудничали московские профессора, газета была одной из самых влиятельных в стране и пользовалась особой популярностью у умеренно мыслящей интеллигенции. Позже, в 1917 году, газета поддерживала Временное правительство и резко выступала против большевиков. 27 марта 1918 года она была закрыта за "контрреволюционную агитацию". "Московские Ведомости" были намного старше "Русских Ведомостей". С начала издания в 1756 году, "Московские Ведомости" принадлежали Московскому университету, но со второй половины девятнадцатого века эта связь стала номинальной, а в 1909 году официально прекратилась. В ранний период существования газеты ее арендовал и редактировал известный просветитель Н. И. Новиков, а с 1863 по 1887 годы ее главным редакто-

ром был публицист М. Н. Катков. При Каткове и его преемниках газета заняла крайне правую позицию: она критиковала реформы шестидесятых годов, отстаивала неизменность самодержавного строя и приобрела, особенно с 1905 года, черносотенный характер. "Московские Ведомости" были влиятельны в бюрократических кругах и среди некоторых элементов дворянства, мелкого купечества и ремесленников. Большевики закрыли газету 9 ноября 1917 года.

Осенью 1905 года в фокусе внимания обеих газет были забастовки, быстро становившиеся повседневным явлением. "Русские Ведомости" рассматривали забастовки и сопутствующие им беспорядки как "глубокое недовольство в массах современными условиями политической и экономической жизни". Эта газета предупреждала правительство, что политического и экономического конфликта не разрешить применением физической силы, ибо "к умиротворению страны, к водворению в ней порядка, к возрождению ее экономической жизни, к мирному общественному развитию ведет только одна дорога, эта дорога — политическая свобода". Наряду с гарантиями политической свободы, газета требовала полной и всеобщей амнистии и созыва законодательного собрания.

"Московские Ведомости" тоже порицали правительство, но по другой причине: газета упрекала власти в неспособности подавить забастовки. А что касается причин возникновения рабочих беспорядков, то она всецело возлагала вину на революционеров. "Не может быть ни малейших сомнений в том, — писали "Московские Ведомости", — что все забастовки последних месяцев возникли по подстрекательству политических агитаторов и представляют собою явление не экономическое, а чисто революционное".

В разгар октябрьской забастовки железнодорожников "Московские Ведомости" подняли кампанию по срыву забастовки, опубликовав серию писем, резко критиковавших рабочие выступления. Одно такое письмо подписал "Старый железнодорожник", который призывал своих товарищей немедленно вернуться на работу и общими усилиями прекратить "дикий разгул разнузданной сволочи". "Кучка хулиганов", объяснял он, спровоцировала беспорядки, терроризируя рабочих и вселяя в них не-

ненависть к царю.

Забастовки — малые и крупные, местные и повсеместные — захватывали самые различные области жизни. Так, например, "Московские Ведомости" сетовали на то, что волнения докатились и до Московской Духовной Академии, где группа учащихся и профессуры потребовала освобождения академического преподавания от иерархического контроля, а также восстановления Патриаршества. В нескольких случаях забастовки и беспорядки коснулись непосредственно обеих газет. В конце сентября, из-за стачки типографских рабочих, они на некоторое время приостановили свой выпуск; в середине ноября, из-за забастовки работников почты и телеграфа, газеты не могли сообщать о событиях, происходивших за пределами Москвы; в декабре им вновь пришлось временно приостановить работу из-за вспыхнувшего в старой столице восстания.

Другой темой, неоднократно обсуждавшейся и той и другой газетой, были крестьянские беспорядки и аграрный вопрос. "Русские Ведомости" с сожалением отмечали, что от крестьянского разгула, проявлявшегося в сжигании усадьб, растаскивании помещичьего имущества и уничтожении барского скота, в равной мере страдали его жертвы и инициаторы. В то же время, в бесчинстве и невежестве мужиков газета винила людей, которые "не пропускали в народ ничего, что могло бы его развить и поднять в нем чувство законности". "Русские Ведомости", хотя и не без некоторых оговорок, одобрительно отзывались о деятельности Всероссийского Крестьянского союза, недавно образовавшегося в целях защиты крестьянских интересов, называя его "явлением, заслуживающим серьезного внимания". "Московские Ведомости", с другой стороны, относились к Крестьянскому союзу крайне отрицательно. "Этот союз совершенно ошибочно называется "крестьянским", — писала газета, — это крестьяне только по имени, те, кто совершенно потеряли крестьянский облик, потеряли связи с истинною русской деревней... это уже не крестьяне, а тот интеллигентный и разnochинный сброд, который делает ныне 'русскую революцию'".

Кризис в деревне усугублялся еще и тем, что восемь губерний центральной России пострадали от исключительного неурожая. Сообщая об этом, "Русские Ведомости" приветство-

вали начинание ряда общественных организаций, оказывающих помощь голодающим. Обе газеты опубликовали Высочайший Манифест от 3 ноября о постепенном упразднении выкупных платежей, взимаемых с крестьян, и о мероприятиях по увеличению площади крестьянских земель.

Наряду с забастовками и крестьянскими волнениями, по некоторым районам страны прокатилась волна погромов. "Русские Ведомости" сообщили о состоявшемся в Петербурге многоядном митинге протеста, на котором выступили очевидцы погромов. В описании этих выступлений говорилось: "В течение трех часов тянулась однообразная картина ужасов, убийств, грабежа и насилий... Были ли то Николаев, Одесса, Орша, Екатеринослав...". Эти погромы, жертвами которых, помимо евреев, оказались представители интеллигенции и рабочие, были, по словам очевидцев, хорошо и одновременно организованы более чем в 120 городах и селениях с гласного или молчаливого благословения местных властей. Принятая митингом резолюция требовала немедленного уравнивания евреев в правах с прочим населением России и призывала все сознательные элементы русского народа бороться против национальной розни и нетерпимости.

"Русские Ведомости" осветили и зарубежную реакцию на погромы, сообщив, что городское управление Страсбурга пожертвовало 5000 немецких марок в пользу пострадавших от погромов евреев, что в Нью-Йорке в память погибших было устроено траурное шествие с участием до ста тысяч человек и что из Берлина в Петербург отправилась комиссия из трех человек, чтобы в дальнейшем посетить местности, в которых произошли наиболее жестокие погромы.

На погромы отозвались и "Московские Ведомости" статьей Б. Юзefовича, озаглавленной "Кто виновник погромов?". Юзefович утверждал, что когда рабочие, студенты и профессора бастуют, то никто их не останавливает и "когда евреи стреляют в молящихся или мирно демонстрирующих христиан, то никто их не задерживает, и о привлечении их к суду нет даже и речи... но когда пострадавший от революционной тирании русский народ из естественного чувства самосохранения принимается, наконец, сам за расправу с революционерами и забастовщиками

— тогда на него с ожесточением набрасываются”. “Действительно можно подумать, — заключал Юзефович, — что Правительство вступило в союз с революционерами и евреями против коренного Русского народа”. Юзефович, однако, не отстаивал “право народного самосуда” и признавал погромы “явлением уродливым”.

В той же газете появилось письмо под заголовком “Еврейская ложь”. Автор письма, подписавшийся “гренадер”, утверждал, что “еврейская и революционная пресса” лжет, сообщая о жилищных и продовольственных неполадках в армии. Поэтому, писал он, “Центральное Правительство поступило бы очень разумно, если бы совсем не позволило еврейским и революционным газетам касаться нашей армии”. Положение в вооруженных силах нередко дискутировалось в “Русских Ведомостях”. В одной из передовых на эту тему газета обсуждала беспорядки, вспыхнувшие в манчжурской армии и в частях, расквартированных в Могилеве, Петербурге и Севастополе. В статье отвергались объяснения правительства, будто во всем виновата только “социалистическая пропаганда”. “Чтобы агитация была успешна, — говорилось в передовой, — она должна иметь под собою почву... Если агитация успешна, значит, недовольство существует в армии”. А недовольство, продолжала газета, вызвано злоупотреблениями начальства, что явствует из законных требований солдат, как то: выдача задержанного жалования, выдача денег, образовавшихся от продажи пищевых остатков, выдача мундирной одежды и улучшение питания. Недовольству в вооруженных силах способствовали также, по мнению “Русских Ведомостей”, унижительное и бесправное положение солдата, равно как и непомерно жесткая дисциплина. Поэтому газета призывала правительство “немедленно уничтожить злоупотребления, отменить существующую систему судопроизводства и поставить на разумное основание военную дисциплину”. Помимо этого, газета считала необходимым привить солдату чувство собственного достоинства путем поднятия его умственного развития, приобщения его к общекультурной жизни и воспитания в нем уважения к гражданской свободе.

Высказывались на страницах “Русских Ведомостей” и представители общественности, обеспокоенные возможными суро-

выми наказаниями солдат за нарушения воинской дисциплины и участие в беспорядках. Так, в письме в редакцию группа московских священников поддержала обращение своих петербургских собратьев к митрополиту Антонию с просьбой о помиловании взбунтовавшихся в Кронштадте матросов, которым грозила смертная казнь. Там же было опубликовано письмо графа Л. Н. Толстого, который вступился за двух верующих, попавших в дисциплинарный батальон за отказ нести военную службу по религиозным соображениям. В этом письме от 1 декабря 1905 года Л. Н. Толстой писал: "Прилагаю два письма двух крестьян, христиан, второй год томящихся в дисциплинарном батальоне за то, что они по своим (думаю, никто не станет спорить против этого) истинно христианским верованиям не могли добровольно поступить в войско и принять запрещенную Евангелием присягу. Полагаю, что в теперешнее время, когда, с одной стороны, провозглашена свобода совести, с другой стороны, освобождены все политические арестанты, пора бы перестать наказывать людей за то, что они остаются верными своим религиозным, мирным, братолюбивым убеждениям. Пора бы для таких, исключительно высоких по своему нравственному складу, людей найти какой-либо другой выход из того противоречия, в которое они поставлены требованиями правительства и закона Христа, чем жестокое заточение и розги. Прежде, недавно еще, такие люди ссылались в Якутскую область. Как ни тяжела была эта ссылка, она все-таки была несравненно легче дисциплинарного батальона. Таких заключенных теперь в дисциплинарных батальонах я знаю еще многих, кроме этих двух. Лев Толстой".

Указывая в этом письме на провозглашение свободы совести, Толстой несомненно имел в виду царский Манифест от 17 октября 1905 года. 18 октября и "Русские Ведомости" и "Московские Ведомости" опубликовали этот Манифест:

Божю Милостью Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем нашим верным подданным: Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи

Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно связано с благом народным, и печаль народная — Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей.

Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств, насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешного выполнения общих предназначаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, все классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 3) Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России помнить долг свой перед родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе в 17-й день октября в лето от Рожде-

ства Христова тысяча девятьсот пятое, царствования же Нашего в одиннадцатое. На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано:

НИКОЛАЙ

“Русские Ведомости” откликнулись на Манифест в день его обнародования. “Совершилось великое историческое событие, — писала газета, — то, к чему стремилось несколько поколений лучших русских людей, та свобода, за которую страдали и гибли тысячи наших юношей, мужей, стариков, — те права народа и граждан, требование которых объяло за последнее время всю Россию, всю ее интеллигенцию, всех сознательных и честных ее людей, все трудовые ее классы — эти права, наконец, даны нам, и от представительства народного, от нашей Государственной Думы будет зависеть их упрочение и расширение”. В той же передовой подчеркивалось, что для претворения этих прав в жизнь необходимо, чтобы “администрация и все ее органы прониклись духом нового закона и признали, что они — слуги народа, а не опричники”.

Реакция “Московских Ведомостей” на Манифест последовала два дня спустя. В отличие от “Русских Ведомостей”, акцентировавших объявленные Манифестом свободы и права, “Московские Ведомости” сосредоточились на содержащихся в нем мерах по прекращению волнений и охране порядка. А ввиду того, что граф С. Ю. Витте был назначен председателем Совета Министров и ему поручили составление кабинета по собственному выбору, газета назвала его “диктатором России”, выражая тем свое одобрение. Однако, несмотря на поддержку Витте в данном случае, газета, в общем, относилась к нему критически. “Московские Ведомости” не доверяли Витте, считая его политику “еврействующей”, хотя редактор газеты А. В. Грингмут был сам крещеным евреем. Витте не оставался в долгу у “Московских Ведомостей”, что видно, например, из такого его замечания: “Газеты наиболее радикальные причиняют правительству меньше вреда, чем газета Грингмута и т. п. рептилии”.

Оптимизм “Русских Ведомостей”, которым они встретили Манифест 17 октября, быстро поблек. Всего через несколько дней после его обнародования, газета сообщала: “Отовсюду, из

всех концов России, из больших городов, из целых окраин, несутся вести об ужасах, последовавших за тем, что общество поверило наступлению светлых дней и попробовало вынести свою радость на улицу. Убитые, раненые, изувеченные — вот следствие этой доверчивости... всюду одна и та же сцена — манифестанты мирно идут по улицам, провозглашая свою любовь к свободе, как вдруг на них без предупреждения и вызова налетают казаки и начинается дикая расправа". "Не толкайте народ на революционный путь, не раздражайте его, не делайте экспериментов над его терпением", — взывала к правительству газета, настаивая на прекращении разгона мирных демонстраций.

Второго ноября в "Русских Ведомостях" появился комментарий, озаглавленный "Наши основные законы и Акт 17-го октября". Автором комментария был И. Сахаров, дед известного советского правозащитника и лауреата Нобелевской Премии Мира А. Д. Сахарова*. И. Сахаров писал: "Свобода только обещана, а не дана еще; власть в стране — в руках противников освободительного движения, опирающихся на целый арсенал законов и административных распоряжений, уполномочивающих их на самый разнузданный административный произвол". Чтобы не допустить этого произвола, он призывал все "прогрессивные партии" к всемерной охране приобретенных прав и к требованию немедленного применения во всей

*А. Д. Сахаров упоминает своего деда в письме от 19 сентября 1977 года, адресованном в Организационный комитет Симпозиума по проблеме смертной казни ("Хроника защиты прав человека в СССР", выпуск 28, октябрь-декабрь 1977, "Хроника", Нью-Йорк, стр. 10). Он пишет: "Еще в детстве я с содроганием читал замечательный сборник "Против смертной казни", изданный в России в 1906-1907 гг., в годы послереволюционных казней (Изд. Сытина, с участием моего деда И. Н. Сахарова.)". В интервью, опубликованном в газете "Вашингтон пост" 6 декабря 1981 года (стр. С1 и С4) Лев Копелев, рассказывая о родословной Андрея Дмитриевича Сахарова, сообщает: "Его предками с отцовской стороны были священники, сельские священники. Его прадед был священником в маленьком городе, был известен как хороший, скромный, образованный человек. Его дед, Иван Николаевич Сахаров, был первым мужчиной в семье, который не был духовным лицом. Он стал адвокатом в Москве и в начале этого века организовал общество против смертной казни. Он часто бывал в доме Льва Толстого".

правительственной деятельности провозглашенных Манифестом 17 октября начал. При этом И. Сахаров указывал, что "анализ того государственного правопорядка, который создан Актом 17-го октября, должен привести русское общество к несомненному убеждению, что возврат к прошлому каким-либо правомерным путем невозможен, что Акт 17-го октября заключает в себе самые непререкаемые правовые гарантии провозглашенного им нового правового строя". В заключение он говорил: "Правительство должно приостановить действие (отменить их может только новый законодательный орган) всех тех законов, которые отрицают свободу совести, слова, собраний, союзов, неприкосновенность личности".

Осенью 1905 года, еще до Манифеста 17 октября, активизировались различные политические группировки. В середине сентября в Москве состоялось совещание земских и городских деятелей. Постановления съезда требовали предоставления гражданских свобод русскому народу, равно как и автономии и равноправия меньшинствам. "Русские Ведомости" подробно освещали работу съезда и поддерживали принятые им решения. А "Московские Ведомости" обвиняли участников совещания в стремлении уничтожить самодержавие и "искромсать Россию". Поэтому, предупреждали "Московские Ведомости", горе постигнет русский народ, "если он выберет в Государственную Думу не русских людей, а разных либеральных земцев".

Вслед за совещанием земских и городских деятелей, там же, в Москве, закончился учредительный съезд Конституционно-Демократической партии, созданной по инициативе Союза Освобождения и группы земцев-конституционалистов. Как и следовало ожидать, программа новой партии оказалась близкой к программе Союза Освобождения и к постановлениям сентябрьского съезда земских и городских деятелей. Опубликовав полный текст программы кадетской партии, "Русские Ведомости" приветствовали ее образование. Газета отметила, что "новая партия имеет своих предшественников, сыгравших почтенную роль в истории освободительного движения" и что у нее есть значительный круг сторонников. Газета также выразила убеждение, что Конституционно-Демократическая партия "может оказать существенную услугу дальнейшему полити-

ческому развитию России”.

Примерно в то же время “Московские Ведомости” опубликовали программу Русской Монархической партии, основные положения которой сводились к укреплению монархической самодержавной власти, преданности Православной Церкви, сохранению сословного строя, попечению о материальном и духовном благе крестьянского и рабочего сословия, содействию развитию плодотворного национального труда, нравственному и национальному воспитанию в школе. Русская Монархическая партия образовалась в апреле 1905 года в ответ на призывы “Московских Ведомостей”, в которых подчеркивалось, что “для борьбы с боевою партией конституционалистов необходимо организовать такую же боевую партию убежденных монархистов”. “Московские Ведомости” утверждали, что наблюдается постоянный приток членов в новую партию и что ее отделения открылись в шестидесяти провинциальных городах. Доступ в члены партии был открыт всем, за исключением евреев.

В “Московских Ведомостях” появилось и объявление Союза Русских Людей. С целью “дать отпор смуте”, Союз призывал москвичей образовывать повсюду местные приходские комитеты порядка и приглашал их собраться в своих храмах 16 октября, чтобы избрать не менее десяти лиц на каждый приход, прося настоятеля прихода войти в состав комитета. Однако, в день, когда должны были состояться эти собрания, “Московские Ведомости” поместили адресованное духовенству извещение, в котором говорилось: “Столичное Московское духовенство обязывается на воскресной литургии, имеющей быть 16 октября, к точному исполнению лишь того, о чем получит определенное распоряжение от Епархиального начальства. Допущение производства каких-либо выборов в храмах Епархиальное начальство признает неудобным”. Несколько позднее “Московские Ведомости” поместили воззвание Священного союза народной самообороны, гласившее:

Крест Христа символ любви,
Красное Знамя — символ крови,
Кто за Крест, тот с нами,
Кто за кровь, тот против нас.
За веру Христову, за Царя, за Отечество,

за престолонаследие, за нераздельность России,
за Русскую народность, за законность, порядок,
обеспечивающие населению мирную и спокойную
жизнь!

За Бога, за Царя, за спокойствие и
процветание Святой Руси!

Тем временем, по другую сторону политического спектра шла дискуссия о направлениях и программах различных левых группировок. В этой связи "Русские Ведомости" опубликовали обширную статью, в которой в положительном тоне рассказывалось о Российской социал-демократической рабочей партии, партии Социалистов-революционеров и Конституционно-демократической партии. Однако, в одной из последовавших передовых, газета жаловалась на то, что "наша социал-демократия ищет врагов, где их нет... проявляя нетерпимость к политике своих соседей".

Политическая активизация вызвала появление и новых периодических изданий, в основном левого или революционного толка. Так, в Петербурге стала выходить социал-демократическая газета "Начало", в редакцию которой вошли ведущие участники "Искры" Г. В. Плеханов, П. В. Аксельрод и В. И. Засулич. В программной статье "Начала" писалось, что задача газеты — открытая защита интересов пролетариата и расширение рамок буржуазной революции выдвижением в ней интересов пролетариата. Комментируя выход этой газеты, "Русские Ведомости" говорили, что, вероятно, очень часто будут расходиться с ней во взглядах, но не исключают случаев, когда их пути будут сходиться. "Русские Ведомости" поместили также объявление двух московских социал-демократических газет, "Вперед" и "Борьба". В числе сотрудников последней были М. Горький, В. Ленин и А. Луначарский. Подписка на "Вперед" принималась в местном отделении конторы газеты "Новая Жизнь", а на "Борьбу" — в главной конторе газеты в Москве и в московском и петербургском отделениях книжного магазина "Труд".

Шестого декабря, накануне Московского восстания, "Московские Ведомости" поместили передовую под заглавием "Возрождение твердой власти". Ссылаясь на обнаруженный за

день до того Высочайший указ, предоставлявший генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам чрезвычайные полномочия для борьбы с беспорядками, газета писала: "Правительство усвоило себе, наконец, тот единственный правильный взгляд на крамолу, который целый год ежедневно тщетно высказывался всеми здравомыслящими Русскими людьми и монархической печатью. Никаких уступок Правительство революционному движению теперь уже делать не намерено, а если оно не утихнет, то Правительство прибегнет к совершенно исключительным мерам". Далее "Московские Ведомости" обрушивались на "преступную разнузданность нашей печати", приветствовали предупреждения революционерам, сделанные только что назначенным генерал-губернатором Москвы, генерал-адъютантом Ф. В. Дубасовым, и выражали надежду на то, что "все преступное безумие нашей "интеллигенции" будет похоронено вместе с 1905 годом.

На следующий день, в полдень, Московским Советом рабочих депутатов и комитетами социал-демократической рабочей партии и партии социалистов-революционеров была объявлена всеобщая политическая забастовка в целях, как они заявляли, свержения самодержавия и установления демократической республики. В последующие дни улицы Москвы превратились в поле брани. Генерал Дубасов объявил чрезвычайные меры по борьбе с восставшими и обратился к жителям города за поддержкой. Восемнадцатого декабря восстание было подавлено.

Поскольку обеим газетам пришлось, из-за беспорядков, приостановить выпуск на несколько дней, они дали подробный отчет о восстании задним числом. Тогда же появились и статьи с оценкой прошедшего события. "Московские Ведомости" видели в восстании прямое следствие политики графа Витте, обвиняя его в том, что он поощрял и усиливал смуту, "уступая ее дерзким требованиям". Газета утверждала также, что "для восстановления полного законного порядка во всей Российской Империи" необходима "всероссийская военная диктатура". Только после этого, подчеркивала она, смогут начаться внутренние реформы.

Откликаясь на декабрьское восстание, "Русские Ведомости" отметили, что, не будучи принципиальными противниками политических забастовок, они, тем не менее, твердо высказывались

против вооруженного восстания. Прищая революционеров, газета считала, однако, что в восстании виноваты, главным образом, "правительство, его политика, его слепое упрямство и непонимание потребностей времени". Промедление в осуществлении двух основных условий Манифеста 17 октября — обещанных свобод и созыва народных представителей подорвало доверие к правительству и вызвало общественное возмущение, объясняла газета. Сообщая, в другом послесловии к московским событиям, об избиениях и казнях на месте заподозренных в участии в беспорядках, газета требовала немедленного прекращения "административного террора" и передачи арестованных судебным властям для законного следствия и суда. "Чем скорее, — писала газета, — вступит в свои права строгая законность, тем успешнее и вернее будет идти дело умиротворения". А скорейшее умиротворение, продолжала газета, необходимо "для восстановления нарушенных условий жизни и труда, для мирной работы по устройению родины, для подготовки к выборам в Государственную Думу".

* * *

Этот весьма беглый обзор двух московских газет за последние четыре месяца 1905 года не дает, разумеется, исчерпывающего представления о том, насколько широко и глубоко освещали и толковали жгучие события дня оба эти периодические издания. Однако, даже приведенные здесь примеры показывают, что в этих газетах велась острая полемика, высказывалась смелая критика и делались откровенные заявления. Словом, налицо были все атрибуты независимой и свободной печати и это, в основном, — еще при наличии предварительной цензуры, упраздненной лишь в конце ноября. Недаром этот период вошел в историю под названием "дней свобод". Даже советские источники вынуждены признать существование в то время свободы. Как пишет, к примеру, "Советская Историческая Энциклопедия": "пролетариат завоевал себе и всему народу, хотя и на короткое время, невиданную прежде в России свободу слова, печати, профсоюзов; впервые в истории страны стали легально выходить революционные газеты".

"Московские Ведомости" не ратовали за свободу печати, но,

как мы уже видели, не стеснялись ею пользоваться. Мысли и чувства "Русских Ведомостей" о смысле и значении свободной печати можно суммировать словами самой газеты: "Когда жизнь кривила и фальшивила, тогда таилась, фальшивила или молчала и печать... и как только жизнь забила ключом в стране, в ней [в печати], как и всюду, почуялось дыхание жизни... фактическая сторона общественной жизни освещается теперь печатью с невиданной до настоящего времени ясностью и обстоятельностью... свободная печать немедленно стала могучим фактором жизни".

Н. Моравский

НОВОЕ О ДРЕВНЕЙ РУСИ

КОММЕНТАРИЙ К "ЛЕТОПИСИ" НЕСТОРА

В истории России есть немало загадок. Одной из самых загадочных и нерешенных до сих пор проблем является вопрос о том, чем же была древняя Русь, кто были русы и где они проживали?

По этому вопросу, как известно, споры идут вот уже больше двух с половиной столетий и в России, и за границей. Немецкий ученый Г. З. Байер, приехавший в Петербург по царскому приглашению в только что созданную Академию Наук, написал диссертацию на тему о варягах и этим положил начало т. н. норманской теории происхождения Руси; он считал, что русами истари владели варяги-норманы, возражая против мнения, высказанного немецким дипломатом в 1525 г., т. е. двумя столетиями раньше Байера, написавшего в знаменитых "Записках о Московитских делах", что варяги происходили от славянского племени вагров, живших в Голштинии (т. е. на Балтийском побережье). Кстати, по-эстонски слово "варяги" означает "разбойники".

В середине XVIII столетия по этому поводу разгорелась яростная полемика между русскими и немецкими членами Академии Наук, в частности, между Г. Ф. Миллером и М. В. Ломоносовым, утверждавшим, что мнение Миллера и Байера о происхождении варягов и первых русских князей от скандинавов, а значит — и русского государства, для русских кажется "ночи подобно" и оскорбительно. Кроме патриотических чувств, М. Ломоносов и В. Татишев приводили свидетельства русской летописи, считая, что русы — балтийские славяне. В конце XVIII века свои соображения о происхождении Руси высказывали "люборусы".

С тех пор громадная литература по этому вопросу росла,

причем большинство ученых склонялось к тому, чтобы считать как варягов, так и первых русских князей скандинавами, происходившими от шведов, датчан или норвежцев. В связи с этим велась полемика о значении слов "варяг", "русы", причем привлекались византийские свидетельства, как, например, названия днепровских порогов по-"русски", т. е. скандинавски, и по-славянски.

С. А. Гедеонов исследовал "варяжский вопрос" и опубликовал подробные данные о нем в 1862 г. В. О. Ключевский склонялся к тому, чтобы считать варягов родичами данов, совершавших набеги и на Западноевропейские страны, а не славянскими обитателями Южно-Балтийского побережья.

Историк С. М. Соловьев тоже признавал варягов людьми скандинавского происхождения, но указал, что некоторые компетентные ученые считали, что дружины их состояли из славян, и что поморские славяне, жившие на юге Балтийского моря, издавна были знакомы со скандинавами, и что слово "варяги" означало дружины людей, покинувших свою страну, и эти дружины называли "русью" в Византии и у арабов.

Г. В. Вернадский в половине нашего века высказал вслед за А. А. Шахматовым, гипотезу о южном происхождении и слова и народа "русь", а именно — от антов и роксолан, ссылаясь на свидетельство историка готов Иорнанда, и на данные сирийских хроник.

В наше время полемика по этому вопросу продолжается. Среди сторонников норманской теории можно назвать таких ученых, как Стендер-Петерсона, Фасмера, Баумгартена, Беляева, Брауна, Пашкевича, Нермана и др. Академик Васильевский, исследовавший жития св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, написанные ранее 842 г., склоняется к теории Вернадского о Южной Руси и приводит слова автора житий о руси как о народе, который все знают на юге, опустошавшем южный черноморский берег и свидетельство того же автора о том, что большая русская рать с князем Бравлином пленила страну от Корсуня до Керчи.

Черное море византийцами называлось "Русским морем" сообщают арабские писатели, т. к. кроме русов по нему никто не решался плавать еще в конце X века.

Сторонники славянского происхождения Руси и варягов — главным образом, русские и советские историки Ю. Венелин, Ф. Краузе, М. Первольф, и более поздние — Б. Рыбаков, А. Кузьмин, В. Виленбах, А. Новосильцев и др.

Известно, что Русью называлось Приднепровье, часть теперешней Украины с главным центром в Киеве. Для этой территории уже прочно установилось название "Киевская Русь". О Руси знали ее соседи — византийские, арабские писатели и хроникеры. Немецкие и арабские историки писали о стране и народе русов. Если собрать все рассказы о Руси, то возникает несколько трудно разрешимых загадок.

Летопись Нестора "Повесть Временных Лет" сообщает важнейшие данные о происхождении Руси. Нестор писал во времена, когда ему и его современникам были известны факты, которые вскоре стерлись из памяти, и последующим поколениям трудно понимать некоторые места Летописи. К счастью, эти места и "нелепости" были сохранены в последующих списках летописи, и нам представляется возможность попытаться догадаться об истинном значении их и попытаться их понять.

Главное "непонятное" место в Летописи — рассказ о призвании варягов. Воспроизведем это хорошо известное место: "В год 6367 (859). Варяги из заморья вимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей... В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англты, а еще иные готландцы, — вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избралось трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю русь, и пришли... И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были славяне... Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — славяне... В год 6406 (898)... Был единый народ

славянский: и те славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют русь... А славянский народи русский един, от варягов ведь прозвались русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской...".*

Большинство русских ученых, в том числе академики А. А. Шахматов и Д. С. Лихачев считали, что это — легенда, позднее вставленная в Летопись, то ли по династическим соображениям князей Рюриковичей, то ли в интересах Новгородского самоуправления. Так, Д. С. Лихачев писал в комментариях к "Повести Временных Лет", что "в тех случаях, когда летописец говорил о Руси и русских как о варяжском племени", "перед нами не живое словоупотребление, а только домысел летописца". И далее: "Легенда о приходе из-за моря Рюрика, Синеуса и Трувора со всем своим родом, с русью, от которого и прозвана Русская земля" — "чистый домысел, трафарет исторического мышления летописца, его гипотеза, с которой пора перестать считаться".

Можно ли согласиться с этим и подобными утверждениями авторитетных ученых? А что, если попробовать *понять* то, что им кажется нелепым? Ведь Нестор не однажды, а по крайней мере четыре раза говорит: "Русь и варяги — одно, русь и славяне — одно, язык у них русский". Он словно предупреждает нас из своего тысячелетнего далека: Не ошибитесь, не спутайте, поймите то, что нам ясно! — Так можно ли нам продолжать самоуверенно твердить, что это все "выдумки", "домыслы"?

Другая историческая загадка состоит в следующем. Арабские источники сообщают о том, что было *три* разных Руси. Одно описание подходит к Киевской Руси. Другое, очевидно, относится к Руси Новгородской. А третью называли иногда Артанией, или Арсанией. Некоторые арабские авторы помещали ее на каком-то острове, окруженном (анонимным) озером или морем. Писали, что этот остров граничит со страной славян, и что его можно объехать в три дня. Описание острова никак не подходит к каким-нибудь местам Киевской Руси. И по климату (сооб-

*Цит. по кн.: "Памятники Литературы Древней Руси. XI — начало XII века". М., ХЛ, 1978, стр. 37-43.

шается, что климат там очень суровый, влажный, морской), и потому, что это остров.

Ибн-Русте писал в 910 г., что Русь находится на острове; окружность этого острова равняется трем дням пути, покрыт он лесами и болотами. Русы имеют царя, который зовется Хакан-Рус, он производит набеги на славян. Подъезжают к ним на кораблях, выходят на берег и полонят народ, который потом отправляют к хазарам и болгарам и продают там. Пашен Русь не имеет, а питается лишь тем, что добывает в земле славян.

Через пятьдесят лет арабский географ Муккадеси писал: "Что касается русов, то они живут на острове нездоровом, окруженном озером, и эта крепость защищает их от нападений. Общая их численность достигает 100 тысяч человек. Нет у них пашен и скота. Страна граничит со страной славян, и они нападают на последних, расхищают их добро, захватывают их в плен". Тахир Аль-Марвази в конце XI века писал о русах на острове, что они "рассматривают меч как средство существования". Немец О. Фок в первой трети XIII века еще отмечал: "Русы живут на острове в море, и они занимаются постоянно разбоем".

Свидетельства многих арабских географов, путешественников и историков совпадают в разных деталях, причем в разное время, и в их достоверности сомневаться как-будто не приходится.

Кто же были эти русы и где находится их остров?

Такое место, которое вполне совпадает с описанием острова и людей — остров Рюген в Балтийском море. Там испокон века, может быть, начиная с VI в. н. э., жило славянское племя, по-разному называемое в хрониках — русами, русинами, и т. д. Сами себя они, очевидно, называли ранами. Славянские соседи называли их руги, руйне.

Летописец Нестор писал, что русичи говорили по-славянски. При перечислении западных народов, Нестор упоминает также *русь* наряду со "свие, варязи, урмане, анггляне, гъте", и помещает Русь между готландцами (на юг от современной Швеции) и "ангглянами", под которыми, вероятно, надо понимать датское племя англов. Русские летописцы называли Русью также и Киевскую Русь.

Об острове Рюгене имеется достаточно материалов в немецких хрониках. Аббат Вибальд в начале XII в. говорил о

нем, как о стране, по-немецки называемой Руяна, а по-славянски Рана. Другой немец, Герберд приблизительно в то же самое время называл русинами ран; киевских русов Герберд также называет русинами (латин. — ruthenes, рутены). Другие немецкие историки, например, Рагевин в том же XII в. писали, что на север от поляков живут русины. Испанский еврей Ибрагим бен Якуби, путешествовавший по землям прибалтийских славян, помещает русов на обрезке южного берега Балтики. Русами он называет и рюгенских жителей. О пруссах, живших на побережье Балтийского моря, он писал, что они живут на восток от русов, славянского племени, и что русы на кораблях производят на пруссов набеги.

Из исторических и иных источников (например, Скандинавских саг) известно, что прибалтийские славяне жили вдоль берега Балтийского моря между Данией и Пруссией. Это были различные славянские племена — вагры, бодричи, варны, лютичи, а на острове Рюген жило славянское племя ран, которых немцы называли также ругами или руянами, ругьянами и русинами. Немецкие историки объясняли это тем, что раньше остров Рюген был населен немецким племенем ругьянов, которое впоследствии переселилось на юг (в первые века н. э.), а их остров заняли славяне — руги или раны, которых некоторые историки, например, Вибальд, называют русинами.

Немецкий анналист XII в. Герберд пишет о Рюгене как о неприступном острове — из-за его местоположения. Саксон Грамматик в первой половине XII в. описывает главную крепость острова — Аркону, которая была защищена с востока, севера и юга отвесными скалами, а с запада — валом высотой в 50 футов. Другая крепость на Рюгене называлась Кореница. По свидетельству Саксона Грамматика, она была окружена отвесными скалами, к крепости вела только узкая тропинка. На острове были и другие крепости, названия которых до нас не дошли. Да и сам остров представляет собой настоящую крепость, созданную природой. Его восточный берег состоит из почти отвесных скал, высотой до ста метров. С западной, северной и южной стороны побережье острова защищено мелкими островами и полуостровами, что позволяло осуществлять наблюдение за вражескими кораблями и предупреждать внезап-

ное нападение. Если верить сообщениям, по которым население острова достигало 100 тысяч человек, то остров Рюген отличался необычайной плотностью населения. Саксон Грамматик писал, что в 1184 г., вскоре после захвата острова датчанами, в датском войске было 12 тысяч набранных на Рюгене. Для того, чтобы собрать такую армию, необходимо, чтобы численность населения была бы не менее 60 тысяч человек.

В Арконе находился главный храм, в котором почитался идол Святовит — главное божество не только у ран, но и у всех прибалтийских славян-язычников. В Арконе жил главный жрец, верховный владыка не только острова, но и всех балтийских славян. В 1168 г. защитников острова от датчан было не меньше 14 тысяч человек, что приблизительно соответствует населению в 70 тысяч человек. Раны были, вероятно, сильнейшим племенем среди прибалтийских славян, как о том пишут Адам Бременский и Гельмольд. Среди них не было ни одного нуждающегося или нищего; богатство ран было очень велико, и оно было результатом ежегодной установленной дани, получаемой от всех славянских земель Прибалтики. Эта дань состояла из сельскохозяйственных продуктов. Адам Бременский и Гельмольд называют ран пиратами, разбойниками. Немецкий историк Фок (XII в.) пишет о ранах: "были самыми опасными пиратами Балтики". Это подходит также к описанию острова Тахиром Аль-Марвази в конце XI века. В этих местах Балтики русами и др. славянами добывался янтарь и вывозился по Волге на восток и на запад по морям.

В 1168 г. Рюген был завоеван датчанами. Жителей обратили в католичество, но они сохранили известную самостоятельность: у них еще было свое войско, и они находились в дипломатических отношениях с разными странами. Вел. князь прибалтийских русов Веслав Третий умер в 1325 г., когда остров перешел к Поморским князьям. Папа Бенедикт XI называл рюгенских князей "возлюбленными сынами, знаменитыми мужами, князьями русских".

Институтом Истории АН СССР выпущена книга "Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования". Там помещена статья Н. С. Трухачева из ГДР "Попытка локализации Прибалтийской Руси на основании сообщений современников в Западно-Европейских и арабских

источниках X—XIII вв.". В предисловии к книге ее редактор отмечает, что в последнее время намечается оживление интереса к проблеме "руссы" — "руги", важной для выяснения происхождения и древнейших судеб Руси.

В прошлом были предприняты попытки связать русов, живших в Прибалтике, с Русью Рюрика. В последнее время об этом писали другие исследователи, например, Виленбахов. В 1962 г. он поместил в "Славия Окиседенталис" статью под названием "Балтийские славяне и Русь". Виленбахов пришел к выводу об исконных связях Новгородчины и западнославянского Поморья. Чешский ученый Хробек еще в 1957 г. высказывался в пользу фактического тождества славянских племен ран, обитавших в Прибалтике, с "третьим племенем" Руси арабских путешественников.

Н. С. Трухачев сделал, по нашему мнению, удачную попытку представить данные о существовании небольшого славянского русского государства на южном берегу Балтийского моря. Он привлек обширный материал немецких хроник на латинском языке, а также переводов описаний арабских путешествий в страну славян. Трухачев указывает, что немцы называли русами и киевлян, и жителей Рюгена. В 839 г. сообщается именно о русах, как жителей Киевской Руси, живущих между хазарами и угличами. Немцы имели обыкновение называть прибалтийских славян о. Рюген тоже ранами или росами. Таким образом, немецкие источники называют одним и тем же именем и русских киевских русов, и прибалтийских ран, или руянов, или русин. Из этого можно заключить, что для многих немецких анналистов термины "руги" и "русь" были однозначны и взаимозаменяемы. Так поступал немецкий историк Випон, около 1040 г., написавший "Деяния императора Конрада Второго". В Магдебургских анналах того периода киевских русов иногда называли русами, иногда ругами. Таким образом, отождествление киевских русов и ран с Рюгена было сознательным, а не случайным. В сообщении о приезде к германскому королю Оттону I посольства от княгини Ольги, некоторые источники называют подданных Ольги ругами, а другие — русами. Один анналист называет даже Ольгу княгиней ругов Еленой. Епископ Адальберт, посланный королем Оттоном на Русь, называл киевских русов ругами. По словам Титмара Мерзебургского, Адаль-

берт был послан на Русь как епископ народа руси.

Французский историк XV в., описывая крещение ран датчанами в 1168 г., употребляет термин Ругия и Русия без различия. По географии Меркатора "остров Русия обозначает Рюген, в древние лета тот остров Рюген вельми был многолюден и славен". Константин Багрянородный сообщает, что и восточные русы покидали в ноябре Киев и отправлялись в "полюдь" к разным славянским племенам-данникам, кормясь так в течение зимы. Таким образом, приемы у ран Рюгена и у киевских русов-славян были одни и те же.

Н. С. Трухачев пишет в заключение своей статьи: "Степень вероятности тождества Рюгена с островом русов близка к достоверности... Мы получили право объединять прибалтийских и восточных русов в одну этническую группу".

Что же можно заключить из интереснейших сопоставлений, сравнений и предположений, сделанных учеными? Напрашивается вывод, что балтийские русь-раны как-то попали в Киев и продолжали вести себя там так же, как на острове Рюген: меч был их главным источником существования. Как попали эти раны-русь в Киев? Тут можно строить различные догадки: пожалуй, самой вероятной представляется та, что легенда о призвании варягов новгородцами имеет под собой основания. Если согласиться с гипотезой, что русь и скандинавы (может быть, датчане, соседи рюгенцев и их возможные товарищи по набегам на других славян) пришли в Новгород, сразу разрешатся многие загадки и неясные места в Летописи Нестора, свидетельствах арабских путешественников и купцов, немецких анналистов.

Итак, допустим, что в Новгород прибыли славяне-русь, чей язык был славянским. Можно предположить, что это было сборное войско, состоявшее из балтийских ран-русов и из скандинавских пиратов-воинов. Эта объединенная дружина, возможно, и основала новое государство вместе с местными славянами. Главную роль играли славяноязычные русы. Потом дружины ран и скандинавов спустились вниз по Днепру к Киеву и там было основано Киевское государство, — опять-таки русичами с военной помощью скандинавов. Сходство языческой религии восточных и западных славян значительно — названия некоторых богов совпадают. Даже у датчан в их языческом пантеоне

славянский Перун представлен как *Thogun*. Новгородским "концам", например, соответствовали "концы" некоторых городов балтийской Руси. Тот факт, что пришельцы говорили на двух языках еще больше подтверждает эту гипотезу. Князь назывался каганом — как на Рюгене, так и в Киеве (Владимир Св. и Ярослав Мудрый). Русы на Рюгене и в Киеве брили бороды, чего не делали другие славяне (Н. С. Трухачев).

К этому нужно добавить следующее существенное замечание: вероятно, что русичи с Балтики уже с VI в. приходили в низовья Днепра и хорошо знали Волжский торговый путь, по которому, кстати, велась торговля янтарем. Торговля, может быть, давала этим русичам те большие доходы, которые сделали жителей Рюгена самыми богатыми из балтийских славян. Это объясняет указание на Черноморскую Русь. Словом, приход Рюрика с русью на Ладогу и в Новгород был подготовлен двухвековой давности знакомством русичей с волжским и днепровским славянством.

Черное море называлось Русским морем, как это известно из летописей и из рассказов арабов и византийцев. Была также Тьмутараканская Русь. Там, как известно, сидели русские князья, но в этих местах русичи были известны еще до появления из исторического небытия Киевского княжества. Можно предположить, что прибытие руси в Новгород вместе с варягами было не первым таким появлением в восточно-европейских областях будущей России. Возможно, что случались набеги русов с Балтийского моря еще и раньше, что они бывали и в Новгороде и в южной части Днепра, бороздили на своих ладьях просторы Черного моря. Ведь жители Рюгена — раны и русичи — были опытными мореплавателями и храбрыми воинами, имевшими большой опыт в нападениях на мирное население, как и их сотоварищи — скандинавы-варяги. Все это не записано ни в каких летописях, так как это был период еще долетописный, но такая гипотеза позволяет объяснить многие неясные места этого периода нашего летописания, а также загадки, связанные с рассказами путешественников (в частности, арабов) и предания, сохранившиеся в народной памяти.

Н. В. Первушин

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

К УБИЙСТВУ ПРОФ. А. Л. БЕМА

Мы печатаем письмо известной публицистки Ек. Дм. Кусковой к проф. Вл. Варл. Мияковскому. Е. Д. Кускова была выслана из СССР вместе со своим мужем, проф. С. Н. Прокоповичем в 1922 году, как участники "Помгола" (Комитета помощи голодающим). В эмиграции они жили в Праге. А. Л. Бем — известный литературовед, автор многих работ о творчестве Достоевского, жил в Праге. В. В. Мияковский — друг А. Л. Бема по Петербургскому университету, один из основателей Вольной Украинской Академии в США. Так же, как А. Л. Бем, тогда в Праге навсегда "исчезли" арестованные князь П. Д. Долгоруков, С. И. Варшавский (отец писателя Вл. Варшавского), В. Н. Светозаров и многие другие, попавшие в лапы СМЕРША. Ред.

Pension Belmont
26, Route de Chêne

Génève, le 10.IV.1952

Уважаемый г. Мияковский!

Вы не сообщили своего имени и отчества, — поэтому так и обращаюсь! Не сразу ответила Вам из-за своей поистине огромной переписки: не справляюсь!

Я очень мало могу сообщить Вам нового о семье А. Л. Бем. Я только что тогда послала ей большую посылку от имени Литерат[урного] Фонда и вскоре получила весть: посылка прекрасно дошла, но сама Ант. Иос. внезапно, в один день, скончалась от острого воспаления мозга. До этого события мне пришлось скрывать от нее, что я здесь, в Женеве, узнала о судьбе Ал. Люд. Все эти годы, со дня "увоза" 300 интеллигентов Советами, жены увезенных пытались узнать, где они и что с ними. Некоторые и узнали, напр[имер], жена П. Н. Савицкого, который стал изредка посылать ей открытки. Узнали о судьбе Нестерова (эс-эр) и некоторых других. О Беме — ни звука. Потом стали ходить слухи, что он повесился, что он выбросился из окна и т. д. Проше-

ние пражских жен увезенных мы передали в Инт[ернациональный] Красный Крест. С ним у нас тут большие связи. Но все старания — ни к чему. Затем, года два тому назад, в Женеву приехал коммунист, г. Черный, чех. Он должен был читать лекцию в Славянском Институте и читал ее. После лекции его повели в ресторан и один мой знакомый спросил его, что он знает о судьбе увезенных, в частности, о судьбе проф. Бёма. О судьбе других он ничего не знал. А о Беме сказал:

— Что касается проф. Бема, то совершенно случайно о его судьбе я осведомлен. Его в Россию не увозили...

— Значит, он просто арестован и находится в Чехии?

— Нет... Он был тотчас же расстрелян во дворе пражской тюрьмы...

Мой знакомый опешил и стал домогаться — за что? Но Черный уже замолчал и больше из него вытянуть было ничего нельзя. Верно ли это? Черный уверял, что абсолютно верно. Но так как Ант. Иос. жила все время "ожиданием", то я не только не сообщила ей об этом, но не сообщила никому и в Праге, чтобы эта весть не дошла до нее.

Ее выселили из проф. дома, который вы, вероятно, помните. Выселили всех. Остался там (случайно!) лишь проф. Лопатин — он догадался пустить в свободную комнатку коммунистку. Затем не выселили Л. А. Новгородцеву. Она затем сама очистила помещение, скончалась недавно от рака желудка. Последний год Ант. Иос. жила у замужней дочери, у какой, я не знаю, т. к. писала на ее имя... Сейчас там из-за радио солидаристов идут большие аресты. Сами знаете, берут и виноватых, и простых. Я предпочитаю сейчас туда никому не писать. И получила даже (случайно!) молчаливое на это согласие. Люди предпочитают "перетерпеть", чем возиться с чешской, весьма грубой охраной. А посылки посылать и совсем нельзя, месяца четыре тому назад масса продуктов, прибывающих в Чехию, обложены большой пошлиной и люди отказываются получать их.

Как видите, мало могу сообщить Вам. Еще год тому назад я почти все знала об оставшихся там. А потом почтовые сношения все ухудшались и переписку пришлось прекратить. Вы, вероятно, знаете, что каждый, отправляющий оттуда письмо за границу, должен лично являться в почтовое отделение с паспортом... Кому охота проделывать такую процедуру?

С приветом Ек. Кускова-Прокопович

СУДЬБА ПИАНИСТА В. ТОПИЛИНА

Впервые я встретился с Всеволодом Владимировичем Топилиным (Севой для меня) летом 1943 года в Смоленске. Тогда он был уже в довольно хорошем положении. Немецкое командование узнало и оценило его как пианиста. На почве музыки и оказавшихся у нас некоторых общих знакомых мы с Севой быстро сошлись и сделались хорошими друзьями.

Он рассказал мне о своих ужасных переживаниях в первые месяцы войны. Как упомянуто в III-IV томе (на стр. 485-486) "Архипелага Гулаг", он был мобилизован и брошен ("добровольно", конечно) в пресловутое "народное ополчение" на защиту Москвы. Довольно скоро попал в вяземское окружение. Тут в непогоду, дождь, грязь немцы, сами растерявшиеся от неожиданного количества пленных, гнали голодных, плохо одетых людей на Запад. Пленные питались колосьями с несжатых полей. Ослабевших, упавших немцы расстреливали.

Каким-то чудом Топилин уцелел. Где-то недалеко от Смоленска когда узнали, что он грамотный человек, его взяли работать в канцелярию. Тут он пережил нечто иное, тоже страшное: он сидел в хате у окна, выходящего в поле, в конце которого был обрыв. Немцы расстреливали партизан таким образом: те должны были идти по направлению к обрыву. Им стреляли в спину. Топилин рассказывал, как одни шли медленно, другие — в панике бежали.

Через некоторое время стало известно, что Топилин — пианист. Его перевели из конторы на другую работу. Он попал в привилегированное положение. Летом 1943 года немецкое командование организовало пропагандную поездку работников искусств, оказавшихся на занятой ими территории, "Кюнстлеррайзе", по Германии. Участников поездки собрали в Смоленске. Тут я встретился с Топилиным, мы как-то давали совместный концерт. В то время мы ничего не знали о немецких зверствах (евреи, русские "унтерменши" военнопленные, поляки и пр.). Ходили какие-то темные слухи, которым никто не верил. По окончании поездки мы с Севой расстались. Он поехал в Могилев, я — в Гомель, где в то время проживал.

Вскоре немецкое командование потребовало, чтобы я ехал в Могилев для выступлений там в течение целого месяца (август 1943 года) по радио. Я очень не хотел ехать, не хотел оставлять больную маму, тем более, что советские войска хотя и были еще далеко, но опре-

деленно продвигались на Запад; город изредка бомбили. Но мне сказали, что если я не поеду, то "в дальнейшем на нашу помощь не рассчитывайте". Имелась в виду приближавшаяся эвакуация. Выбора у меня, конечно, не было. Я поехал. Во всяком случае, расстояние было небольшое — от Гомеля до Могилева. Все пока обошлось благополучно. В Могилеве я проводил очень много времени в обществе Топилина.

Когда я вернулся в Гомель, советские войска шли на Запад довольно быстро, и эвакуация стала реальностью. Я опускаю подробности моей судьбы. Это было движение на Запад, куда угодно, к кому угодно, только бы избежать встречи с большевиками. Ясно, чем это мне грозило, как побывавшему под немецкой оккупацией бывшему политзаключенному (ст. 58.10) советского концлагеря.

В августе 1944 года я попал в Берлин, где встретил Топилина. Немцы организовали тогда некое агентство, которое сперва называлось "Винета", а позже было переименовано в "Ойропэише Кюнстлердинст". Как когда-то в советских концлагерях организовывались театральные представления, концерты для "поднятия духа" медленно убиваемых людей, так теперь Гитлер в Германии учредил нечто подобное. Организовывались концертные и театральные группы, которые посылались для развлечения "остарбейтеров", работавших на территории Германии. Лично я совершил только две короткие поездки, предпочитая сидеть в Берлине. Там я опять очень часто встречался с Севою. Вначале его настроение было таково: "Я легко перенесу эмиграцию. Я знаю языки (немецкий и французский он знал в совершенстве), я легко схожусь с людьми". Надо прибавить, что, как пианист, он не был ярким солистом, но был превосходным аккомпаниатором, много лет постоянно работал с Давидом Ойстрахом. Бывал с последним даже за границей (Франция, Бельгия, Скандинавские страны) еще в тридцатых годах.

Но к началу сорок пятого года настроение Топилина как-то переменялось. Он говорил: "Чего мне бояться советских? Я бывал за границей, они меня тщательно проверяли...". Такие речи казались мне невероятно наивными, на что я ему указывал, но все мои уговоры успеха не имели.

Была в "Ойропэише Кюнстлердинст" крайне неприятная особа. Работавшие там, конечно, ее еще и теперь помнят. Я забыл ее фамилию, имя ее — Тамара. Она мне казалась крайне подозрительной, какая-то "пятая колонна". И вдруг Топилин начал с нею встречаться и, как оказалось, у них установились приятельские отношения. Это выглядело более, чем странно.

В начале февраля 1945 года, около 12 часов дня был совершенно чудовишный налет на Берлин. Продолжался он всего 40 минут, но после него весь город был в огне. Сейчас же после этого в "Ойропэише Кюнстрлердинст" срочно были сформированы концертные и театральные группы, которые выслались из Берлина. В это же время немецкое население из города, как правило, не выпускалось. Но Топилин уезжать не захотел. Накануне моего отъезда я звонил ему по телефону: "Сева, я умоляю вас уехать. Ведь возможность эта абсолютно открыта". Но он был непоколебим в своем странном, роковом решении.

Прошло 20 лет. Я обосновался в Нью-Йорке. Тут гастролировал Давид Ойстрах. После концерта я зашел к нему, спросил, знает ли он что-либо о моем друге, его бывшем аккомпаниаторе. Ойстрах ответил: "Как же, Топилин живет в Киеве, профессорствует в Консерватории". Я просил Ойстраха, когда он будет в Киеве, передать Топилину мою визитную карточку. "О, нет. Я могу потерять, забыть. Проще, вы можете ему написать. Написать *можно*", — подчеркнул Ойстрах.

Это было в конце 1964 года — удобный предлог послать краткое новогоднее поздравление. Что я и сделал, обдумывая каждое слово. Я писал: "Как видите, я очутился очень далеко. Если откликнитесь, напишу вам о своей жизни".

Неделя через 5-6 я получил ответ. Я вскоре ответил большим письмом, но писал только о делах, о моей музыкальной жизни и работе в Нью-Йорке. Но ответа я так никогда и не получил.

В 1968 году в Нью-Йорке вышла книга Виктора Серова "Сергей Прокофьев. Советская трагедия" (на английском языке). Там, на стр. 299 автор пересказывает несколько абзацев из воспоминаний Бориса Дьякова, "прошедшего через лагерь принудительных работ в глубине Сибирской тайги" ("Повесть о пережитом"). Так как подлинника у меня не имеется, привожу в обратном переводе.

"Он (Борис Дьяков) говорит о москвиче Всеволоде Топилине (в действительности, Топилин был харьковчанин, — Г. К.), который в прошлом был аккомпаниатором Давида Ойстраха и которого он встретил в одном из госпиталей лагеря. Топилин перенес операцию аппендицита и, что иногда случается, благодаря более человечному отношению медицинского персонала (также заключенных), был оставлен при госпитале под предлогом помощи докторам. Топилин рассказывал нам о международных конкурсах скрипачей, которые состоялись в Варшаве и Брюсселе, где он аккомпанировал Ойстраху, который

был премирован. Он также рассказывал нам о концертах в Большом Зале Московской Консерватории. С грустной, покорной улыбкой он добавлял: "Если я умру здесь, то это будет из-за моей ностальгии по музыке. В моих снах я воображаю, что я играю на рояле. Во сне я слышу музыку Чайковского, Шопена. И я хотел бы проснуться...". Дьяков пишет дальше: "По директиве высших авторитетов Топилина сняли с общих работ в лагере принудительного труда. Это было сделано, чтобы сохранить его пальцы".

В конце шестидесятых годов один мой знакомый инженер, который знал Топилина в Берлине в 1944-45 годах, ехал в Россию в деловую командировку. Ему удалось побывать в Киеве. Он зашел в Консерваторию, где встретился с Топилиным. Последний пригласил его в ресторан на обед. Когда этот инженер пришел в ресторан, он застал Топилина не одного, но с его ученицей и ее матерью. Ясно, Топилин опасался принимать иностранца наедине. В разговоре Топилин просил передать мне привет и что "писать можно". Но я больше не писал. Казалось бессмысленным продолжать одностороннюю переписку.

Совсем недавно я встретил здесь, в Нью-Йорке, одного русского пианиста, эмигрировавшего в Америку в 1980 г. Он, бывший харьковчанин, знал Топилина. Встречал его уже после концлагеря, где Топилин, очевидно, пробыл около 10 лет. По слухам, ему немного помогал Ойстрах, в частности, как-то послал ему теплую одежду.

Неизвестно, сразу ли после концлагеря Топилин поселился в Харькове или жил до того где-то еще. В Харькове он преподавал сперва в Музыкальном училище, затем был приглашен в Консерваторию. О нем, как о музыканте и педагоге, была очень высокого мнения Регина Горовиц, сестра пианиста, проживающая в Харькове. Через некоторое время, видимо в первой половине шестидесятых годов, Топилин переехал в Киев, где занимал очень хорошее положение, имел хороший класс в Консерватории. Очевидно, после концлагеря он все же "поднялся" и его очень высоко ценили как музыканта и педагога. Скончался он в 1971 году.

На той же стр. 485 III-IV тома "Архипелага Гулаг" я нашел имена еще двух знакомых. О Печковском дополнительно сообщить почти ничего не могу. В 1947 году в Мюнхене я лечился у доктора из Риги, у которого на квартире во времена немецкой оккупации жил Печковский. При приближении советских войск его уговаривали уехать, возможность была. Но он говорил: "В России я все-таки Печковский, а кто я на

Западе? Ну, попою где-либо в провинции пару лет, а потом все же вернут меня в Ленинград...” Доктору моему писала его мать, оставшаяся в Риге: “Николай Константинович (Печковский. — Г. К.) уехал *вглубь России*”.

Токарская... Не могу вспомнить ее имени-отчества. С ней я работал в одной концертной группе на территории России, занятой немцами. Позже встречался в Берлине уже перед концом войны. Она не была артисткой кино, но, кажется, Московского театра Сатиры. Очень талантливая актриса. Не забуду, как великолепно разыгрывала она маленькие скетчи. В Берлине в начале 1945 года муж ее, тоже известный московский артист, Федор Михайлович Холодов был арестован по доносу одного мерзавца из членов нашей группы, который утверждал, что Холодов — еврей. Видимо, он погиб. Я уехал из Берлина до этого.

Страшные мысли приходят в голову: думаю иногда — не лучше ли быть расстрелянным в 1945 году, нежели много лет потом мучиться в советских концлагерях.

Георгий Кочевецкий

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

С. Г. ПУШКАРЕВ

30 янв. 1984 г.

Многоуважаемый Роман Борисович!

Как Вы, вероятно, уже знаете, отец умер 22-го января. Похороны были 25-го на кладбище Бивердейл в городе Нью Хейвен, где он прожил длинный отрезок своей жизни (с 1949 по 1976 год), и где почтить его память собрались многие из знавших его в те годы.

За несколько дней перед смертью он просил меня "послать Вам его прощальный привет, пожелания благополучия еще на многие лета, и выражение его сердечной благодарности за Вашу дружбу".

С искренним уважением, *Борис Пушкарёв*

Сергей Германович Пушкарёв родился 8 августа 1888 года в слободе Казацкой под Старым Осолом. Его отец, Герман Иосифович, служил по ведомству министерства юстиции нотариусом в Курске, владел среднего размера имением и был гласным в земском собрании. Его мать, Александра Ивановна, урожд. Шатилова, также происходила из местного дворянства.

В 1907 году С. Г. окончил с золотой медалью Курскую классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета. За связи с социал-демократами С. Г. был в январе 1910 года арестован жандармской полицией и исключен из университета. Он выехал за границу и в 1911-1914 гг. слушал лекции на философских факультетах университетов в Гейдельберге и Лейпциге. Вернулся в Россию в конце 1914 года в порядке обмена гражданскими лицами через Красный крест, и в 1916 году возвратился в Харьковский университет.

Во время революции 1917 года С. Г. примыкал к группе Г. В. Плеханова "Единство", стоявшей на оборонческих позициях, и под впечатлением поражений в Галиции вступил в июле 1917 года добровольцем в армию, где пробыл, состоя в ротном комитете, до декабря. Вернувшись снова в Харьковский университет, окончил его в 1918 году и по предложению проф. М. В. Клочкова был оставлен при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию.

По приходе в Харьков добровольческих частей, отказавшись от марксизма, вступил рядовым в один из пехотных полков Белой армии в июне 1919 года. В декабре был тяжело ранен в бою с махновцами, и после многих месяцев лечения в госпитале работал сначала в Управлении начальника авиации в Симферополе, а затем на бронепоезде "Офицер" участвовал в боях на Сиваше. Команда бронепоезда была в ноябре 1920 года в составе армии генерала Врангеля эвакуирована в Турцию.

В ноябре 1921 года С. Г. переехал в Прагу, где получил стипендию для научной работы через Русскую Учебную Коллегию, организованную по инициативе чешского правительства для помощи русским ученым и студентам. В 1924 году, под руководством проф. И. И. Лаппо, он выдержал магистерские экзамены при Русской Академической Группе и получил звание приват-доцента. Входил в состав Научно-Исследовательского Объединения при Русском Свободном Университете, издававшего свои "Записки", был членом ученого совета Русского Заграничного Исторического Архива (находившегося в ведении чешского министерства иностранных дел) и членом Русского Исторического Общества.

В 1927 году женился на Юлии Тихоновне Поповой (скончалась в 1961 году). В 1929 году у них родился сын Борис.

В том же году С. Г. был избран членом Славянского института при Чешской Академии наук, где был занят подготовкой сравнительного словаря древностей славянского права до начала 1945 года. Кроме того, в это время он был заведующим вечерних курсов русских предметов для детей, учащихся в нерусских школах.

Главным занятием С. Г. в пражский период его жизни было изучение источников и литературы по русской истории и подготовка научных статей и брошюр. Его интересовала, в первую очередь, история социально-политического строя и учреждений, формировавших быт широких слоев населения, в особенности крестьянства, с которым у него

был опыт долголетнего личного общения. К этой теме относятся следующие его работы: "Очерк истории крестьянского самоуправления в России" (1924); "Политические движения и политическая организация русского крестьянства в XX в." (по-английски, в сборнике под ред. Питирима Сорокина, 1931); "Происхождение крестьянской поземельно-передельной общины в России" (1939 и 1941). О средневековом городе написаны "Внутреннее устройство и внешнее положение Псковского государства в XIV-XV веках" (по-чешски, 1925), "Городское сословие и городское устройство в Чехии в XIV-XV вв." (по-чешски, 1938). Внутреннему строю Московского государства посвящены статьи "Целовальники в суде и управлении Московской Руси" и "Целовальники в государственном хозяйстве Московской Руси" (1933 и 1936). О церкви написаны брошюры "Свято-Троицкая Сергиева Лавра" (1928) и "Роль Православной Церкви в истории русской культуры и государственности" (1938). Следует также отметить "Принципы торговой и промышленной политики Петра Великого" (по-чешски, 1926) и "Россия и Европа в их историческом прошлом" ("Евразийский Временник", 1927). В конце войны С. Г. подготовил две работы, критикующие историческую теорию марксизма, но они были утрачены.

В апреле 1945 года С. Г. выехал с семьей из Праги и, после драматической, но благополучно закончившейся встречи с советской армией, прибыл в августе в Западную Германию, где прожил четыре года в различных лагерях для "перемещенных лиц". Был заведующим и преподавателем школы для русских детей. Летом 1949 года по приглашению проф. Г. В. Вернадского переехал в США, в город Нью-Хейвен, в котором прожил 27 лет.

Выписки и исторические материалы, накопленные за 24 года работы в Праге, а также интереснейшие записки эпохи революции и гражданской войны, погибли во время событий 1945 года. Однако, условия жизни в Нью-Хейвене, в частности, богатейшая библиотека Йельского университета, дали С. Г. Пушкареву возможность продолжать плодотворную научную работу, и в последующие годы он подготовил к печати девять книг и многочисленные статьи. Кроме того, он преподавал русский язык в Йельском университете в 1950-55 гг., был лектором по русской истории в 1951 г. в Фордхэмском университете, и летом 1954 г. — в Колумбийском университете. С 1957 по 1972 год работал в библиотеке Йельского университета, подготавливая материалы для трехтомного сборника источников по русской истории в английском переводе.

Первыми книгами, написанными в США, были "Обзор Русской истории" (1953, 509 стр.) и "Россия в XIX веке" (1956, 509 стр.); обе вышли в издательстве им. Чехова. Написаны они на уровне университетских курсов и включают множество цитат из источников. "Я хочу, чтобы читатель моей книги сам услышал голос нашей древности", — пишет автор. Главное внимание он уделяет внутренней политике и социальной истории русского народа.

Хронологические рамки, поставленные издательством, не позволили автору изложить в этих учебниках историю "второго Смутного времени" (1917-22), в котором, в противоположность первому Смутному времени (1605-13), победили не "люди земские", а "люди воровские". Частично этот пробел восполнен в английском варианте книги, значительно дополненном и переработанном, вышедшем в 1963 году под названием: "The Emergence of Modern Russia: 1801-1917". (Holt, Rinehart & Winston, 1963, 512 p.). Это издание разошлось тиражом более 5.000 экземпляров.

Лучшей книгой по истории октябрьского переворота С. Г. всегда считал "Как большевики захватили власть" С. П. Мельгунова. Однако переводу этой книги на английский язык препятствовал ряд чисто формальных недочетов. Например, отсутствие ссылок на источники. С. Г. посвятил очень много труда подготовке английского издания этой книги, вышедшей в 1972 году под названием "The Bolshevik Seizure of Power" (Clio Press).

В том же году в издательстве Йельского университета вышла тысячестраничная хрестоматия источников по русской истории с ранних времен по 1917-й год, в трех томах: "A Source Book of Russian History". Главным редактором этого издания был близкий друг С. Г. Пушкарева в течение полувека проф. Г. В. Вернадский. Административным редактором был проф. Ралф Фишер, его близкий друг, американец. В процессе работы над составлением этого монументального сборника С. Г. подготовил словарь русских исторических терминов, где обстоятельно объяснены их значения. Словарь, подобного которому до сих пор в русской исторической литературе не существовало, вышел в 1970 году: Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 (Yale University Press).

В 1976 году вышла отдельным томом "Крестьянская поземельно-передельная община в России", изд. Oriental Research Partners. Это — переиздание двух вышедших ранее в Праге частей, с добавлением

третьей части и вступлением проф. Марка Раева. Сюда вошел наиболее оригинальный исследовательский труд автора, доказывающий, что земельные переделы были вынуждены налоговой политикой государства.

За годы жизни в США С. Г. также опубликовал более сотни статей как в английских (Encyclopaedia Britannica, Russian Review, Slavic Review), так и в зарубежных русских изданиях: "Новое Русское Слово", "Новый Журнал", "Записки Русской Академической Группы в США", "Грани", "Мысль", "Наши Дни" и "Посев". Посвящены они преимущественно темам Московской Руси, эпохе Петра Великого, истории крестьянства, взаимоотношениям России и Запада, революции 1917 года и Ленину. Статьи на последнюю тему собраны в его восьмой книге — "Ленин и Россия", которая вышла в изд-ве "Посев" в 1978 году.

В возрасте 88 лет С. Г. переехал из Нью-Хейвена к сыну и невестке в один из пригородов Нью-Йорка. Не имея возможности работать в библиотеке по состоянию своего здоровья, он написал несколько работ более популярного характера, в частности свои воспоминания, печатавшиеся в "Новом Русском Слове" (15 номеров с сентября по декабрь 1980) и в "Новом Журнале" (5 номеров с 1980 по 1983).

Последняя серия очерков "О свободе и самоуправлении в России" была напечатана в журнале "Грани" (№ 126, 127) и готовится к печати отдельной книжкой в издательстве "Посев". Она начинается словами, которые служат своего рода лейтмотивом большей части произведений С. Г. Пушкарева: "Распространенное мнение о том, что русский народ всегда жил в рабстве, привык к нему и стал неспособен к устройству своей жизни на началах свободы и самостоятельности, *противоречит историческим фактам*".

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ШМЕМАН — IN MEMORIAM

13 декабря 1983 г., в своем доме близ г. Крествуд под Нью-Йорком, в возрасте 62 лет скончался протопресвитер о. Александр Шмеман. С его кончиной мы потеряли одного из крупнейших православных богословов нашего времени. Его имя, как богослова-литургиста и участника экуменического диалога, было очень известно и в инославной среде. Кончине о. Александра Шмемана предшествовал долгий и мучительный недуг — он умер от рака. Болезнь о. Александра стала подлинным духовным событием для его близких, друзей и учеников: как и полагается христианину, он смотрел на страдания, как на путь к последнему очищению, а смерть была для него возвращением в дом Отца после земного странствия. "Мы не имеем здесь пребывающего града, но Града грядущего взыскуем" (Евр. 13.14).

Александр Димитриевич Шмеман родился 13 сентября 1921 г. в Таллине, бывшем тогда столицей независимой Эстонии, куда его родители переехали из Петербурга после революции. Его отец — Дмитрий Николаевич Шмеман — до революции был офицером Лейб-гвардии Семеновского полка, а его дед — Николай Эдуардович Шмеман, умерший в эмиграции в Париже в конце 20-ых годов — видным юристом и сенатором. Мать о. Александра — Анна Тихоновна — была урожденная Шишкова, из известного дворянского рода Калужской губернии.

В 1927 г., когда будущему священнику и богослову было шесть лет, семья Шмеманов покинула Эстонию и поселилась в Париже. Отец Александр всегда говорил, что он гордится тем, что он — русский эмигрант, хотя к эмигрантским "вздохам и спорам" он относился иронически. Непримируемость по отношению к советской власти он сочетал с глубокой любовью к России, к ее культуре, которую он, после Церкви, любил превыше всего. Уже пораженный страшной болезнью, он готовил издание своих, написанных по-английски, книг на русском языке — многое он не переводил, а писал заново, имея перед своим взором внутрисосийского читателя. "Это — дань моей благодарности России и русской культуре" — говорил он. Но и Франция, ее язык, ее культура были о. Александру близки и дороги: когда я сообщал ему, уже больному, по телефону о какой-нибудь только что полученной из Парижа литературной новинке, он почти всегда говорил мне: — "А я уже прочел! Умеют писать французы!". Прожив больше 30 лет в США, о. Александр

американцем себя не ошущал, но относился к Америке с симпатией: отдав всю свою жизнь делу воспитания студенческой молодежи, о. Александр с негодованием отвергал басню о том, что американские студенты, якобы, менее способны к учению, чем европейские. На жизнь в СССР он смотрел без эмигрантской предвзятости и твердо верил в духовное и национальное возрождение России. Как радовался он каждому правдивому, мужественному слову, которое прорывалось к нам "оттуда" — "из-под глыб" казенщины и лжи! С каким ликованием встретил он книги Солженицына, о котором он сказал, что Александр Исаевич "изменил самый воздух, которым мы дышим". Это признание было взаимным — А. И. Солженицын начал писать о. Александру сразу же после высылки на Запад и их первая встреча состоялась тогда, когда А. И. Солженицын и его семья еще жили в Цюрихе.

В Париже Саша Шмеман учился сперва в Русском кадетском корпусе в Версале, а в 15 лет по собственному желанию он перешел во французский лицей. Окончив его с отличием, он в 1940 г. стал студентом Св. Сергиевской Духовной Академии в Париже, где среди его учителей были выдающиеся русские православные богословы. Особенное влияние на молодого богослова оказали о. Сергей Булгаков, о. Георгий Флоровский, о. архимандрит Киприан (Керн) и А. В. Карташев — библиист и историк Церкви. Своей первой специальностью А. Д. Шмеман избрал историю Церкви — как раннего, так и византийского периодов — и еще на студенческой скамье он написал, под руководством А. В. Карташева, свою кандидатскую диссертацию на тему "Судьба византийской теократии". Эта работа о. Александра, напечатанная в 5 номере журнала Академии "Православная мысль", датирована 13 декабря 1946 г. Тридцать семь лет спустя в тот же день, когда Церковь празднует память св. апостола Андрея Первозванного, о. Александр скончался.

Осенью 1945 г. молодой ученый начал свою преподавательскую деятельность в Духовной Академии в Париже, а в следующем году был рукоположен в священство архиепископом Владимиром (Тихоницким) в парижском соборе св. Александра Невского. Уже в эти ранние годы у о. Александра родился замысел книги, которую он написал в Америке — "Исторический путь православия". Эта книга вышла по-русски в 1954 г. в издательстве имени Чехова. За три года до этого, в 1951 г., о. Александр с женой и тремя детьми переселился в США, приняв приглашение в Св. Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке.

Начался новый, блестящий период в жизни о. Александра — не только как богослова, но и как выдающегося церковного деятеля. Он скоро сменил о. Георгия Флоровского и стал деканом Св. Владимирской семинарии. Более тридцати лет он был членом Митрополичьего совета Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Америки. На Всеамериканских Церковных Соборах о. Александра постоянно выбирали вице-председателем Собора от духовенства. Духовные школы и университеты США наперебой приглашали о. Александра читать лекции и вести семинары. С присущим ему юмором о. Александр говорил, что он уже потерял счет почетным докторатам, которые ему присуждали университеты Америки. За два месяца до его кончины, в октябре минувшего года, почетную степень доктора богословия присудила о. Александру Греческая православная семинария Честного Креста в Бостоне.

Направление богословских интересов о. Александра начало меняться еще до того, как он переселился в Америку. В самом начале 50-х годов он издал по-русски небольшую работу, посвященную истории развития обряда крещения. Его всё более привлекало литургическое богословие — наука о церковном богослужении. В Св. Владимирской семинарии в Нью-Йорке он, через некоторое время, полностью отказался от преподавания церковной истории — литургическое богословие стало темой его жизни. Отец Александр призывал вспомнить святоотеческое учение, согласно которому "закон веры" неотделим от "закона молитвы" — богословие выражает себя не столько в многотомных сводах догматики, сколько в богослужебном предании Церкви. Богослужение есть источник, от которого питается богословие — таинства Церкви вновь и вновь созидают живое Тело Христово. Эти таинства — не суть символы, которые как бы лишь отражают высшую, остающуюся нам недоступной, духовную реальность. В богослужении — не устаёт подчеркивать о. Александр — нам открывается не "учение", а та новая жизнь, которую принес в мир Христос, та жизнь, о которой сказано в Первом послании Иоанна, что "она была у Отца и явилась нам".

Летом 1959 г. о. Александр представил Совету Св. Сергиевской Духовной Академии работу на соискание степени доктора богословия, которую он озаглавил "Введение в литургическое богословие", а спустя два года его диссертация вышла отдельной книгой в издательстве ИМКА-Пресс. В последующие годы появлялись другие книги

о. Александра — по-русски и по-английски. Назовем среди них его книгу “За жизнь мира” — изложение и объяснение таинств православной Церкви — от крещения до венчающего церковную жизнь таинства евхаристии, а также книгу “Великий Пост”, вышедшую по-русски в Париже в 1981 г. По-английски вышла составленная о. Александром и снабженная написанным им введением антология русской религиозной мысли. Последние годы жизни — восемь лет — о. Александр работал над большим трудом, посвященным таинству евхаристии. Эта книга будет издана по-русски в Париже в 1984 г.

Натура о. Александра, творческая и щедрая, понуждала его не ограничиваться только церковной и богословской работой. О нем сейчас с благодарностью вспоминают его многочисленные друзья, некоторые из которых весьма далеки от Церкви. Неизменно подчеркивая, что он не считает себя литературоведом или критиком, о. Александр с увлечением участвовал во встречах русских писателей и поэтов и сам писал на литературные темы. Его статьи о творчестве А. И. Солженицына были изданы отдельным сборником.

Читатели “Нового Журнала” помнят его блестящую статью, написанную после того, как до нас дошла скорбная весть о кончине в Москве А. А. Ахматовой, — эта статья получила высокую оценку и у читателей журнала в Сов. Союзе. В течение более тридцати лет о. Александр был внештатным сотрудником радиостанции “Свобода” и писал он не только религиозные беседы для воскресных передач, но и скрипты на литературные темы. Он блестяще владел пером, а как лектор, одинаково свободно знавший русский, английский и французский языки, он мог увлечь любую аудиторию

Осиротевшая семья о. Александра состоит из его жены Ульяны Сергеевны, урожденной Осоргиной, троих взрослых детей и девяти внуков. Его дочери — Анна и Мария — замужем за православными священниками, учениками о. Александра. Его сын С. А. Шеман — журналист по профессии; в настоящее время он корреспондент газеты “Нью-Йорк Таймс” в Москве.

15 декабря 1983 г. было совершено отпевание о. Александра в храме Св. Владимирской семинарии под Нью-Йорком: служили не только иерархи и священники Православной Церкви в Америке, но и духовенство греческой, сирийской, сербской епархий — вся многоликая в смысле этнического происхождения православная Америка, объединенная не только общей верой, но и чувством глубокой благодарности к

почившему. На следующий после отпевания день, 16 декабря, состоялось погребение о. Александра на кладбище Св. Тихоновского монастыря в Пенсильвании — этот монастырь был создан в начале нашего века архиепископом Тихоном Алеутским и Североамериканским, которому в будущем суждено было стать всероссийским патриархом и исповедником веры.

Умер о. Александр Шмеман... Для тех, кто имел счастье быть его друзьями, он остается живым напоминанием слов апостола Павла о том, что скорбят об ушедших только те, кто "не имеют упования". Всем своим жизненным подвигом о. Александр свидетельствовал, что стержень нашей веры в том, что смерть изнутри побеждена Христом и этот победный, немеркнущий свет веры сияет над его свежей могилой.

прот. К. Фотиев

ОТ РЕДАКЦИИ

Эта книга "Нового Журнала" была уже сверстана, когда мы получили грустное известие о кончине нашего старого сотрудника и одно время члена редколлегии

**Геннадия Андреевича
Хомякова (Андреева)**

Редакция скорбит о его кончине. И выражает свое глубокое соболезнование жене усопшего Элли Оскаровне. Некролог Геннадию Андреевичу будет помещен в следующей книге.

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Л. ГОЛЛЕРБАХ "ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА".

Посылая мне свою книгу "Заметки художника", С. Л. Голлербах скромно назвал ее "книжицей", подразумевая под этим, что звания "книги" этот сборник заметок — часто отрывочных, всегда лаконичных — не заслуживает. Такое отношение к "Заметкам художника" оправдано, если под книгой понимать "солидный трактат", который будет "принят с должным вниманием", подвергнется критическим разборам специалистов, а затем... затем очень скоро станет мертвым произведением типографского станка, обреченным на то, чтобы пылиться без движения на книжной полке. К счастью, С. Л. Голлербах написал не "трактат" — он собрал воедино то, что он написал в разное время, как словесный комментарий к тому, что составляет суть его "духовного жизненного порыва" (это выражение принадлежит Бергсону) как художника, который лишь изредка откладывает в сторону кисть для того, чтобы взяться за перо. Не то ли самое перо, которым он пользуется для своих графических работ?

В своем предисловии к книге "Заметки художника" Б. А. Филиппов называет Голлербаха "ироническим реалистом", который жизнь "принимает... любовно, но с горькой усмешкой". Возможно, что это справедливо, но даже те произведения Голлербаха, которыми иллюстрирована книга, говорят о чем-то большем и значительном, чем только ирония, даже любовная. Налет полунасмешливого шаржа с ясностью проступает на человеческих лицах, как их изображает точное и легкое перо Голлербаха-графика. Но взглянем на его работы, исполненные в иной, не графической манере. Лица исчезают — мы видим людей в странных, напряженных позах, композиция картин тревожна, мрачны сгущающиеся, суровые краски и остается лишь примыслить ангела смерти, который уже поднял свои крылья над бездомными мек-

сиканскими музыкантами или отчаявшимися обитателями нью-йоркских трущоб. Легкая ирония отлетает, уступая место тяжелой поступи трагедии.

“Одно великое сиротство,
Одна великая тшета...”

В соответствии с этими двумя ликами Голлербах-художника происходит и тематическое деление вошедших в книгу заметок. Голлербах сознательно их перемешивает — размышления, подчас печальные, о судьбах современного искусства (“Инфантилизация искусства”, “Смерть живописи”, “Грех заимствования”, “Балласт культуры”) перемежаются с зарисовками жанровых сенок Нью-Йорка (“Живу в Нью-Йорке”, “Летний Нью-Йорк”) Испании, Португалии и Мексики. Если бы первая группа заметок была собрана воедино, скажем, в заключительной части книги, то получилось бы подобие “трактата”, но это автору книги претит. В его размышлениях о судьбах искусства в современном мире нет системы, что отнюдь не означает, что мысли об искусстве вообще и об искусстве нашего времени, в частности, не продуманы Голлербахом до конца.

В заметке “Смерть живописи” Голлербах пишет, что сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что живопись умерла, ибо живопись есть воспроизведение живой природы, создание определенных образов, имеющих эстетическую и этическую ценность для человека, а сейчас отпала потребность в живописании жизни. Что же — необратима и окончательна эта смерть искусства? Нет, отвечает Голлербах — живопись умерла ровно в той степени, в какой “умер Бог”, в степени отхода от Него людей. “Ее (живописи) воскресение будет таким же таинственным, как и ее смерть”. А пока чудо воскресения живописи не наступило, не следует обольщаться ее подменами — инфантилизация искусства есть попытка усталых людей утешиться побрякушками и не имеет ничего общего с евангельским славословием дару детской непосредственности. Не спасет искусство и “возвращение к иконе”, ибо духовный мир иконописцев возвышается над нашей суетой, как заведомо нам недоступная альпийская вершина. Нет, говорит Голлербах, лучше, ибо честнее, признать временную смерть живописи и смиренно молить о чуде, чем гоняться за “новизной форм”, рядиться в чужие одежды и выдавать подобный маскарад за творчество.

Искусство умерло в той мере, в которой умер для сознания современного человечества Бог... Голлербах повторяет эту мысль не раз.

Позволю себе короткое отступление, чтобы развить эту мысль Голлербаха — в надежде, что он согласится со мной в моем убеждении, что живопись, которая жива в той мере, в которой она питается “водой, текущей в жизнь вечную”, не раз умирала и не раз воскресала вновь, припадая к различным ручьям, текущим из единого источника.

Уже в течение многих лет, со времен студенческой молодости, я каждую осень навешаю Тоскану, перемежая старательное посещение церквей и музеев с далекими прогулками по сельской Тоскане, пейзаж которой — не меньшее чудо красоты, чем творения ее прославленных художников. Во Флоренции я смотрю фрески в соответствии с хронологией их написания — Джотто в Санта Кроче, Мазаччо в базилике Мадонна дель Кармине, фрески Фра Беато и его учеников в Сан Марко и, наконец, Беноццо Гоццоли в часовне дворца Медичи. Беноццо Гоццоли в молодости был учеником Фра Беато, но между учителем и учеником пролегла та таинственная грань умирания искусства, о котором писал в своей книге под этим названием мой учитель В. В. Вейдле и о котором говорит С. Л. Голлербах.

Муратов, вслед за Беренсоном, называет Фра Беато “художником с простым и веселым сердцем” — для них он отнюдь не мистический визионер, под которого его пытались стилизовать. Но его обращенность — к небу, и земля, которую он изображает, есть земля, удостоившаяся небесного посещения. А уже его ученик Гоццоли вполне счастлив на этой, себе довлеющей, праздничной и веселящейся земле. Изображая, на радость себе и нам, великолепное шествие волхвов и их многокрасочной свиты (с помощью этой аллегии он изобразил латинян и византийцев, съезжающих на Флорентийский собор 1441 года) Гоццоли старается заразить нас своей верой в то, что этот праздник будет длиться вечно, что нет и не может быть горечи на дне кубка жизни. В этом антропоцентрическом оптимизме вся *двусмысленность* Возрождения (как и секулярного гуманизма) перед судом новозаветного откровения, которое столь недвусмысленно говорит нам, что нет иного пути к “радости совершенной”, чем тот, что ведет через Гефсиманский сад и Голгофу... Значит ли это, что после Гоццоли омертвели питавшие искусство корни религиозного откровения? За о. Сергием Булгаковым, для которого встреча в Дрездене с Мадонной Рафаэля была перевернувшим его душу религиозным переживанием, я последовать не могу. А драматические и скорбные фрески Синьорелли? Христианство, понятое в его трагическом аспекте, как “день гнева” — не

это ли спасло искусство позднего Возрождения от измельчания и умирания, которые готовили ему оптимистические лжепророки антропоцентризма?

Свидетельствуя о постигшей современную живопись (и только ли живопись?) смерти, Голлербах целомудренно молчит о том, что ее воскресение может придти только через *возрождение чувства трагичности бытия*: больной, отказывающийся признать себя больным, исцеления не получит. Лишь из глубин трагедии может воссиять надежда. Оптимизм же, как показывает нам Голлербах в своей книге и еще убедительней — в своей живописи, может лишь тешить нас маревом новаторства, но не спасет нас от отчаяния.

Прот. Кирилл Фотиев

Михаил Геллер. Андрей Платонов в поисках счастья. Утса-Press, Paris, 1983.

Бывает, что в критике, анализируя частное, иногда не замечают целого. Этого нельзя сказать о новой книге Михаила Геллера "Андрей Платонов в поисках счастья". На сегодня это самое обстоятельное и честное исследование творчества писателя. В Советском Союзе Платонова замалчивали десятилетиями, но последнее время молчанию предпочли ложь, и так на свет появилось несколько работ. Наиболее фальсифицированными в советской критике оказались философия и религия писателя, что не прошло мимо внимания Михаила Геллера. Им впервые устанавливается связь взглядов Платонова с трудом Николая Федорова "Философия общего дела". Геллер убедительно показывает, что основные идеи Федорова: о смерти, как о главном зле, которое необходимо преодолеть путём воскрешения умерших, о братстве, как объединении сынов для воскрешения отцов, о целомудренном браке — являются душой платоновского творчества.

По мнению Федорова и Платонова, борьба со смертью — главная цель человека на земле, и потому так неутомимо боролся писатель против страшной утопии коммунизма — антипода поисков бессмертия. Своими произведениями "Чевенгур" и "Котлован" Платонов ясно говорит, что коммунизм ничего, кроме смерти, не несет. Критик пишет об этом так: "...коммунизм — это смерть. Коммунистическая утопия для Платонова, независимо от его отношения к её строителям, неизбежно

ведет к смерти. И поэтому представляет собой антипод утопии, ставящей своей задачей объединение всего человечества для борьбы со смертью”.

Большим достоинством М. Геллера является его способность устанавливать связь литературы и истории. В рассказе “Усомнившийся Макар” есть сцена в сумасшедшем доме, где находят себе приют пролетарий Пётр и крестьянин Макар. Здесь они читают случайно попавшую им книгу Ленина: “Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Пётр, а Макар слушал и удивлялся точности, точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять”... Михаил Геллер сразу же устанавливает, что это — переведенная на язык Платонова статья Ленина “Лучше меньше, да лучше”.

Следует признать, что исторический и социологический аспекты исследования наиболее сильная часть книги. Литературоведческий анализ не всегда проведен с должной ясностью. Однако, достоинства работы, к которым следует отнести и ее живой язык, с лихвой искупают недостатки.

В книге М. Геллера содержится объяснение некоторых сторон творческой биографии Платонова. Так в советской критике существует мнение, что в статьях 30-х годов писатель “пересмотрел” своё прошлое, “улучшил” свою писательскую манеру, “изжил” некоторые “дефекты” и т. д. Геллер правильно напоминает читателям о времени, в котором происходили все эти “улучшения” и “исправления”, о времени, “когда профессия писателя становится такой же опасной, как профессия лётчика-испытателя”, “когда смертельно опасным становится уже само положение гражданина СССР”.

Татьяна Емельянова

ПЬЕСЫ И КИНОСЦЕНАРИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

В парижском издательстве ИМКА-ПРЕСС вышли отдельной книгой “Пьесы и киносценарии” Александра Солженицына, написанные им ещё в Советском Союзе в годы с 1951 по 1968.

Первые три пьесы — “Пир победителей”, “Пленники” и “Республика труда” — составляют драматическую трилогию под названием “1945 год”.

“Пир победителей” был написан, вернее, сочинен устно в 1951 году в Экибастузе, где Солженицын находился тогда на общих работах. Действие пьесы происходит 25 января 1945 года в Восточной Пруссии; в зале старинного замка “победители”, т. е. советские офицеры, празднуют день рождения заместителя командира дивизиона майора Ванина.

Помимо офицеров, в пире принимают участие женщины — подполковничиха Глафира, врач дивизиона Анечка, две девушки из соседней части и Галина, бывшая остовка, освобожденная советскими войсками. Галина — главная героиня пьесы, она убеждённая антикоммунистка. Её судьба составляет сюжетную канву пьесы. Галина боится репатриации, особенно после того, как уполномоченный контрразведки СМЕРШ Гриднев говорит ей, что если она не придёт к нему ночью, он заявит, что она немецкая шпионка.

Когда Гриднев пытается насильно обнять Галину, она вырывается, предупреждая, что сейчас закричит. На это Гриднев ей отвечает:

Ах, так?
Ну, ну. Кричи. Как нас учил великий гуманист,
Что если не сдаётся враг,
Его уничтожают.
Кричи-кричи!... Что горла, громко!
Вот прибегут защитники толпой!...
Давно ж ты не была в СССР. Не знаешь этой кромки —
Вокруг погонов кромки голубой.
Пусть прибегут. Скажу: а-рес-то-вал!
И всё. И между вами — пропасть. И в подвал.

Спасти от смершевца Гриднева помогает Галине её старый друг детства капитан Нержин, случайно оказавшийся на пиру победителей.

Такова основная сюжетная линия первой части драматической трилогии “1945 год”. Однако, тема пьесы этим не кончается. “Пир победителей” Солженицына затрагивает несколько тем, вплоть до такой, как право победителей на мародёрство. Каждый персонаж пьесы “Пир победителей” обладает индивидуальностью, каждый образ остро характерен и ярк, хотя порой Солженицын и вынужден, следуя законам драматургии, прибегать к некоторой схематичности, предоставляя актёру возможность самому дополнить образ и даже трактовать его по-своему.

Первая часть трилогии “1945 год” названа Солженицыным комедией, хотя, по существу, за исключением чисто театральных комедий-

ных моментов, которые подчеркивают трагедийность ситуации, эта пьеса, скорее, — драма, чем комедия. Назвав „Пир победителей” комедией, Солженицын хотел, вероятно, сказать, что это были только цветочки по сравнению с тем, что последовало за „Пиром победителей”. Следующую пьесу, „Пленники”, Солженицын назвал трагедией. „Пленники” также были сочинены устно в Экибастузе и Кок-Тереке на общих работах в 1952-1953 годах.

Действие пьесы происходит в одной из контрразведок СМЕРШ 9 июля 1945 года от полуночи до полуночи. Среди героев пьесы „Пленники” нет героев первой части трилогии. И тем не менее, по мере появления персонажей „Пленников” невольно ждёшь, что среди них окажется Галина, а за ней и капитан Нержин. Солженицын почему-то не ввел героев своей первой пьесы в число персонажей второй. В „Пленниках” участвуют совсем другие люди, чем в „Пире победителей”, но всякому ясно, что „Пленники” — логическое продолжение „Пира победителей”. Герои пьесы „Пленники”, в основном, советские военнопленные — лейтенанты, сержанты, полковники. У следователей к ним один вопрос: почему посмели сдать? Почему не пустили себе пулю в лоб? Картина за картиной Солженицын показывает разные этапы и разные методы советской судебной инквизиции, механику ломки человеческой воли. Безвинно осужденный готов подписать любой протокол, лишь бы избавиться от этих допросов, которые страшнее немецкого плена. Но человека никогда не покидает надежда. Самой драматической, пожалуй, можно назвать ту сцену, когда в камеру арестантов после двадцати суток карцера и шестнадцати одиночек возвращается один из героев Солженицына, Болоснин. Первые слова Болоснина своим сокамерникам: „Тридцать лет я прожил никогда не думал / что такое счастье — быть с людьми...” Сокатерники, до которых дошли слухи об амнистии, набрасываются на Болоснина с вопросами, не слыхал ли он что-либо. Болоснин медленно, устало отвечает:

Я у следователя по радио сам слышал в кабинете.
В честь победы над Германией амнистия обещана вчера,
Небывалая ещё на свете.

Среди сокамерников раздаются возгласы: „Я же говорил! Я говорил! Все эти приговоры для острастки!” Но Болоснин продолжает:

Независимо от срока амнистированы: воры,
Спекулянты, жулики, бандиты, дезертиры,

Расхитители гражданские, военные, обмер, обвес...
 Не помилованы только: бывшие военнопленные,
 Только мужички, кто был под оккупацией,
 Только кто при немцах с фабрик не ушел,
 Да учителя, что не бросали школ...
Только кто на поле боя сворой генералов продан,
 Только кто в Германию насильно угнан.
Только кто не так оструган,
 Думает не так, кому не так взглянулось,
 ...Остальных все милостивейше коснулась
 Сталинская длань.

”Да, — говорят арестанты, — небывалая, действительно, амнистия”, а арестант Холуденев, бывший капитан Красной Армии, добавляет: ”По-сталинскому глумный манифестик!”

Трагедия ”Пленники” Солженицына заканчивается сценой в камере, куда возвращается после допроса у следователя один из героев пьесы Воротынцев. ”Ну, сынки, последний вечер. Завтра — трибунал”, — говорит своим товарищам Воротынцев. Это сообщение как бы пробуждает в сокамерниках волю и сознание своего особого назначения в жизни. Болоснин, подходя к Воротынцеву прощаться, говорит:

Но не верю я, что нам осталось в мире
 Только гордое терпение да скорбный труд
 В глубине сибирских руд!
 Если прадеды кончали путь в Сибири, —
 Может, правнуки в Сибири свой *начнут?*!

Воротынцев на это отвечает:

Этой верою вам крепнуть — надо б, да!
 И, друзья, не ждите помощи от Запада...
 Вся надежда мира — вся на каторжанах!
 Вся теперь — на вас!!!

Арестанты подхватывают один за другим и произносят, как присягу:

Не влачить униженно позора...
 Лагерного рабьего клейма!
 Эй, дохни-ка, снежная Печора!
 Тряхани плечами, Колыма!

Последняя часть драматической трилогии Солженицына "1945 год" — "Республика труда". Действие происходит в одном из лагерей Архипелага ГУЛАг. Первоначально пьеса "Республика труда" называлась "Олень и Шалашовка". Ее читка состоялась в московском театре "Современник" — тогда, когда Солженицын еще не был изгнан из Советского Союза, а главным режиссёром театра был Олег Ефремов. Артисты "Современника" с большим энтузиазмом отнеслись к работе над драмой "Олень и Шалашовка". Однако, очень скоро сверху была спущена директива, запрещающая пьесу к показу, и Ефремов от работы над пьесой "Олень и Шалашовка" принужден был отказаться. Единственная в советской драматургии пьеса на лагерную тему — комедия Николая Погодина "Аристократы". Но разве можно сравнить с ней пьесу Солженицына "Олень и Шалашовка"?! Это всё равно, что сравнивать Божий дар с яичницей. Уже один тот факт, что Погодин из лагерной жизни сотворил комедию — достаточно красноречив. Солженицын же — не комедиограф, а именно драматург. Все три пьесы его драматической трилогии "1945 год" сценически наглядно показывают драму века.

В изданной недавно издательством ИМКА-ПРЕСС книге Солженицына "Пьесы и киносценарии" напечатаны также написанные Солженицыным в Рязани в 1959, 1960 и 1968 году пьеса "Свеча на ветру" и киносценарии "Знают истину танки" и "Тунеядец". Объем книги — 589 страниц. Книга Александра Солженицына "Пьесы и киносценарии" представляет громадный интерес для читателей.

Юлия Тролль

JOZEF MACKIEWICZ. "DROGA DO NIKĄD". Kontra. London, 1981. Стр. 384.

В "Кратком словаре литературоведческих терминов" (М. 1963) "роман" определяется, как произведение, "которое отражает сложный жизненный процесс, большой круг жизненных явлений, показанных в их развитии. Картины человеческой жизни в романе даны в их сложности и многогранности. В событиях изображенных в романе обычно принимает участие много действующих лиц, судьбы и интересы которых

сталкиваются и переплетаются...” Все эти условия налицо в книге польского писателя Иосифа Мацкевича “Дорога в никуда” (первое издание вышло в 1955 году). Действие происходит на Виленшине в период первой советской оккупации 1940-1941 годов. В кратком примечании автор пишет: “В этом рассказе всё, кроме действующих лиц романа, подлинное — люди, животные, вещи; события, тайные документы и числа; названия деревень; восход и заход по московскому времени, болотистая пограничная линия, разделяющая Литовскую и Белорусскую советские республики, и также направление каждой дороги. Также подлинны фамилии чинов НКВД”.

Передать содержание книги, ход бурных, напряженных, стремительных, ежедневно, если не ежечасно меняющихся событий напрасный труд. Это верный путь к тому, чтобы испортить общее впечатление о книге, исказить неповторимый авторский язык, извратить стиль автора, его умение представить читателю в кратчайшей форме захватывающие эпизоды романа. Мацкевич с большим мастерством рисует картины доблести и трусости, благородства и низменности, верности и предательства многочисленных действующих лиц, живущих в атмосфере постоянного гнета советских оккупантов и местных коллаборационистов, которых, увы, оказалось не так мало.

Многосторонне представлены национальности, населяющие эти земли: поляки-католики (крестьяне, мелкие помещики, “разночинная интеллигенция), православные местные жители, евреи. Очень своеобразен и колоритен разговорный язык трех местностей — смесь польского и русско-белорусского, на котором говорят в деревнях и городишках Виленщины. Этот язык не утомляет, он естественен в романе.

Эпизодические лица зачастую выражают мысли и отражают мировоззрение автора, которое он прямо высказывает во всех своих книгах, носящих историко-политический характер, как, например, в «Победе провокации» (“Заря”, Лондон, Канада, 1983). Вот случайная, дорожная встреча между Павлом (одним из главных героев) и архимандритом Серафимом. Павел просит своего спутника разъяснить ему разницу между русским и, так называемым, советским народами.

“...Разница во всём. Что осталось общего? Язык, скажете, и что еще? Четырехгранный штык и серая шинель?... Во всей Европе нет более непохожих друг на друга народов, чем русский народ и... советский. Народ — это не язык, народ — это душа, чаяния, песни, литература... Вы знаете, когда Гоголь писал «Ревизора»? В царствование царя Нико-

лая I. "Жандармом Европы" называли этого царя. А однако этот "жандарм" разрешал постановку пьесы, в которой всё — и чиновники, и вся система, включая жандармов, — было насквозь высмеяно. Классическая русская литература — это тот же Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов, Шедрин... всё дух противоречия, недовольства, расщепления волоса, дух человеческого сомнения... А теперь нет такой литературы, которая именно не топтала бы угнетенных и не восхваляла бы привилегированных, не кланялась бы власть имущим..."

А вот из речи на тайном собрании Тадеуша, поляка, заговорщика и подпольщика: "...Кто может подорвать большевизм? По-моему этого не сможет сделать тот или иной народ собственными силами, а только международная, вненациональная масса, т. е. то, из чего состоит нынешний большевизм. В 1917 году, даже может быть еще в каком-нибудь 1920-ом году, этого мог бы добиться один только русский народ, т. к. тогдашний большевизм был еще внутренним, русским делом. Сегодня же большевизм действительно вненационален. Большевизм и Россия — совсем разные понятия. Большевизм сталкивает национальные дела на второй план, и потому антибольшевизм может ему противостоять только при искреннем желании также оттолкнуть свои национальные дела на второй план".

Вызовы в сельсовет, где сидят новоиспеченные партийные "работники", "разговоры" в НКВД, постоянный страх доносов, ареста, ночного посещения "гостей" (автомобильные фары на проселочной дороге!), полнейшее обесценение денег — всё это доходит до апофеоза, когда по приказу Народного Комиссара Государственной Безопасности Меркулова от 31 мая 1941 года, за номером 4/4/9174, начались приготовления к вывозу "антисоветски настроенных элементов в отдаленные места СССР". Приказ начал исполняться в массовых размерах 14-го июня 1941 года.

Павлу с его больной женой в лихорадке, дословно за несколько минут до ареста, удастся уехать на однокопной подводе в лес, в ночь, в неизвестность. Ходят слухи о войне. Всюду паника, всюду насильственные выселения, каждый боится приютить беженцев. Павел с женой и наспех собранным в узел домашним скарбом углубляются в лес, попадают на какую-то заросшую дорогу, прорубленную когда-то дровосеками. Лошадь останавливается. Впереди что-то вроде прудика. По сторонам болотце. Жену Павла знобит.

— Почему стоим, Павел?

Пусть лошадь немного отдохнет, — устало ответил Павел.

Мне холодно. А куда эта дорога?

В никуда.

Этими словами кончается роман. Нельзя сильнее, короче высказать весь ужас, всю безнадежность, всю безысходность гонимых, ни в чем неповинных, людей. О романе «Дорога в никуда» много писала эмигрантская польская пресса и писала совершенно справедливо, что это прекрасная книга. Критики подчеркивали, что "никто не умеет так, как Мацкевич создавать живые лица несколькими штрихами пера, без использования психологии, почти без описания, показывая жест, вздох, плевков". Они обратили внимание, что книга является "чем-то бесконечно большим, чем историко-политическое свидетельство" и что «Дорога в никуда» должна "быть в каждом польском доме". Я хотел бы расширить последнее: каждый русский должен прочитать эту книгу. Незнание польского не препятствие, ибо есть французский перевод *Le chemin qui ne mène nulle part* (Paris, 1962); английский *The Road to Nowhere* (London, 1962) и немецкий *Der Weg ins Nirgendwo* (München, 1957).

Некогда книги польских классиков в русских переводах украшали книжные полки русских книголюбов и были неотъемлемым литературным наследием русского читателя. Хочется верить, что «Дорога в никуда» будет переведена на русский и массовый русский читатель будет иметь возможность ознакомиться с этой великолепной книгой Иосифа Мацкевича.

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

В. М. Русаков. РАССКАЗЫ О ПОТОМКАХ А. С. ПУШКИНА.
Лениздат. 1982. 367 стр.

В СССР вышла в свет книга о потомках Пушкина. В свою небольшую книгу автор вложил предельно сжатое содержание. Несомненно, Русаков проделал большую, кропотливую работу, как по сбору разных материалов и документов, так и по розыску многочисленных потомков Пушкина. Его встречи и беседы с ними читаются с интересом.

В результате этого многолетнего труда получилась полная картина родословная роспись потомков Пушкина. В приложенный к основному тексту длинный список последовательно расположенных семи поколений вошли 238 имен. И какой диапазон в сословном отношении! От дочери поэта Натальи, вышедшей вторым браком за принца Николая-Вильгельма Нассаусского, и ее дочери Софии Николаевны графини фон Меренберг, также вышедшей вторым браком за великого князя Михаила Михайловича Романова, до прапраправнучки Галины Северьяновны Усовой, вышедшей замуж за профессора В. А. Коровина, выходяца из простой рабоче-крестьянской среды. Среди потомков много знатных имен: Воронцовы-Вельяминовы, Апраксины, Лорис-Меликовы, Дурново. И еще больше имен менее известных.

Наибольшее внимание и всяческие похвалы, преувеличенные в силу свойств советской литературы, автор уделяет, конечно, потомкам, жившим всю жизнь под властью Советов. В рассказах Русакова немало исторических, как бы мимолетных, но интересных сведений об участии потомков поэта в войнах. Так, сын поэта Александр Александрович, полковник, командовавший во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. 13-м Нарвским гусарским полком, с 1891 г. генерал-лейтенант в отставке, "показал себя не только талантливым, отлично знавшим военное дело командиром, но и мужественным, бесстрашным воином". Был он награжден многими орденами, в том числе и тремя иностранными.

Особое место в книге занимает участие потомков Пушкина в советско-германской войне 1941-45 гг. В длинной главе "Они защищали отечество" Русаков пишет: "Поэзия А. С. Пушкина вдохновляла на ратные и трудовые подвиги наших соотечественников. Среди них были и потомки поэта". Первым в ряду — правнук Григорий Григорьевич Пушкин. На его долю выпала заурядная советская судьба: по окончании сельскохозяйственного техникума он стал зоотехником, затем работал лаборантом в микробиологической лаборатории, в 1940 г. "по комсомольской путевке был направлен на работу в Московский уголовный розыск", в сентябре 1941 г. добровольно ушел на фронт, был ранен и контужен, а по окончании войны и увольнении в запас, 14 лет работал печатником в типографии газеты "Правда". Другие участники — А. С. Данилевский, братья Александр и Олег Кологривовы. Сергей и Борис Пушкины — по своему положению в советском обществе были более удачливы. Все они, конечно, представлены "доблестными советскими патриотами".

Более сдержанно пишет Русаков о тех потомках, что не захотели жить под советской властью. Так, судьба праправнучки Натальи Евгеньевны Клименко поистине трагична: в 1921 г. она уехала из Бобруйска к родственникам в отошедшую к Польше по Рижскому договору часть Белоруссии, вышла там замуж за двоюродного дядю Владимира Ивановича Воронцова-Вельяминова. С 1939 г. после "освобождения" жила в Казахстане. А о ее муже в разделе "Четвертое поколение" приведена только краткая справка: "Владимир Иванович Воронцов-Вельяминов (15.X.1899 — 1940)". Можно полагать, что ее муж, эмигрант и контрреволюционер, погиб в сталинском концлагере.

Несколько страниц отведено брюссельским и парижским потомкам поэта. Очень интересна глава "Неразгаданная тайна". Внучка поэта Елена Александровна и ее мать Мария Александровна Пушкины в 1918 году уехали в Турцию. Русаков пишет: "Непродолжительное время внучка поэта была драгоманом (официальным переводчиком) советского посольства в Стамбуле". В это время там было *русское* посольство, а не советское, это ошибка Русакова, ибо дипломатические отношения между Сов. Россией и Турцией Кемаль-наши были установлены летом 1920 г., и не в Стамбуле, а в Анкаре. В ноябре 1921 г. внучка Пушкина вышла замуж за ротмистра Николая Алексеевича фон дер Розенмайера, в 1923 г. они покинули Турцию и жили затем во Франции. Русаков сообщает: "С именем Е. А. Пушкиной-Розенмайер связана одна из загадок пушкиноведения, ключ к которой не найден по сей день. Речь идет о неизвестном дневнике А. С. Пушкина, которым Елена Александровна, по ее собственным словам, обладала в 1920 годы. Этому дневнику дали название № 1, так как на внутренней стороне передней крышки переплета *известного* (курсив Русакова) нам дневника поэта рукой Л. В. Дубельта, разбиравшего вместе с В. А. Жуковским бумаги А. С. Пушкина после его смерти, сделана пометка '№ 1'". Описав пережитии, связанные с поисками советских пушкинистов дневника № 1, который якобы одно время хранился в сейфе константинопольского банка, Русаков приводит версию, согласно которой дневник № 1 находится в руках Маунтбаттенгов, английских потомков Пушкина, почему-то не желающих его опубликования. Вполне возможно, что Е. А. Розенмайер, вследствие своего враждебного отношения к советской власти, вообще не желала передачи этого дневника в руки советских пушкинистов. Тем не менее поиски этого дневника продолжаются, и Русаков высказывает надежду на благоприятный

исход их.

Книга Русакова, помимо списка потомков Пушкина, снабжена обильными библиографическими данными и большим количеством фотографий потомков поэта. Советский рецензент Р. Е. Терехина пишет, что книга "адресуется широкому кругу читателей". Несомненно, она заинтересует читателей и в СССР, и в Зарубежье.

Б. Прянишников

САНДЖА Б. БАЛЫКОВ: "ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ". Изд. "Логос". Предисловие А. Авторханова. Мюнхен 1983. 250 стр.

Книга "Девичья Честь" представляет собой историко-бытовую повесть из калмыцкой жизни. С. Балыков описывает (примерно с 1896 года) быт, традиции и дореволюционный уклад жизни калмыков в Задонской степи. С интересом читается глава о конных скачках в Сальском округе. Описывается попытка объединения всех калмыков. Приближается гражданская война. Начинается героическая борьба казахов и калмыков "за свободу человека, за право спокойно жить и трудиться на своих землях". Донская армия пополняется двумя калмыцкими полками: 3-м молодым и Зюнгарским.

Автор дает яркий образ главного героя повести Багмы Цагакова, который неразрывно связан с драматическими событиями на Дону и является олицетворением того, как калмыцкий народ воспринял революцию и ее последствия.

До второй мировой войны рассказы и повести Санджи Балыкова печатались в разных журналах. "Девичья Честь" была закончена в 1938 году в Чехии и выходит впервые, 40 лет спустя со дня смерти автора. Ранее вышел сборник его калмыцких рассказов "Сильнее Власти". События в рассказах С. Балыкова происходят в период 1914-20 годов. В сборник входят 16 рассказов и одна легенда. Описываются старые патриархальные традиции калмыцкой жизни. В рассказах "Отцы", "Изгибы" судьбы многих калмыков зачастую трагичны. Интересна легенда "В долине Барсов", в которой описывается возвращение калмы-

ков (1771 г.) в Китай, прием у Богды-Хана Торгутского хана с его виднейшими нойонами, "которые привели свой народ из далекого запада, из под власти белого царя московского".

Е. Ремилева

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД "НОВОГО ЖУРНАЛА"

В 138, 139, 140, 142, 143, 145, 147, 148 и 150 кн. "Н. Ж." опубликованы списки жертвователей в издательский фонд "Нового Журнала". Всего 11.048 долл. Позже поступило еще 236 долл.: 80 долл. — С. Рафальская (Франция); 27 долл. — Н. Вестфаль; 26 долл. — С. Эттинген; 25 долл. — В. Кудрявцев; 20 долл. — Б. Ярошевич; 12 долл. — Н. Мицкевич; по 10 долл. — Л. Войку и Е. Мезенская; 8 долл. — А. Токаревич; по 6 долл. — Н. Барнатный, И. Крылова и К. Минченко. Итого 11.284 долл.

Редакция сердечно благодарит всех жертвователей. Большое спасибо.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1984 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1984 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
